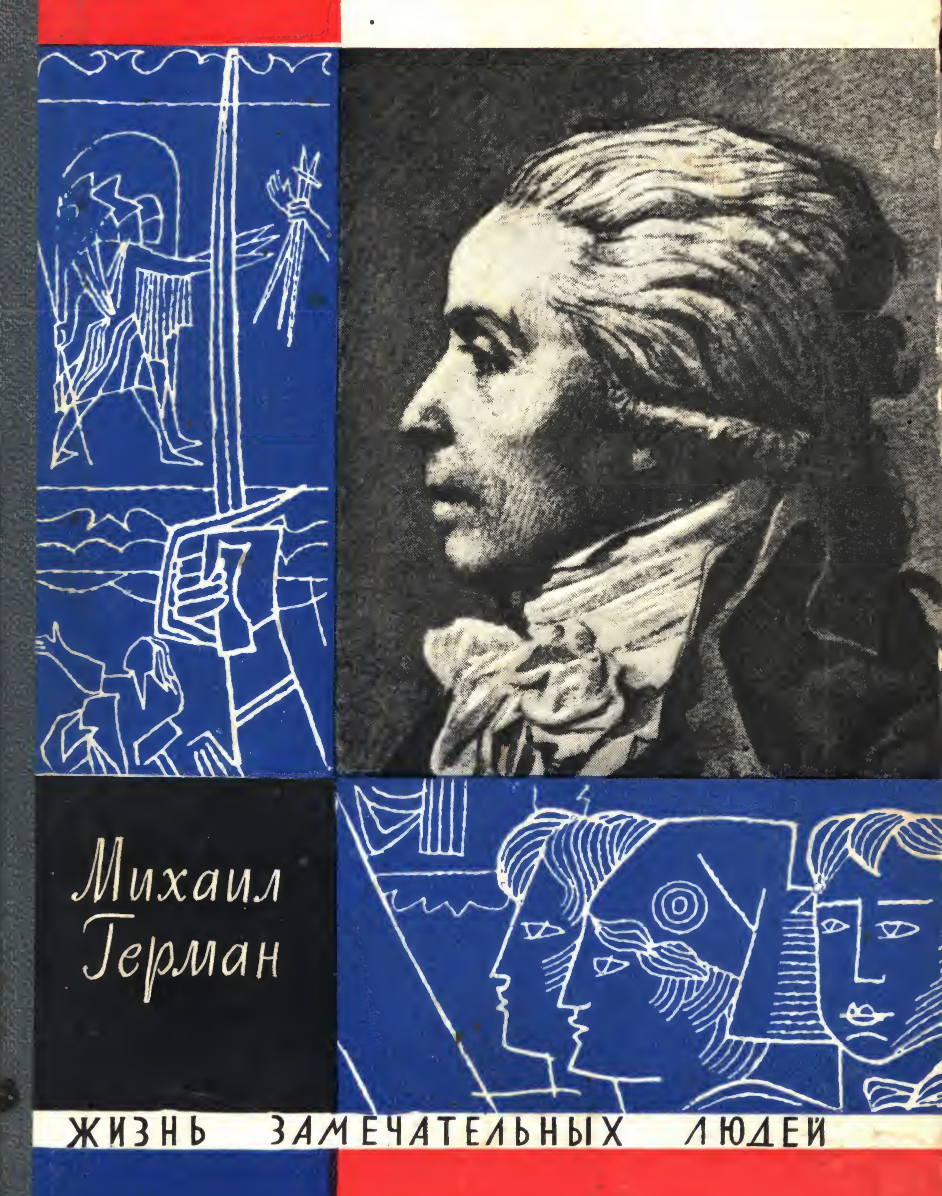
ДАВИД



Михаил Герман

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 6
(381)

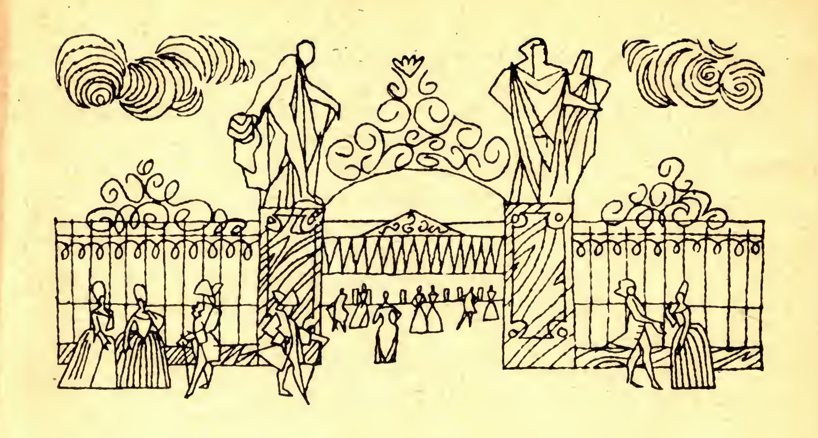
МОСКВА
1964

Михаил Герман

ДАВИД

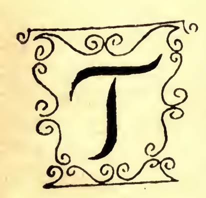
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»





ПРОЛОГ

Незначительное событие в жизни Франсуа Буше



лаза перестали различать оттенки красок на палитре — верный знак, что близятся сумерки и пришло время кончать работу. Буше позвонил, приказал принести теплой воды, тщательно вымыл руки, расправил чуть смявшиеся кружева манжет. Не надевая камзола, в легкой батистовой рубашке подошел к окну. Он смотрел на далекие крыши и башни — так лучше всего отдыхали усталые глаза. Скоро должны явиться гости. Буше слегка досадовал, что поддался уговорам старого приятеля архитектора Бюрона и согласился взглянуть на рисунки его племянника. Он перевидал за свою долгую жизнь столько многообещающих детей, что давно потерял вкус к открытию знаменитостей.

Под полом мастерской шуршало и скреблось. Буше подозревал, что это крысы. В Лувре их водилось множество. С тех пор как Людовик Великий построил Версальский дворец, короли покинули свой ста-

рый замок, много веков служивший французским монархам — сначала Валуа, а последние два столетия Бурбонам. Лувр ветшал. Никто не обновлял тускнеющие росписи потолков; ветер хлопал рамами окон, мраморные камины заросли пылью. Часть помещений дворца король отдал под мастерские художников. Лет десять назад Буше получил здесь квартиру и просторное ателье. Тогда это считалось высокой честью, теперь же немало живописцев работало в старых дворцовых залах, разделенных дощатыми перегородками.

Как Буше ни старался, сколько ни тратил денег на отделку комнат, он не мог избавить мастерскую от печальных примет старости и запустения: то пятна сырости проступали на лепных карнизах, то трескался и раскалывался под ногами паркет, то сыпалась сверху штукатурка, пачкая дорогие ковры. Со временем такие пустяки перестали его занимать. Приближалась старость. Каждый новый прожитый день был подарком судьбы. Время щадило Буше, жизнь баловала. Он прожил ее хорошо — во всяком случае, был ею доволен. Звание первого живописца короля, огромные деньги, собственный дом на улице Ришелье — о чем еще может мечтать художник? Он принят при дворе, и мало есть дворцовых тайн, ему неизвестных; он близкий друг маркиза де Мариньи, родного брата некогда всесильной мадам де Помпадур. Буше повезло — кто мог знать, что мадам Ленорман, хозяйка известного салона, где нередко бывал художник, вдруг превратится в маркизу де Помпадур — некоронованную королеву Франции, а ее братец — в генерального директора строений, домов, крепостей и прочих королевских имуществ. Тогда и посыпались на Буше милости, которых едва можно было бы ждать, не случись с его другом столь чудесной метаморфозы. Впрочем, стоило ли отделять милости судьбы от собственных достижений? Он любил и умел работать: в его жизни, богатой удовольствиями, живопись оставалась самой высокой радостью. Мир версальских гостиных и кокетливых пасторалей, где резвились, вздыхали и смеялись

пастушки, похожие на маркиз, навсегда остался в холстах Буше. Он писал олимпийских богов и богинь с манерами томных, искушенных в любви придворных, изящные фривольные сцены, имевшие большой успех у знати. Видит небо, он знал истинную цену своим титулованным заказчикам и покровителям. Но вся жизнь их с маскарадами, балами, с треском фейерверков, рвущихся над боскетами Версаля, была неотразимо привлекательна для глаз. А он любил красоту, роскошь и не отделял одно от другого. Ему нравилось писать женщин, и они любили, когда их писал Буше. Он знал толк в нарядах, умел передать в портрете трудноуловимую прелесть кокетливого взгляда, нежный румянец искусно подкрашенных щек, умел сделать портрет в меру нескромным — ровно настолько, чтоб можно было до конца оценить всю привлекательность оригинала. Дамы восхищались художником и называли его «Анакреонтом живописи». Теперь уже не вспомнить, сколько прославленных красавиц побывало в мастерской, сколько восхищенных слов выслушал Франсуа Буше от знатнейших дам Франции...

Надо сознаться: сейчас его картины не вызывают прежних восторгов; ничего не поделаешь, времена меняются, ныне не только двор создает моду в искусстве. Буржуа хотят видеть на картинах свой мир — трезвый, добропорядочный, очищенный от элегантной развращенности двора. Буше не был аристократом, но давно сросся с тем обществом, для которого работал, он не хотел, да и не мог идти навстречу вкусам, совершенно ему чуждым. А критика между тем начинала осуждать Буше. Его упрекали за то, за что прежде хвалили. Этот барон Гримм, маленький саксонский дипломат, сумевший в короткий срок сделаться известным литератором и корреспондентом многих европейских монархов, помещает в своем рукописном журнале статьи Дидро, где о Буше порой говорятся очень неприятные вещи. Конечно, «Салоны» м-сье Дидро — просто чудачества знаменитого автора «Энциклопедии»: Буше не жаловал художественную критику. Все же они задевают живописца,

с молодых лет привыкшего к лести. А эти разговоры о легковесности сюжетов, комплименты «высоконравственным» картинам Греза! Это не только мнение Дидро, но прежде всего знамение времени, времени, в котором Буше начинал чувствовать себя запоздавшим гостем.

Лакей доложил о приходе м-сье Бюрона.

Буше надел камзол, тронул худыми пальцами букли туго завитого парика и, распрямив узкую спину, пошёл навстречу гостю. Архитектор словно желал подчеркнуть свою принадлежность к третьему сословию: только дорогие кружева жабо нарушали строгость темного, без украшений костюма. Вместе с Бюроном вошел юноша, почти мальчик. Бюрон подвел его к Буше.

— Это сын моей племянницы Женевьевы и мой воспитанник.

Буше улыбнулся любезно и равнодушно.

— Я помню мадемуазель Женевьеву еще ребенком.

Бюрон сел, поставив трость между колен.

— Памятуя дружбу, которой вы с давних пор дарили нашу семью, я привел мальчика к вам. Он одержим страстью к вашему благородному искусству. Мы пытались склонить его к изучению архитектуры, но, видно, голос сердца сильнее семейной традиции. Вот мы и решили прибегнуть к вашему суду.

Мальчик смирно сидел на краю кресла и теребил крепкими, видимо очень сильными, пальцами края большой папки. Конечно, он ощущал этот момент как значительное событие и волновался. Знал бы он, сколько таких юнцов перебывало в мастерской!

Буше склонил голову набок и пожевал губами.

— Вы где-нибудь обучались, молодой человек?

— Нет, м-сье, то есть почти нет. Я только рисовал с живой модели в Академии Сен-Люк.

Мальчик сильно картавил и говорил запинаясь.

— Покажите.

Буше протянул руку. Мальчик, путаясь в тесемках, развязал папку и вытащил рисунки. Они свидетельствовали о несомненном таланте, видимо Бю-

рон не был пристрастен, говоря о способностях племянника.

— Как вас зовут?

— Давид, м-сье, Жак Луи Давид.

— Сколько вам лет?

— Шестнадцать, м-сье.

— Неужели столько лет прошло с тех пор, как мадемуазель Женевьева вышла замуж? — Буше взглянул на Бюрона и покачал головой. — Мы стареем, мой милый друг... Так что же с вами делать, дитя мое? Вы, без сомнения, щедро одарены богом. Но у меня едва хватает времени на своих учеников, и мне не под силу брать новых.

Он взял Бюрона под руку и отошел с ним в амбразуру окна.

— Видите ли, мой милый, при всем желании я не смогу взяться за вашего мальчика. Я устал. К тому же меня уже не почитают за достойного учителя, — в голосе Буше послышались сварливые нотки. — М-сье Дидро заявил, что я только порчу молодежь...

Бюрон усмехнулся про себя. Дидро действительно писал в последнем «Салоне», что учеников Буше, чуть только они научатся держать кисть, «томит желание сплетать в хорошенькие гирлянды детские тела, писать пухлые, румяные зады». Обидно, но справедливо...

Архитектор продолжал настаивать:

— Постарайтесь помочь мальчику. Ведь он, безусловно, талантлив. А судьба его печальна. Подумайте — в девять лет остаться без отца.

— Да, да... Такая ужасная смерть. Конечно, надо что-то придумать. Вы знаете, Бюрон, я дам мальчику письмо к Вьену — это хороший живописец, и работает он в новом вкусе. У него можно многому научиться.

Пока у окна шел этот разговор, Луи Давид, не решаясь встать с кресла, мучился ожиданием. Взгляд метался по мастерской: как сквозь туман различал он яркие холсты — нежно-розовые тела каких-то нимф или богинь среди серебристых, голубых, сире-

невых струящихся драпировок; приколотые к стене большие рисунки, сделанные красноватой сангиной; муштабели, манекены, куски пестрых тканей, шитые подушки, блистающая позолотой мебель...

— Итак, мой юный друг, — произнес Буше, подходя к мальчику, — мы решили определить вас к моему коллеге м-сье Вьену.

Живописец уселся перед секретером и быстро затрещал пером. Его большой утиный нос смешно морщился, когда он писал. Стряхнув с бумаги песок, Буше запечатал письмо перстнем.

— С этим вы отправитесь к Вьену. Моей рекомендации довольно, чтобы он принял вас к себе в мастерскую. Если вы будете успешно работать, вас скоро зачислят в академию. Вьен хороший художник и хороший учитель, он несколько холоден, но приходите ко мне почаще и приносите свои работы. Я исправлю ошибки вашего учителя и покажу, как внести в рисунок живость и как придать изящество фигурам.

— Благодарю вас, дорогой метр, — сказал Бюрон. — Я думаю, что в лице м-сье Вьена Луи будет иметь превосходного наставника.

Юноша поклонился, принимая письмо, и бережно спрятал его за обшлаг кафтана. Он чувствовал себя неловко в присутствии знаменитого мастера. Визит оказался обидно будничным. Конечно, первому живописцу короля, прославленному на весь мир художнику, нет никакого дела до мальчика, едва умеющего держать в руках карандаш. Надежды на занятия с Буше оказались тщетными.

На прощание Буше потрепал Луи по плечу и заглянул ему в лицо карими, совсем еще молодыми глазами.

— Не поддавайтесь демону честолюбия, работайте усердно, и все будет хорошо. — Старый живописец смотрел на мальчика хитро и проницательно, тонкие губы чуть улыбались.

Луи смущенно пробормотал слова благодарности, ему казалось, что Буше над ним посмеивается. Он был рад очутиться на улице.

Все же Луи мог торжествовать победу. Теперь никто не станет противиться его желанию быть художником.

Встречей с Буше завершилась многолетняя борьба, которую Луи вел со своими родными. В 1757 году, когда Луи было только девять лет, погиб его отец — еще молодой, довольно состоятельный коммерсант. Мать забрала мальчика из коллежа домой, он был единственным сыном — Женевьева страшилась тишины опустевшего дома. Тогда и появилось у мальчика множество опекунов и добровольных наставников. Склонность ребенка к рисованию встретили одобрительно. Жак Демезон, шурин Женевьевы, был королевским архитектором, так же как и ее дядя Бюрон. Оба они хотели видеть в мальчике наследника их ремесла, почтенного, серьезного, обеспечивавшего верный доход. Однако племянник не проявил никакого интереса к архитектуре. Он охотно срисовывал наброски, сделанные дядюшками, но на чертежи смотрел равнодушо. Он ничему не хотел учиться, только живописи.

Луи было лет десять, когда учитель риторики, раздраженный его косноязычием и равнодушием к уроку, отобрал у него рисунок, сделанный во время занятий.

— Из вас скорее выйдет художник, чем оратор, — сказал он.

Но м-сье Демаль не был злым человеком и любил искусство. Разглядев рисунок своего нерадивого ученика, он подумал и заявил, что Луи может не переписывать те пятьсот строк, которые ему полагались в качестве наказания. Вслед затем м-сье Демаль унес рисунок к себе домой. Это было первой маленькой победой. Потом Луи добился разрешения посещать Академию Сен-Люк и рисовать там с натуры. Медленно, но верно он двигался к цели. Наконец мальчик уговорил самую добрую свою тетушку — мадам Бюрон — заступиться за него перед родственниками. Результатом этого разговора и явился визит к Буше, который должен был окончательно решить судьбу мальчика.

Луи Давид никогда не знал нужды, но рано понял, что за место под солнцем надо бороться. Родные любили его, но понимали плохо. Когда мальчик признался, что хочет стать художником, ему объяснили, что архитектура — занятие куда более солидное и доходное, чем живопись. Возразить Луи ничего не смог; неясная обида осталась надолго. Он вообще не умел спорить с родными: быстро вспыхивал, заикался, картавил и замолкал, стыдясь собственной горячности. Да и что можно было противопоставить трезвой логике людей, не разделявших пылких и неразумных порывов юноши?

И все же настойчивость и упрямство Луи принесли свои плоды.

Дядя, с тех пор как они вышли из Лувра, не произнес ни слова, он, видимо, озадачен неожиданным оборотом дела и одновременно горд за племянника. Старый архитектор тяжело шагает, опираясь на трость, старательно обходя лужи и кучи мусора. Парижские улицы — настоящее испытание: фонарей мало, тротуаров нет, нечистоты выбрасывают прямо на мостовую. Надо быть искушенным парижанином, чтобы пройти сотню туазов *, не забрызгав чулки до колен.

Дядя и племянник вышли на набережную Межиссери. Это были памятные для них места. Оба привычно посмотрели налево, на старый каменный дом, простую изящную постройку прошлого века. В этом доме шестнадцать лет назад появился на свет божий Жак Луи Давид. Мать Луи жила теперь в Нормандии, мальчика поселили у Бюрона, и дом стоял пустой, темный, с наглухо закрытыми ставнями. Луи вспомнил зимний вечер, когда его привезли домой в большой извозчичьей карете и кормилица, приехавшая за ним в коллеж, всю дорогу плакала и ничего не отвечала на вопросы перепуганного малыша. У подъезда стояло несколько карет, старый слуга в сбившемся на сторону парике встретил их

---

* Старинная мера длины во Франции, равная 1 метру 949 миллиметрам.

у двери. В комнатах забыли зажечь свечи, и на потолках плясали отблески уличного фонаря. В тот день в Париж пришло известие, что Морис Луи Давид погиб на дуэли в маленьком городе на юге Франции.

Когда они подошли к ратуше, было уже совершенно темно. По краям Гревской площади зажглись тусклые фонари на железных кронштейнах. У ратуши прохаживался часовой с мушкетом на плече, и длинная тень солдата металась по стене. Дядя, наконец, очнулся от задумчивости и окликнул извозчичью карету.

Пока дряхлая кляча трусила по направлению к улице Сент-Круа де ла Бретонери, Луи мечтал, как завтра пойдет к Вьену, шутка ли сказать, с письмом от самого Буше! Все же Буше нашел у него способности, если рекомендовал его такому мастеру. Мальчик помнил картины Вьена, которые приходилось видеть в салонах, — перед «Продавщицей амуров» всегда толпились зрители. У такого художника есть чему поучиться. Потом классы академии, победа в конкурсе на Римскую премию, картины Жака Луи Давида, академика и королевского живописца, вызывают восторги зрителей и зависть коллег... Как это сказал Буше: «не поддавайтесь демону честолюбия»?.. Проницательный старик!..

Буше, оставшись один, надел на лоб зеленый козырек, предохраняющий глаза от света, и взял в руку палочку сангины. Он набрасывал эскиз композиции и не вспоминал о мальчике, побывавшем у него.

И ни дряхлеющий знаменитый мастер, ни юноша, наивно мечтающий о славе, не представляли себе, насколько символичной была их встреча. В этот день минувший век искусства соприкоснулся с будущим веком. Столетие не всегда начинается по календарю. Век галантной живописи Буше встретил своего преемника в лице робкого юноши, менее всего предполагавшего, что именно ему суждено вступить в смертельную борьбу с тем искусством, в которое сейчас он свято верил.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1768—1789

— А как ты опознаешь прекрасное?
— По соответствию натуры произведениям древности, которую я изучал долгое время.

Дидро

I

В конце августа 1768 года, вскоре после дня Святого Людовика, Луи Давид стоял перед Лувром в толпе художников, учеников академии и любителей искусства, ожидавших результатов конкурса на Римскую премию. Солнце палило. Капли пота стекали из-под парика на лоб. Давид не уходил. Он волновался, словно его собственная картина висела сейчас перед глазами судей. Все ученики акаде-

мии в эти дни испытывали волнение: каждый знал, что рано или поздно его ждет такая же участь, и тщился угадать в нынешних событиях свою будущую судьбу. Иные тревожились за друзей, некоторые жаждали посрамления врагов. А большинство приходило сюда просто из векового чувства цеховой солидарности и бескорыстной любви к искусству.

Премию по живописи присудили Венсану. Его пронесли на руках вокруг площади. Толпа приветствовала победителя громкими криками. Давид размахивал треуголкой. Голова его пылала от жары и восторженной зависти.

Когда объявили результаты конкурса по скульптуре, раздались возмущенные голоса. Никто не сомневался, что премия достанется Мило, талантливому и бедному юноше. Однако получил ее Ла Муатт, ученик Пигаля, ничем не примечательный художник, но сын академика. Площадь бушевала. Ла Муатта едва не избили. «Пачкун, гнусный пачкун, ничтожество!» — кричали ему. Он и сам был не рад, что получил премию. Профессоров освистали. Взбешенный Пигаль — Луи видел, как налилось кровью его лицо, — надменно спросил одного из самых яростных крикунов:

— Вы, может быть, полагаете, что разбираетесь в барельефах лучше, чем я — академик Пигаль?

— Нет, м-сье, — ответил тот, — но я отлично разбираюсь в нахалах и готов побиться об заклад, что вы не последний из их числа!

Ошеломленный столь непоследовательным, но крайне обидным ответом, Пигаль поспешно сел в карету и уехал. Другие академики боялись показаться.

Ученики открыто выражали свое презрение профессорам, стоявшим на стороне Ла Муатта. К их числу принадлежал и Вьен, учитель Давида. Луи был потрясен. Он слишком недавно поступил в академию, она оставалась в его глазах авторитетом. К Вьену он испытывал искреннее уважение. Профессор понравился ему еще в тот далекий день, когда Луи впервые явился в его мастерскую. Тогда Вьен принял

юношу с отменной любезностью: письмо Буше произвело должное впечатление.

Большеглазый и густобровый, с веселой ямочкой на подбородке, в отлично завитом и напудренном парике, Вьен выглядел щеголем и светским человеком. Рисунки юноши художник одобрил.

— Очень недурно, даже просто хорошо. У кого вы учились?

— У меня еще не было учителя, м-сье.

— Ах, вот как, — Вьен был заметно удивлен. — Тем более вас можно поздравить. Вы, я вижу, склонны скорее всего к композиции.

— Да, м-сье, я очень люблю рисовать без натуры, просто все, что приходит в голову.

— Очень хорошо: Но вам придется всерьез взяться за работу, если вы хотите поступить в академию и стать профессионалом. Думаю, вам мало улыбается перспектива выставлять свои будущие картины под открытым небом на площади Дофина.

— Нет, м-сье, конечно, нет.

Луи знал о выставках на площади. На них показывали свои работы живописцы, не сумевшие стать членами академии. Разумеется, он не хотел оказаться в их числе. И он готов много работать, это его не пугает, лишь бы никто не заставлял зубрить латинские глаголы и Тита Ливия. Ведь просто чудо — после стольких лет унылых и бессмысленных занятий, наконец, делать, что хочется!

Вьен улыбнулся горячности мальчика.

— Вы будете заниматься ежедневно. Первые три дня недели — упражнения в композиции; по четвергам, пятницам и субботам — рисунок с натуры, анатомия, перспектива. Рисовать вы сможете не только у меня в мастерской, но и в натурных классах академии.

— Да, м-сье, благодарю вас. Я, конечно, буду стараться. Когда мне можно прийти?

— Завтра.

С того дня Луи стал называть себя живописцем.

На самом деле он был только прилежным учеником. Дни неслись, до отказа заполненные работой.

Композиция: сдвинуть фигуру, приподнять руку, центральную группу чуть уменьшить, драпировкой заполнить пустой угол, центр выделить с помощью сходящихся перспективных линий, лицо героя повернуть слегка вбок — все понятно, а композиция разваливается, ее просто нет, глупые люди в смешных театральных позах. Конечно, ему никогда не стать настоящим художником, незачем было браться. Вот сейчас подойдет м-сье Вьен и увидит, какая бездарность самонадеянный мальчишка Давид.

Бьет три часа; оказывается, урок уже прошел. Вьен в другом углу мастерской разговаривает с веселым темноволосым русским, усердно жестикулирует и, видимо, совершенно забыл про Давида. Скорее домой, может быть, там придет решение. «До свидания, м-сье Вьен!» Давид идет по улице, не видя ничего перед собою, кроме фигур и линий. Он не бездарность и докажет это. В маленькой кофейне напротив башни Сен-Жак Давид спрашивает чашку кофе, бриошь; закрывшись газетой, чертит карандашом по бумаге. Только когда из хаоса штрихов и пятен проглядывает намек на удачное решение, ему становится легче. Завтра будет что показать Вьену. Теперь можно выпить уже остывший кофе и отправляться домой.

А назавтра — сосредоточенная тишина натурного класса, душный воздух, раскаленный жаром бесчисленных свечей, и скрип доброй сотни карандашей — привычная музыка художественной школы. И редкие радостные мгновения, когда под нажимом карандаша ложится на бумагу верно взятый тон, форма приобретает объем, жизнь, а в груди возникает счастливый холодок — сознание удачи. Анатомия, костяк, мышцы, правила перспективы — ее Давид терпеть не мог — и множество других занятий. И все это еще не искусство, а только подступы к нему, только азбука живописи.

Новый ученик радовал Вьена: счастливая натура, в которой все заложено природой, нужны лишь толчок, помощь, чтобы скрытые прежде возможности щедро проявились. Юноша работал с ожесточением.

И не только первые месяцы — страстность в работе осталась у него на все годы учения. Он страдал от малейшей неудачи и ничего так не боялся, как насмешки товарищей. «Этому всего будет мало», — думал Вьен, наблюдая, как стремительно движется к мастерству Давид. Вьену не стоило труда ввести Луи в число учеников академии — рисунки юноши говорили сами за себя. Разумеется, Вьен взял его в свой класс.

Давид пробыл в академии уже два года и скоро мог получить право конкурировать на Римскую премию. Удивительно ли, что события нынешнего дня он принимал близко к сердцу. Несправедливость академии, присудившей премию Ла Муатту, больно его задела. Даже профану ясно, насколько барельеф Мило лучше, талантливее работы Ла Муатта. Не хотелось думать, что профессора и в их числе Вьен так пристрастны. Как, однако же, извилист путь к славе, от каких случайностей зависит порой успех! (Давид впервые открывал для себя эти нехитрые истины.) Да, видно, не так все просто в мире...

В Тюильрийском парке он разыскал скамейку, защищенную от солнца ветвями густого каштана. Снял треуголку, с наслаждением подставил лицо прохладному предвечернему ветерку. Мыслями Давид все еще оставался на площади перед Лувром, где скоро и ему придется ждать решения своей участи.

Большая Римская премия — предмет мечтаний каждого ученика академии! Неповторимые минуты триумфа, пылкая зависть товарищей, поздравления профессоров, несколько лет обеспеченной жизни в Италии, возможность спокойно работать на родине великих мастеров, среди реликвий античного Рима, наконец, прямая дорога к славе, к званию академика — словом, все, чего только может желать молодой художник.

Без Римской премии Давид не представлял будущего. Но в отличие от большинства своих соучеников об Италии он думал без волнения.

Давид был верен единожды выбранному образ-

цу — Буше. Кое-кто из молодых художников зачитывались недавно переведенной на французский язык «Историей искусства древностей». Ее написал немецкий ученый, главный антикварий римского двора — Винкельман. По словам Винкельмана, одно искусство древних заслуживало изучения и подражания, только «благородная простота и спокойное величие» должны царить в произведениях искусства. Давиду это представлялось схоластикой. Он предпочитал работу в мастерской чтению ученых трактатов. Мраморные статуи греческих и римских богов казались существами иного мира, они были слишком строги и холодны в своей совершенной красоте. Другое дело персонажи античных мифов, изображенные кокетливой и легкой кистью Буше! Эти грациозные создания нравились Давиду куда больше, чем их каменные прообразы. Галантное искусство французской школы с богами и героями, словно припудренными искусным парикмахером, неудержимо влекло к себе неопытный взгляд Луи. Италия? Хорошо, очень интересно, но истинный источник высокого искусства здесь, в лучшем городе мира — Париже, и из этого источника можно черпать без конца.

Луи Давид любил видеть перед собою ясную цель, неопределенность его пугала, сомнения раздражали и лишали уверенности. К чему бесплодные размышления о теории Винкельмана? Стать настоящим профессионалом, добиться Римской премии, какие бы мучения ни пришлось претерпеть! Сегодня он стал свидетелем мало обнадеживающих событий. Значит, надо быть готовым ко всему.

Он вытащил часы. Тонкие золоченые стрелки показывали пять. Давид с удовольствием вспомнил, что сегодня его ждет урок музыки. Вечер обещал отдых. Скрипка приносила Луи ту бескорыстную радость, которая дается дилетантам, не ищущим в искусстве ничего, кроме удовольствия. За мольбертом он постоянно сдерживал себя, старался подчинить фантазию разуму, вложить теснящиеся в голове образы в строгую систему академической композиции. Рассудок сковывал руку. А играя на скрипке, Давид не ис-

кал совершенства, он музицировал, забывая о волнениях, усталости и заботах.

Итак, сегодня скрипка, а завтра опять классы академии. Сколько еще голов и торсов надо нарисовать, сколько сделать эскизов, прежде чем настанет вожделенный день! Нет, Давид не падал духом, он уже начинал понимать — терпение необходимо художнику не меньше, чем талант. Но, черт возьми, когда, наконец, его допустят к конкурсу? Он чуть было не угодил под карабасс*, пересекая улицу Сент-Оноре; не следует давать волю чувствам и увлекаться размышлениями — того и гляди не доживешь до Римской премии.

II

Понадобились еще многие месяцы усердных занятий, чтобы Давид получил право участвовать в конкурсе. Он представил свои эскизы и этюды академическому начальству, не предупредив Вьена. Луи уже имел награду — вторую квартальную медаль, но профессор полагал, что не стоит торопить события. Когда Давид все же решился участвовать в конкурсе, Вьен был слегка раздосадован. Однако, узнав, что этюды одобрены, он сменил гнев на милость и решил сам сообщить ученику добрую весть.

— М-сье Давид, — сказал профессор, — сейчас совет уведомил меня, что вы допущены к участию в конкурсе на Римскую премию. Примите мои поздравления!

Давид встал, на лице его было написано откровенное счастье. Вьен от души порадовался за молодого человека. Все же он счел необходимым напомнить Давиду, насколько серьезно будущее испытание.

— Ну вот, вы очень выдвинулись, — в голосе профессора звучала снисходительная важность, — но с такими вещами, как конкурс, не шутят. Что вы будете делать?

Юноша упрямо сжал губы. Он слишком часто сам

* Большой многоместный экипаж.

боялся провала, чтобы выносить опасения других. Давид ответил сдержанно, только как всегда, когда волновался, картавил сильнее обычного:

— Я напишу свою картину, м-сье, как и другие. Увидим, что я сделаю.

Темные брови профессора нахмурились. Ответ ученика звучал дерзко. Впрочем, Вьен расстался с Давидом милостиво. Не стоит придавать значения пустякам, мальчик сам не свой от волнения и к тому же дьявольски самолюбив.

Луи предстояло соревноваться с опасными противниками — Сюве и Тайассоном. Это были опытные борцы за Римскую премию — Сюве уже успел провалиться пять раз, а Тайассон — шесть. За их плечами был хоть и печальный, но полезный опыт. Давиду же впервые приходилось писать большую картину, и сделать ее надо было всего за два с половиной месяца — задача тяжелая и не для такого юнца, как Давид.

Тема, по которой он представлял эскиз и должен был писать картину, его не радовала и не страшила — «Бой Марса с Минервой». Подобных композиций существовало много, и Давиду не приходило в голову искать новое решение. Есть определенные правила композиции, надо только следовать им с возможно большим искусством и мастерством.

Память подсказывала сотни вариантов поз, лиц, группировок. В них не было недостатка — богатые увражи, альбомы, специальные руководства по рисованию, гравюры с известных картин поработили воображение Давида.

Эскиз получился легко — он в должной мере напоминал лучшие образцы модного искусства, но свидетельствовал и о самостоятельности молодого живописца — так, во всяком случае, полагали господа академики. А Луи не мечтал о большем: он находился в том счастливом возрасте, когда мнение учителей значит неизмеримо больше, чем собственный вкус.

В сцене, которую писал Давид, было все, что полагалось: олимпийские боги в позах придворных актеров, ниспадающие живописными складками драпи-

ровки, колесница, мечи, доспехи — многочисленные атрибуты древности, добросовестно скопированные с гравюр. Минерва, повергнувшая наземь Марса, стояла над ним с грозно поднятой к небу рукой, в облаках парила Венера, взирая на поражение своего возлюбленного, а еще выше порхали амуры. Центральные фигуры аккуратно, как голова в парик, укладывались в пирамидальную схему, вершину которой отмечал розовый пальчик Венеры. Давид не замечал, что подчас старательно уничтожает самое лучшее, что проникало в картину, — неожиданно простую смелую линию, живое движение лица, замеченное где-нибудь на улице и бессознательно перенесенное на холст. Чем меньше на холсте своего, тем лучше. Его увлекали лишь процесс работы, приносивший неизменное наслаждение, и мысль о будущем успехе. Ради чего в конечном счете пишется картина, думать было некогда и неинтересно.

Через полтора месяца после начала работы Давид с отчаянием убедился, что фигуры малы по отношению к размеру картины. То ли он уменьшил их в процессе работы, то ли, нарисованные углем, они казались крупнее, чем в цвете; так или иначе, Марс, Минерва и Венера катастрофически терялись, отрывались от краев — одним словом, лишались всякой живой связи с холстом. Да, сомнений быть не могло: провал, а до конкурса осталось едва больше месяца.

Луи Давид сидел на табурете голодный и глубоко несчастный: уже много часов провел он в мрачном раздумье перед картиной. Немыслимо за месяц написать все заново! Но что еще можно сделать? Прийти к Вьену и сказать, что он не смог рассчитать пропорции, провалился, как мальчишка. Какой срам! Нет! Лучше работать ночами, выжать из себя все, отказаться от отдыха и сна, но только не этот позор!

Он всматривался в свой неудавшийся шедевр — что-то было в нем настоящее: чувство ритма, упругая сила линии. В холсте осталось столько труда и надежд...

Давид понимал: сколько ни размышляй, железная необходимость заставит его продолжать работу.

В фатальной неизбежности чувствовалась надежда. На следующий день он установил в мастерской новый подрамник. Вино откупорено — надо его пить.

Потянулась смутная вереница дней, наполненных сомнениями, сумасшедшей надеждой и непрерывной, всепоглощающей работой. Давид приходил в мастерскую, когда сонные служители академии только отпирали классы. Волнуясь, приближался к картине. Взгляд на холст после ночи — самый строгий, беспристрастный взгляд. Потом судья превратится в живописца, и свежая справедливая оценка растворится в изменчивых удачах и разочарованиях дня. Пока он вглядывался в работу, неотвязная мысль стучала в голове: успею или нет? Или позорный провал?.. Усилием воли отбрасывал пугающие мысли, выдавливал краски на палитру, снимал кафтан. К вечеру Давид уже ничем не напоминал изящного юношу, который утром входил в ателье. Без парика, со слипшимися от пота короткими каштановыми волосами, усталый до изнеможения, он писал, пока не начинало темнеть. Летние дни долги, Луи шел домой в тот час, когда в добропорядочных буржуазных семьях уже отходят ко сну. А утром все начиналось сызнова. Он забросил музыку: скрипка, которую он так любил, отличная скрипка работы Люпо, молчала уже много дней. Луи плохо спал. Мадам Бюрон серьезно беспокоилась о здоровье племянника.

Все же настал час, когда Давид с удивлением понял, что делать больше нечего: картина окончена. Все было так, как он хотел: легко и красиво стояли фигуры, мягкие округлые линии сплетались в стройный согласный ритм, краски сияли на холсте сочным, богатым соцветием.

Итак, он победил, выстоял в яростном поединке с судьбой: за полтора месяца написал картину, которую не стыдно представить на конкурс, картину, которая должна принести успех. Минерва в сияющем шлеме улыбалась ему с холста. Давид чувствовал себя таким же могущественным и гордым, как эта созданная его рукой юная богиня, повергнувшая в прах грозного Марса... Он не стал мыть кисти

и вышел на улицу. Не думая об исходе конкурса, Луи переживал сладость победы. Что бы там ни случилось, картина написана, первая картина в его жизни!

III

Соперники Давида не ожидали, что он успеет в срок кончить работу. Разумеется, было известно, что Луи пришлось все переделывать заново: среди друзей всегда найдутся не в меру разговорчивые люди. Тайассон и Сюве косо посматривали на Давида — неужели премия достанется этому косноязычному юнцу, едва достигшему совершеннолетия?..

Настал день, который Давид столько раз рисовал в воображении, день присуждения Римской премии. Сегодня, быть может, она достанется ему — Жаку Луи Давиду. Так же толпятся на Луврской площади старые и молодые художники, так же греет солнце, раскаляя стены дворца. Но там, в маленьком зале, висит на стене картина Давида, и все будущее его в руках нескольких старцев в раззолоченных кафтанах.

Когда появился секретарь академии с бумагой в руке, секунды поползли с невиданной медлительностью. Пока читались вступительные слова, Давид ничего не понимал. Потом услышал: «Первая премия присуждена Жозефу Бенуа Сюве, вторая — Жаку Луи Давиду...»

Что было в последующие минуты, Давид плохо помнил. Товарищи смотрели на него с состраданием, некоторые, напротив, поздравляли: ведь вторая премия тоже почетный исход. Давид видел, как аплодировали Сюве. Потом появился Вьен. Он подошел к ученику, что-то говорил ему. С трудом понял Луи слова профессора.

— Должен признаться, молодой человек, — произнес Вьен, — я ожидал от вас большего благоразумия... В ваши годы я почитал бы себя счастливым, получив вторую премию. Не скрою, профессора склонялись на вашу сторону, но я выступил против. Сю-

ве конкурирует шестой раз, а вы в первый. Вы должны быть довольны, что ваша картина понравилась совету — это не малая честь...

Давид брел по душной улице, печальный и униженный. Мысли были прикованы к одному — к этой желанной, ненавистной и презренной премии, она заслоняла все, она была единственной реальностью в призрачном мире, который Давид с трудом различал вокруг себя. Он заметил, что не может прочитать надпись на вывеске, буквы не складывались в слова. Постепенно в душе закипала злость — Вьен не захотел заступиться за него, а ведь профессор понимал, что его картина лучше других. Неужели Вьен затаил обиду после того, как Луи, не поговорив с ним, решился выступить на конкурсе? А может быть, не следует дурно судить о людях: не исключено, что Вьен действительно заботился о его, Давида, пользе?

Выпив у стойки кафе стакан лимонада со льдом, Луи почувствовал себя лучше. Домой к дяде Жаку идти не хотелось. Незаметно очутился он на левом берегу. На улице Плюме столкнулся с человеком в темной одежде. Это оказался его старый учитель, который когда-то предсказал Луи будущность художника. Они не виделись много лет и обрадовались друг другу. Неожиданно Давид рассказал м-сье Демалю о своей неудаче. Старик удивился:

— Неужели вы всерьез полагаете, что вторая премия так уж плохо для начала? Я видел вашу картину, по-моему, она очень хороша. Не следует падать духом. Помнится, к своим неудачам в риторике вы относились куда спокойнее. Проводите-ка меня немного.

Давид с удовольствием слушал учителя—в воображении ясно возникало детство, он вспомнил, как рисовал на клочках бумаги, как боялся учителей и ненавидел латынь. Нельзя роптать на судьбу: сейчас он бесконечно счастливее, чем в те годы: он художник, мечта, некогда казавшаяся едва осуществимой, ныне реальность.

— Подымитесь на несколько минут ко мне, —

сказал Демаль. — Я покажу вам кое-что любопытное.

В маленькой комнате, где стоял дряхлый спинет *, а в шкафах громоздились тома Тацита и массивные лексиконы, старик подвел Давида к простенку. В рамке под стеклом там висел рисунок, сделанный чернилами, — морской пейзаж.

— Не может быть, м-сье! — Давид не верил своим глазам.

— И тем не менее это так, — учитель наслаждался произведенным эффектом. — Я сохранил свидетельство вашего преступления — и теперь вознагражден. У меня висит рисунок будущего Пуссена!

Да, сомнений быть не могло: это тот рисунок, который в незапамятные времена отобрал у него м-сье Демаль. Значит, старик все эти годы верил в своего строптивого ученика. Давид был тронут.

— Уверяю вас, вы еще успеете прославиться, — говорил Демаль. — Да, мой друг, я навсегда сохраню ваш рисунок. Вы второй мой ученик, которому я делаю подобное пророчество: первый — Гюбер Робер — его уже оправдал, а что до вас, то, судя по вашей картине, вы не замедлите его догнать. И надо думать, он достиг бы еще большего, если бы вовремя бросил свою риторику.

IV

Старый друг семьи Давида, которого Луи почитал за родственника и любил больше родных дядей, — Мишель Жан Седен — устроил юноше квартирку в Лувре. Молодому живописцу получить помещение во дворце было бы невозможно без помощи влиятельного покровителя; Луи радовался безмерно, ему наскучило жить то у Бюрона, то у Демезона. А здесь полная независимость, рядом живет милый Седен, умнейший человек и верный друг, вокруг мастерские художников — лучшего и желать нельзя!

Удивительным человеком был Седен: он начал

---

* Старинный музыкальный инструмент.

с работы каменщиком у Бюрона, таскал и обтесывал тяжелые глыбы, потом учился, читал запоем, начал сочинять. Писал стихи, пьесы, либретто для опер, стал литератором. Последняя его пьеса «Философ, сам того не зная» восхитила Дидро, знаменитый автор «Энциклопедии» гонялся за Седеном по всему Парижу, чтобы его поздравить. Теперь Седен — известнейший писатель и к тому же непременный секретарь Королевской академии архитектуры. Сколько он знал! И как умел рассказывать! Давиду, знавшему не слишком много, разговор с Седеном заменял коллеж; да и в каком коллеже можно было услышать такой остроумный и увлекательный рассказ о жизни? Образованный широко и отнюдь не схоластически, Седен учил юношу трезво и прозорливо смотреть на мир, видеть значение и смысл происходящего. Слушая своего наставника, Луи начинал догадываться, что жизнь устроена далеко не совершенно, что несправедливость и невежество мешают людям быть счастливыми. Седен показывал Давиду огромные тома «Энциклопедии», читал ему статьи, рассказывающие о природе и началах философии. Все это помогало молодому художнику не мерять жизнь только собственными заботами.

Особенно поддерживал Седен Давида в печальные месяцы, наступившие вслед за конкурсом, который Луи упорно продолжал считать провалом. Седен водил Давида по театрам, беседовал с ним об искусстве, о книгах, о музыке. Обида проходила, но Римская премия по-прежнему терзала воображение Давида.

В конце лета 1772 года начинался новый конкурс на Римскую премию. Давид решил принять в нем участие

В день, когда объявляли тему конкурсных эскизов, он был полон розовых надежд и счастливой уверенности в своих силах. Он твердо решил победить.

«Дети Ниобы, пронзаемые стрелами Дианы и Аполлона». Тема ему понравилась. Сразу вспомнилась рассказанная Овидием страшная история гибели четырнадцати детей гордой Ниобы. Его товарищи еще сидели в раздумье, устремив глаза в пространство,

а Давид уже принялся за работу. Композиция появилась на бумаге с неожиданной легкостью.

— Превосходно, — сказал Вьен, взглянув на оконченный рисунок. — Если картина будет так же хороша, как эскиз, можете заказывать место в римском дилижансе, — пошутил он.

Дома Давид разыскал запыленный том овидиевских «Метаморфоз», не раскрывавшийся со времен коллежа. Он не совсем забыл латынь, целые строчки читал без словаря. Вот и история Ниобы; тут пришлось извлечь латинский лексикон и всерьез взяться за перевод. Подумать только, все в эскизе соответствовало звучным строкам Овидия. Добрый знак!

Давид с шумом захлопнул пухлый лексикон и торжественно продекламировал:

О, как Ниоба теперь отличалась от прежней Ниобы,
Что от латониных жертв недавно народ отвращала
Или по городу шла, по улице главной, надменна
Всем на зависть своим! А теперь ее враг пожалел бы.

Печальные строки звучали праздничной одой. Еще бы: трагедия Ниобы принесет ему славу!

Он начал работать с легким сердцем, стараясь возможно больше приблизиться к Овидию; в «Метаморфозах» была чарующая стройность повествования, действие разворачивалось с такой логической наглядностью, что Давид все время чувствовал — ему недостает классической ясности. Ничто более не омрачало настроения художника; работа близилась к концу. Луи рассчитал, что успеет спокойно кончить ее в срок. Он писал и переписывал, но однажды заметил, что живопись слегка потемнела; через несколько дней с полной очевидностью убедился: краски сильно потускнели. Вьен не раз предостерегал от работы по непросохшему красочному слою. Пренебрежение этим простейшим законом дало себя знать. Но, впрочем, рисунок и компоновка удовлетворили Давида. Товарищи и профессора его хвалили. Картину покрыли лаком, оправили в красивую раму и выставили для публичного обозрения. Даже соперники не сомневались в победе Луи.

В день, когда члены жюри снова собрались перед работами конкурентов, к Давиду, нервно расхаживавшему по коридору, подошел его товарищ Жонбер. Он рассказал, что все, кажется, решено: присуждаются сразу две первые премии — Давиду и ему, Жонберу.

В исключительных случаях дозволялось присуждение двух Больших Римских премий. Вьен подтвердил: да, дело обстоит именно так — осталось ждать только окончательного голосования, а это формальность.

Через два часа были оглашены имена двух победителей: Жонбер и Лемонье.

Это было настолько неожиданно и странно, настолько нелепо, что Луи подумал: «Секретарь перепутал фамилии...» Сознание отказывалось воспринимать столь явную и чудовищную несправедливость. Разговоры и сочувственные взгляды товарищей убедили его в реальности происходящего.

Давид повернулся и пошел прочь. К горлу подступали мальчишеские слезы, в голове крутилась одна мысль: «Все кончено». Вспомнилась строчка из «Метаморфоз»: «О, как Ниоба теперь отличалась от прежней Ниобы... А теперь ее враг пожалел бы...» Думал ли он, что слова Овидия будут так приложимы к нему? Это была последняя вспышка иронии в душе Жака Луи Давида. Он погрузился в беспросветное отчаяние. Откуда можно ждать справедливости? Больше он не даст им возможности унижать его. Над ним достаточно посмеялись всякие бездарности вроде надутого аристократишки Сюве или совершенно незначительного Лемонье. Давид твердо решил не выдавать своих мыслей: придет час, когда они все узнают. Но будет поздно!

Он зашел к Седену и довольно спокойно рассказал о своей неудаче. У Седена сидел Бюрон.

— Слушай, мальчик, — сказал он своим скрипучим голосом, — ты, наверное, чертовски огорчен. Сегодня вечером я еду в наш деревенский домик. Поедем со мной. К ужину есть паштет из гусиной печенки и отличный байонский окорок, а в погребе най-

дется бургундское времен регентства. Ты разгонишь свою печаль, как подобает мужчине!

— Спасибо, дядя, — ответил Луи, как ему показалось, совершенно бесстрастно. — Я поужинаю дома. Если разрешите, я приеду к вам в другой раз.

Войдя в свою комнату, он запер дверь двумя поворотами ключа. Стащил парик, бросил его на камин. Как был в парадном кафтане, вытянулся на кровати, закрыл глаза. На что надеяться? Лучше сразу положить конец страданиям. Он так и будет лежать один, никто не узнает о его страшном замысле, ничье сердце не сожмется от жалости! С этой минуты он не станет ничего есть и тихо угаснет от голода и горя.

Есть Луи не хотелось, решение показалось легковыполнимым, он заснул.

Утром Давид не стал завтракать. Чтобы не вызывать подозрений, заглянул к Седену, поговорил с ним о каких-то пустяках. К вечеру снова уединился. За весь день ничего не ел.

Потом он перестал выходить, лежал на кровати полуодетый. В голове вяло шевелились приятные, грустные мысли. Скоро конец. Тогда задумаются о том, каким живописцем мог стать Давид. Глаза медленно блуждали по комнате: кипы рисунков — сколько труда пропало зря, скрипка — он так и не выучил эту очаровательную сонату Леклера... Под ложечкой посасывало, есть хотелось мучительно.

Второй день голодовки шел к концу.

На третий день Луи проснулся совершенно разбитый. Рот пересох, голова кружилась. Он не поднимался с постели. Стены комнаты лениво плыли перед глазами, кровать качалась. Мыслями Давида владела байонская ветчина; как опрометчиво он от нее отказался! Потом воображение нарисовало ему жареного зайца. Еще через час он стал думать о предметах более примитивных, например о рогаликах, которыми торговал неопрятный разносчик у Нового моста. Нелегко умирать!

К полудню ему стало по-настоящему худо. В мозгу звенело, есть уже не хотелось. Иногда сознание прояснялось, он начинал себя жалеть и думать о своей

жизни, такой короткой и такой несчастливой. Наконец им овладело спокойное оцепенение. Наверное, приближается его последний час.

В дверь сильно стучали.

— Луи, ты сошел с ума, почему ты не отвечаешь?

Это был голос Седена.

— Мне сказали — ты уже два дня не выходишь. Что ты задумал?

В ответ Луи жалобно вздохнул. Его опять мучил голод. Но он стойко молчал. Седен постучал еще раз, пробормотал что-то под нос и ушел.

Прошло примерно три четверти часа, и в дверь снова постучали. Луи услышал голос Седена:

— Слушай ты, юный безумец! Я привел с собою моего друга м-сье Дуайена (это был живописец, один из членов жюри), и если ты решил уморить себя до смерти, то по крайней мере узнай сначала, что думают о тебе умные люди. Будет что вспоминать на том свете!

— Мой милый Давид, — Дуайен, видимо, был действительно взволнован, в голосе его звучало неподдельное сочувствие, — что с вами? Седен рассказал мне о вашем намерении, в нем нет никакого смысла, мой друг. Когда напишешь такую картину, следует почитать себя счастливей тех, кто одержал над вами верх. Они охотно поменялись бы с вами.

Давид очень проголодался: ему было плохо, тоскливо и страшно. Услышав слова Дуайена, он безумно захотел выйти из этой ужасной комнаты. Ну, конечно же, он сумасшедший! Надо немедленно встать... Давид сполз с кровати и сел на пол. Идти он не мог. И тогда он пополз на четвереньках, задыхаясь и шмыгая носом, думая только о том, как бы не потерять сознания.

Когда дверь открылась, Седен и Дуайен увидели сидящего на полу живописца Давида, истерзанного и бледного. Его усадили на стул. И два знаменитых господина — что делает простая человеческая жалость с сердцами академиков! — стали приводить его в пристойный вид. Седен натягивал Давиду чулки, Дуайен придерживал его за плечи. Потом его отвели

в комнату Седена и накормили ужином. Там не было ни байонской ветчины, ни рогаликов с Нового моста, но Давиду было все равно. И никогда в жизни, даже вкушая самые утонченные яства в императорском дворце, Луи не ел с таким аппетитом.

V

Академическая карьера Луи решительно не удавалась. Но и Бюрон, и Демезон, и Седен были достаточно искушенными людьми, чтобы знать цену мнению официального жюри. Не сомневаясь в способностях молодого живописца, они были озабочены поисками достойного выхода из создавшегося неприятного положения.

Правда, Давид и слышать не хотел об отказе от Римской премии. Юноша был упрям: если уж он согласился жить, то только для того, чтобы завоевать проклятую премию. Но до нового конкурса оставался целый год, и он был не прочь заняться каким-нибудь полезным делом.

Как раз в это время архитектор Леду закончил постройку отеля на улице Шоссе д'Антен для мадемуазель Мари Мадлен Гимар, прославленной танцовщицы Королевской оперы. Живописец Фрагонар со своими учениками приступил к росписи комнат и зал. Но юные помощники Фрагонара дерзнули слегка подшутить над гордой и капризной хозяйкой. Фрагонар потерял выгодный заказ, а роспись особняка осталась незавершенной. Седен знал весь Париж и в особенности Париж театральный, с мадемуазель Гимар он был знаком еще в те годы, когда она танцевала в кордебалете Комеди Франсез. Он рекомендовал ей Давида в качестве художника, способного окончить роспись отеля.

Давид был хорошо воспитан, одевался со вкусом, а что до его таланта — Седен в нем не сомневался.

Молодой художник понравился Гимар гораздо больше, чем не в меру веселые ученики Фрагонара. Давид был юн, застенчив и молчалив, знакомство с актрисой ему льстило. Мадемуазель Гимар была еще

Бой Марса с Минервой. Масло. 1771

Эризистрат, открывающий причину болезни Селевка. Масло. 1774.

Римский пейзаж. Рисунок. 1770-е годы.

Римский пейзаж. Рисунок. 1770-е годы.

молода, обворожительна и знаменита, что весьма увеличивало ее обаяние. Надо думать, живописец и балерина остались довольны друг другом. Мадемуазель Гимар просила Луи написать ее портрет; оказывается, куда легче заслужить одобрение своих заказчиков, чем придирчивых и лицеприятных академиков.

Ему нравилось приходить в этот отель, простой и строгий, выстроенный по последней моде на античный манер, нравилось видеть свое отражение в высоких, обрамленных матовой позолотой зеркалах. Вот он, живописец Жак Луи Давид, на нем костюм от дорогого портного, кружева оттеняют румяное, серьезное лицо, он хорошо держится, недурен собой, строен и элегантен. Слуги почтительно величают его «м-сье художник», а хозяйка полушутя, полусерьезно называет «метр». Ему уже предлагают новые заказы, его представили нескольким очень важным господам.

Как видно, успех далеко не всегда начинается с похвалы академического начальства. Одобрительные взгляды очаровательной мадемуазель Гимар, собственное имя в устах богатых и титулованных ценителей искусства, полновесные золотые луидоры — щедрый гонорар за роспись особняка и портрет — все это обещало возвышение едва ли не более стремительное, чем сомнительная и почти недоступная Римская премия. Бойкость и блеск кисти, которые приобретал Давид, ценились здесь много выше, чем умозрительные красоты пирамидальных композиций. Разве Римская премия принесла славу Буше? Ведь есть художники, получившие в свое время Римскую премию и оставшиеся в безвестности.

Все же Давид усердно работал в академии. Юный живописец не мог воспитать в себе спасительного презрения к Римской премии. Но он поборол лихорадочное нетерпение, вооружился выдержкой. Скоро ему присудили еще одну академическую награду: премию графа Кайлюса, утвержденную этим известным и просвещенным дилетантом «За выразительность». Да, там, где крепость не удается взять штурмом, переходят к правильной осаде. Овидий недаром писал, что «капля камень долбит не силой, но частым падением».

Умный римлянин, так жестоко предавший Давида, давал хороший совет.

Сейчас Давид уже не видел перед собою пропасти: в самом худшем случае остается возможность работать на заказ. Он знал, что завоевание Римской премии обещает жизнь, полную тревог и мук честолюбия; поднявшись на эту ступень, придется идти все дальше, придется добиваться нелегкого успеха. Победа привела бы его на тернистый путь, поражение открывало возможность беззаботного и обеспеченного существования. Эта парадоксальная мысль настраивала на несколько фатальный лад. Что бы ни случилось, он не останется в проигрыше.

Третьего конкурса Давид ждал относительно спокойно и был готов к худшему.

На конкурсе 1773 года Давид вновь не получил премии.

Он утешил себя тем, что, испив до дна чашу горечи, не потерял самообладания. Луи сказал Седену:

— Несчастные, они хотят уморить меня отчаянием, но я отомщу им своими работами. Я выступлю в следующем году, и, клянусь, они будут вынуждены присудить премию мне!

В этих словах, напыщенных, но твердых, Седен различил голос мужчины — и обрадовался. Он всерьез опасался, что новая неудача опять толкнет пылкого живописца на какое-нибудь безумство.

Но в словах молодого художника, кроме твердости, было и равнодушие. Луи уже свыкся с положением светского живописца, оставаться учеником не хотелось. Решимость его не покинула, но обратилась в привычку.

Давид готовился к конкурсу 1774 года. Однако толкало его на это лишь уязвленное самолюбие и тягостное чувство долга — все, что осталось от былой жажды победы.

VI

Около трех часов пополудни 7 мая 1774 года в окне королевской спальни Версальского дворца погасла свеча. Это был сигнал. Тотчас же десятки офицеров

гвардии и пажей, ожидавших во дворе, вскочили в седла, готовые скакать во все концы Европы с вестями чрезвычайной важности. В ту же самую минуту на пороге второй приемной, более всего известной под названием Комнаты Бычьего глаза, появился герцог Бульонский. Обращаясь к толпящимся у дверей придворным, он произнес сакраментальные слова:

— Господа, король умер!

Эта фраза возвестила конец эпохи Людовика XV, эпохи галантных празднеств, возведенного в государственную политику разврата, безудержного расточительства двора и чудовищной нищеты народа. По иронии судьбы льстецы называли Людовика XV «Любимый», но мало кто из французских монархов мог похвалиться столь дружным нерасположением подданных. Даже двор был раздражен королевскими метрессами, по очереди царствовавшими над любвеобильным государем. Для людей же, мало-мальски разбиравшихся в политике, не составляло тайны, что Франция на краю гибели. «Любимый» не видел разницы между личными королевскими суммами и государственной казной. На пенсии, подарки, любовниц, охоту, фейерверки тратились невероятные деньги, в то время как государственный долг достигал трех с половиной миллиардов. Царствование Людовика XV не принесло Франции ни победоносных войн, ни экономического расцвета, ни разумной политики. И поскольку в ту пору люди еще склонны были связывать судьбу страны с нравом монарха, смерть старого короля вселяла в сердца надежду на лучшие времена.

Король умер от оспы. Пажи, шедшие вокруг гроба в траурной процессии, закрывали носы и рты платками, боясь заразы. Когда катафалк, задрапированный черным бархатом, двигался по улицам предместья Сен-Дени, со всех сторон слышались ругательства и проклятия.

— Вот он едет — радость дам! — распевали в толпе.

Кто-то улюлюкал, смешно подражая охотничьему крику короля. Гвардейцы ехали, угрюмо опустив го-

ловы, стараясь не обращать внимания на крики. Пробожаемый бранью, кортеж достиг ворот аббатства Сен-Дени. Так закончилось царствование Людовика XV, продолжавшееся без малого шестьдесят лет.

Луи Давид воспринял смерть короля без печали. Воспитанный в здравомыслящей буржуазной семье, видящей в королевской власти сомнительную ценность для прогресса, молодой живописец не стал горячим роялистом. Более того, он относился к отошедшему в иной мир королю с тем же презрительным равнодушием, как и его родные, возмущавшиеся легкомыслием беспечного и развратного монарха. Давид слышал трезвые рассуждения родных о нелепом, бесправном положении, в котором находились по сравнению с дворянством самые почтенные представители третьего сословия. Да что говорить, разве сам Давид не возмущался чванством своих титулованных коллег? Он еще очень мало задумывался о жизни, но понимал, что многое вокруг обстоит неблагополучно. Однако приближался очередной конкурс, размышлять о политике не было времени.

Все же политические события несколько отразились на делах живописца Давида.

Герцогиня Полиньяк заказала Давиду свой портрет. Герцогиня — близкая приятельница Марии Антуанетты — после того, как недавняя дофина стала королевой, сразу же приобрела большой вес при дворе. Портрет, написанный входящим в моду живописцем, был ей совершенно необходим.

Так что воцарение нового короля Людовика XVI принесло Луи новый заказ и дало возможность бывать почти при дворе.

Герцогиня позировала Давиду в полосатом пеньюаре и мило болтала с молодым художником, посвящая его в некоторые события придворной жизни. Делала она это так, что Давид никак не мог понять, говорит она серьезно или шутит.

— Вы не слыхали, м-сье Давид, как король отчитал беднягу Ла Ферте? Об этом много говорят в Версале. Недели через две после кончины его величества к нашему молодому королю является Ла Ферте. Ко-

роль смотрит на него удивленно: «Кто вы такой?» — «Меня зовут Ла Ферте, сир». — «Что вы от меня хотите?» Вообразите удивление несчастного Ла Ферте. Совершенно потрясенный, он говорит: «Я ожидаю ваших приказаний, сир». — «Почему?» — «Потому... потому... я — интендант ваших маленьких...» — «Что это значит?» — «Я интендант маленьких развлечений вашего величества». — «Мои «маленькие развлечения» — гулять пешком по парку. Вы мне не нужны!» И его величество выставил Ла Ферте за дверь. Это прелестно, вы не находите?

Давид вежливо соглашался, но так и не мог понять, над кем, собственно, смеется герцогиня. Одно было ясно: прежняя откровенная распущенность выходит из моды.

С началом нового царствования искусство, которое всего более почитал Давид, тоже вышло из моды. На смену нарядным композициям в духе Буше появились картины, выполненные на античный манер. Это была не бог весть какая классика: просто искусство старалось как-то освободиться от чрезмерно вычурного стиля уходящего века. Академия одобряла новое течение, оно было созвучно признанным идеалам нынешнего царствования. Официальное искусство начинало не то чтобы отступать, но искать язык, созвучный идеям времени, требовавшим прежде всего простоты и ясности мышления. И Давид решил писать картину на конкурс так, чтобы она отвечала господствующим вкусам.

Он полюбил писать портреты, в них не приходилось долго раздумывать над проблемами стиля и раскрытия действия: натура сама диктовала, что и как писать. Незаметно для самого себя Давид многому научился: не простота задачи, а мастерство помогали ему. Он написал портреты Бюрона, Седена и мадам Бюрон — своей любимой тети Жанны. Эта работа его занимала, но не казалась особенно серьезной.

Приближалось время конкурса.

Тема была убийственная: «Антиох, сын Селевка, короля Сирии, больной любовью к своей мачехе Стратонике, и врач Эризистрат, открывающий причину

болезни». Четвертый раз Давид брался за работу. Не начав писать, он уже чувствовал усталость и равнодушие.

Давид не мог понять, хорошо или плохо то, что он делает. Судья в нем умер, остался лишь упрямый работник. Спасали упорство, удивлявшее его самого, и приобретенное с годами умение.

С холодной душой брался он по утрам за кисти; уходя из мастерской, не вспоминал о картине. С удовольствием посещал своих светских заказчиков. Но все время ощущал холодное нетерпение — не столько надежду на победу, сколько желание развязки.

Он написал картину в новом вкусе: отказавшись от традиционной пирамиды, расположил фигуры почти в ряд, наподобие античного фриза. Сюжет раскрывался с предельной ясностью и простотой.

Закончив работу, Давид не испытывал ничего, кроме утомления.

И как прежде он не верил, что первая премия досталась кому-то другому, так на этот раз он не поверил своим ушам, когда услышал, что Большая Римская премия присуждена Жаку Луи Давиду.

А когда поверил, ему стало дурно. Он первый раз в жизни потерял сознание.

В месяцы, последовавшие за присуждением премии, Давид с недоумением заметил, что не испытывает ожидаемого восторга, только бесконечное облегчение и, как ни странно, разочарование. Желанная награда пришла слишком поздно. Он столько раз получал премию в мечтах, что наяву не смог радоваться ей. Давид уже не был мальчиком, для которого все будущее сосредоточилось в Римской премии.

Все же он говорил друзьям:

— В первый раз за четыре года я вздохнул легко!

Но что делать дальше? Ехать в Рим? Этого он не хотел. На осенней выставке работ учеников академии его картина «Смерть Сенеки» (провалившаяся в прошлом году на конкурсе) пользовалась успехом. Заказов было много.

Он устал, страшно и думать о новой ученической работе.

Кошен, старый секретарь академии, сказал Давиду:

— Не уезжайте в Рим, как уезжают все прочие. Постарайтесь не утопить себя там. Непрестанно возвращайтесь к вашей очаровательной композиции «Смерть Сенеки»...

— Античность меня не привлекает, — честно ответил ему Давид. — Она мертва и никогда не сможет ожить.

Тем временем м-сье Вьен получил повышение. Он был награжден орденом и назначен директором Французской академии искусств в Риме с окладом в шесть тысяч ливров в год.

Вьен, уже с белым крестиком Святого Михаила, оживленный, сияющий, встретив Давида в коридоре академии, пригласил его вместе ехать в Рим.

— Поедемте, мой милый. Вы должны видеть Италию. Вам предстоит дивное путешествие. Поверите ли, я прожил много лет, знал успех, смею думать, даже известность, но в старости буду, наверное, вспоминать не хвалебные отзывы коллег, не толпу перед моими картинами, а кипарисы у Капитолия и рафаэлевские Станцы в Ватикане.

Видя энтузиазм почтенного профессора, Давид удивлялся своему равнодушию. Дружелюбие Вьена его тронуло. Как можно любезнее он поблагодарил учителя.

После долгих размышлений он все же решился ехать. Сразу стало легче жить, исчезла тягостная неопределенность. К тому же он одержал маленькую победу над собой: не испугался серьезной работы. Но, как обычно случается, после добродетельного поступка наступило раскаяние. Он трижды дурень! Разве мало в Париже мраморных статуй? Что ждет его в Риме? Опять с утра до вечера рисовать головы и торсы, сочинять композиции и с трепетом ждать одобрения профессоров. А в Париже о нем тем временем забудут, найдутся другие молодые живописцы, не такие глупцы, как он, Давид, и займут его место!

Грузный кузов дилижанса, мокрый от унылого мелкого дождя, произвел на Давида самое жалкое

впечатление, когда 2 октября 1775 года он приехал на почтовую станцию. Оживление его спутников казалось ему искусственным, сиденья — жесткими. Дорожный мешок Давида привязали на крышу кареты, скрипку и ящик с красками он оставил при себе. В кармане кафтана лежал большой, как салфетка, паспорт и аккредитив на банк Тарлониа в Риме. Пути назад не было.

Вьен с женой, два товарища Давида по академии уже заняли места, кондуктор захлопнул дверцу, а Луи все еще не верилось, что он уезжает. Но вот пронзительно и хрипло зазвучал рожок, карета вздрогнула, тронулась с места, и залитый дождем Париж медленно поплыл назад. На улице Гобелен мокрая афиша сообщала о премьере Комеди Франсез с участием Ларива и Франсуазы Рокур. Этот спектакль он уже не увидит... Налетевший за заставой ветер проник в неплотно закрытое окно кареты и смял номер «Меркюр де Франс», купленный Давидом перед отъездом. Громко щелкнул бич. Вырвавшиеся на простор большой королевской дороги лошади скакали галопом. Давиду хотелось вернуться домой.

VII

Недели через две после отъезда из Парижа Давид и его спутники пересекли границу владений герцога Пармского. Им уже не раз приходилось менять экипажи; паспорта, побывавшие в руках многочисленных жандармов, заметно потерлись на сгибах. Скверные гостиницы, дорожная тряска, опасный перевал через Альпы, ледяные ветры с гор сделали из парижанина Давида довольно опытного путешественника. В дороге он повеселел, перестал жалеть об отъезде. Всю жизнь привязанный к Парижу тысячею будничных дел и привычек, он впервые наслаждался совершенной независимостью. Время, прежде уложенное в рамки одних и тех же впечатлений, встреч, прогулок и обедов, вдруг освободилось из-под гнета обыденности. День таил в себе неожиданные события, невиданные пейзажи, разговоры с новыми людьми. Давид не знал,

в какой гостинице будет завтракать, где остановится на ночлег. Ничто не напоминало ему о парижских волнениях и невзгодах; даже Вьен, веселый и помолодевший, закутанный в широкий дорожный плащ, казался Давиду не почтенным профессором, а беззаботным искателем приключений. Давид открывал Францию: раньше в его представлении она ограничивалась Парижем и гравированными географическими картами, которые он изучал в коллеже. А теперь эти листы бумаги, покрытые сетью тонких линий и крохотными буквами названий, на глазах превращались в просторные осенние поля, бесконечные дороги, обсаженные тополями, с которых облетали последние скрюченные листья, в широкие прохладные реки, дымчатые гребни гор. Привычные слова «прекрасная Франция» переставали быть просто словами.

Но впечатления нередко оказывались горькими. Нищие полуголые крестьяне, виселица на площади живописного городка, каторжники на дороге.

Человеческое горе, страдание были всюду, только быстрота дилижанса да молодость Давида мешали разглядеть их в полной мере.

...Когда подъезжали к Пармскому герцогству, он уже и думать забыл о своем нежелании покидать Париж. Пока Вьен объяснялся с таможенником, Давид вышел из мальпоста и с удовольствием прошелся по каменистой земле. Близилась ночь. Слабо светились окна почтовой станции. У шлагбаума веттурино болтал с толстым небритым жандармом. Пахло овечьим сыром, какими-то незнакомыми растениями или цветами. Звуки чужой быстрой речи, ароматы итальянской земли, ожидание близких перемен тревожили Давида. Он остро чувствовал — он в новой стране, он в Италии.

Мальпост въехал в Парму глубокой ночью. Здесь французы намеревались задержаться в первый раз после долгих дней непрерывной дороги.

Утром отправились смотреть Парму. Она выглядела провинциальной, тихие улицы были пустынны. Только пышные мундиры герцогской гвардии да встретившаяся на набережной придворная карета напо-

мнили путешественникам, что они в столице. Вьен повел всех к Дуомо — городскому собору; угловатая его колокольня стремительно возносилась к небу. Семигранная башня баптистерия тускло отсвечивала старым мрамором. Смуглый монах продавал четки и реликвии в резных ларчиках.

В соборе стояла тишина, было почти темно. Лишь в глубине, под самым куполом, дневной свет падал на каменный пол и золотил высокие бронзовые канделябры.

— Друзья мои, — сказал Вьен тихо, но торжественно, — сейчас вы увидите гордость Пармы — живопись Корреджо.

Давид посмотрел наверх. Там, в вышине, отделенная от сумрака собора поясом сияющих окон, парила гигантская картина. Стремительный вихрь человеческих тел кружился среди облаков и словно разрывал каменную толщу собора; люди сплетались в гирлянды, как диковинные цветы, и купались в голубом солнечном небе. А в самом центре купола фигура Марии, легкая и невесомая, уносилась ввысь. Нельзя было поверить, что это лишь искусство художника. Мастерство граничило с чудом. Точность рисунка, совершенство живописи глубоко поразили Давида. Он видел в Париже много прекрасных картин, но дома большинство произведений искусства он помнил с детства, он привыкал к ним раньше, чем начинал по-настоящему понимать. Здесь же впечатление обрушилось на него со всей силой внезапного откровения. Каким чудовищным талантом надо обладать, чтобы написать такую вещь! Вот мастер, не знавший сомнений и неуверенности, мастер, постигнувший все тонкости своего ремесла и поднявшийся до высшего совершенства. Кисть его с поразительной чуткостью отмечала малейшие изгибы форм, прозрачные тени создавали точную иллюзию объема. Какими вымученными, искусственными показались Давиду его собственные наивные композиции перед этим гордым творением!

Он долго не хотел уходить из собора.

— Вы увидите еще много прекрасных работ Кор-

реджо, — сказал Вьен. — Мы не можем целый день рассматривать «Вознесение Марии». Идемте.

В церкви Санто-Джованни-Эванжелиста, расположенной в двух шагах от Дуомо, Давида ждал еще один расписанный Корреджо купол. Потом отправились в монастырь Сан-Паоло, где тоже сохранились фрески Корреджо. К вечеру голова Давида была до отказа заполнена фигурами и лицами с картин прославленного мастера. Он твердо решил, что Корреджо — лучший в мире живописец. На следующий день в картинной галерее палаццо Пилота Вьен сказал Давиду, не отходившему от холстов Корреджо:

— Сохраните ваш энтузиазм до Рима. Там вы сможете разобраться в своих впечатлениях и решите, что действительно наиболее ценно.

Но Давид хранил верность новому кумиру до самой Болоньи.

В Болонье путешественники отправились в Пинакотеку — так называлась здесь картинная галерея. Потемневшие полотна, полные холодного совершенства, глянули на Давида из золоченых рам. Это были картины старых болонцев — Рени, Каведоне, братьев Караччи. Опыт многих поколений великих живописцев жил в холстах. То, что для Давида составляло мучительную задачу, эти художники решали одним движением кисти. Они не обладали мощным воображением Корреджо, но их мастерство заставляло сердце Давида сжиматься от тоскливой зависти. Каждый мазок, положенный с мудрым и тонким расчетом, каждая линия выдавали знание анатомии, перспективы, всех хитроумных законов искусства. И более всего удивляло, что эти художники, судя по словам Вьена, еще не были самыми большими живописцами Италии, а лишь учеными последователями традиций Золотого века Возрождения.

Растерянный и смущенный, Давид покинул Пинакотеку. Как ничтожны, видимо, все его достижения, если первые же итальянские впечатления сразу лишили его покоя! Там, в Париже, мелкие, тщеславные помыслы, пустяковые успехи не позволяли ему трезво сравнить свои работы со знаменитыми, но, стыдно

сказать, примелькавшимися картинами прославленных художников. Теперь он видел печальную правду — он неуч, самолюбивый невежда. Увы, Давид любил крайности и готов был к полному самоуничижению. Но в этом чувстве не было рисовки: Давид страдал искренне и безутешно.

Кончался день. Густели сумерки под бесконечными аркадами, окаймлявшими улицы Болоньи. Узкие башни дворцов и церквей воинственными силуэтами рисовались на фоне заката. Жалобно кричал забытый хозяином мохнатый ослик, из открытых дверей остерии пряно пахло неведомыми кушаньями. Проголодавшиеся французы расположились ужинать в маленькой траттории близ пьяцца Равеньяна, где подымались исполинские наклонные башни Азинелли и Гаризенда — причудливые капризы средневековых зодчих. Давид жадно, не разбирая вкуса, уплетал густо наперченное стуфато, размышляя о том, что пора, наконец, начать по-настоящему учиться искусству.

Впервые за дни путешествия Давид взялся за карандаш. Он делал наброски с картин Каведоне и Гвидо Рени, но больше смотрел и размышлял. Приходилось мириться с необходимостью начинать все сызнова. Во Флоренции и тем более в Риме ждут впечатления, едва ли уступающие тем, которые он испытал в Парме и Болонье. Прежний кумир — Буше — заметно качался на пьедестале. Давид не подозревал, как легко жизнь колеблет вкусы. Беспомощный перед властно вторгающимися в его сознание новыми образами, идеями, мыслями, он не успевал разбираться в них, отличать существенное от пустяков. Вьен понимал, что происходит с учеником, и радовался за него; в нынешней растерянности Давида он видел залог будущих поисков и открытий. Профессор показывал молодому живописцу все новые и новые картины, хранившиеся в различных собраниях Болоньи, и наблюдал, как возрастают смятенье и восхищение Давида.

Перевалили через Апеннины; осенняя Тоскана предстала глазам Давида. Пейзаж, как будто сошед-

ший с полотна старого флорентийского мастера, поражал законченной гармонией. В прозрачном, легком воздухе отчетливо рисовались нежные очертания невысоких холмов с сохранившимися кое-где развалинами древних крепостей. Пыльная дорога вилась между негустых рощ, постепенно спускаясь в долину. Через несколько часов вдали показался красновато-коричневый купол.

— Фиренца, синьори! — крикнул веттурино, наклоняясь к окну экипажа.

Город лежал в долине, похожей на плоскую чашу с волнистыми краями. Узкая зеленоватая речка рассекала серую массу домов. Едва слышный мелодичный перезвон донесся до кареты. Во Флоренции звонили к мессе.

Вьен с радостью узнавал знакомые с молодых лет здания: грациозную компаниле — колокольню собора Санта Мария дель Фиоре, зубчатую башню дворца Синьории, кровлю церкви Санта Кроче. Давиду передалось волнение учителя, он нетерпеливо вглядывался в далекий еще город.

Во Флоренции Давид растерялся — слишком много сокровищ хранил этот маленький, в сущности, город. Всю Флоренцию нетрудно обойти за два часа, а чтобы изучить ее, нужны годы. За каждым углом встречались неожиданности. Внезапно он набрел на обветшавший дом Джотто. «Hoc nomen longi carminis instar erat», * — прочел Давид надпись на потускневшей доске. Живописи Джотто он почти не знал, но слова его поразили: какие вещи надо создать, чтобы заслужить такую эпитафию! Все улицы Флоренции были населены великими тенями, и суровые бронзовые святые, отлитые Донателло, строго смотрели из ниш на раскрасневшегося юного француза, словно упрекая его за непростительное невежество в искусстве. Картинные галереи подавляли Давида, он был перенасыщен впечатлениями. Когда они уезжали из Флоренции, в голове его царил хаос; только через несколько часов воспоминания приобрели отчетли-

---

* Имя его равно длинной поэме *(лат.)*.

вость и в воображении возник серебристо-оливковый узорчатый фасад Дуомо, похожие на крепости, угрюмые палаццо, матовые фрески, спокойный Арно за аркой Уффици и каменный лев, держащий лапой щит с красной лилией — гербом Флоренции.

Маленькие города Умбрии и Лациума, в которых путешественники почти не задерживались, мелькали перед Давидом, как страницы быстро перелистываемого альбома. И он и спутники его устали и хотели скорее добраться до цели путешествия. Когда под колесами мальпоста загрохотали древние камни Фламиниевой дороги и купол Святого Петра — традиционный, всем ведомый знак близости Рима — блеснул на горизонте, Давид испытал чувство, похожее на счастье. Начиналась пора настоящего ученичества. В этом городе он должен стать живописцем, а не просто обладателем почетной премии.

VIII

В роскошном и пыльном салоне виллы Боргезе стояла сонная тишина. Ее нарушал только яростный скрип карандаша: Луи Давид рисовал торс мраморного фавна. Он был один, никто ему не мешал, впереди долгие часы работы. Давид приходил сюда ранним утром, когда любители искусства еще не появлялись в залах. Он привык к этой комнате и забывал, что находится в одном из знаменитейших музеев Рима. Бесценные статуи у стен казались старыми знакомыми.

Работа шла с трудом. Давид вспоминал нелестную для себя пословицу: «Наполовину ученый — двойной дурень». Сейчас он видел лишь недостатки академического образования и особенно убогость и узость своих парижских вкусов.

Твердо решив работать как начинающий школяр, Давид не изменил этому решению. Он быстро убедился в своей беспомощности: рука привыкла к бойкому изяществу линий, из-под карандаша выходили фигуры и головы, подобные образам Буше или персонажам его собственных конкурсных картин. Давид

был безжалостен к себе, он почти отказался от живописи и изо дня в день рисовал со статуй и рельефов. Древность, как и раньше, не согревала его душу, но он понимал, что именно спокойное совершенство античности способно отучить его от прежних грехов.

В римских мраморах Давида увлекала чистота форм, не искаженная манерностью и желанием подогнать природу под вкус художника. Зрение древних мастеров не было испорчено образцами, ничто не стояло между художником и натурой. Никакого кокетства, никакого стремления поразить мастерством, эффектной линией, смелостью резца. Этой простоты очень не хватало Давиду. Как жестокий и неумолимый страж, он подкарауливал малейшие промахи собственного карандаша, малейшие уступки дурному вкусу, желанию блеснуть. Лихорадочное нетерпение терзало его, и единственным лекарством была работа, спокойная, усердная, методическая.

Точность контура — как трудно ее добиться! Ничтожная ошибка — и линия мертвеет, становится просто чертой, черным штрихом на белой бумаге. Но стоит отыскать ее истинное положение, и линия волшебным образом преображается: она отрывает фигуру от фона, дает объем, пространство, движение; натура перестает быть непонятной, она открывает взгляду свои большие и маленькие тайны. Тогда приходит радость познания, открытия, удачи.

Со дня приезда в Рим прошло едва ли больше двух месяцев, но Давиду казалось, что он здесь давно: работа сразу захватила его, властно подчинила себе все помыслы.

После обновления, принесенного путешествием, новых радостных впечатлений и надежд на полную независимость, Давид снова оказался в такой же обстановке, какая царила в Парижской академии. Те же занятия в урочные часы, запыленные гипсы, те же задания по композиции. Здесь он встретил своего соперника и недруга чванного аристократа Сюве, попавшего в Рим на несколько лет раньше Давида, и эта встреча, естественно, не принесла радости. Но и

с другими товарищами по академии Давиду не было легче, их шумная беззаботность раздражала и утомляла его. Внезапно он ощутил себя гораздо старше своих сверстников.

Давид хотел полной сосредоточенности, отрешенности от повседневной суеты. Понимая, что стоит на пороге больших и важных свершений, Давид хотел каждый час посвятить работе и мыслям о ней. Товарищи удивлялись: Луи Давид превращался в угрюмого мизантропа, проявлял странное упорство в спорах, бывал резок до грубости, его увлечение искусством походило на болезнь. Вьену пришлось сделать внушение своенравному ученику; профессор грозно заявил, что «будет принужден лишить м-сье Давида пенсии, если м-сье решительным образом не изменит к лучшему свое поведение». Вьен, однако, хорошо понимал, что̀ происходит с его любимцем: издерганный парижскими неудачами, Давид смертельно боится новых разочарований, боится всего, что может отвлечь от дела, поколебать убежденность в правильности выбранного пути. И Вьен, делая вид, что недоволен юношей, устроил ему отдельную мастерскую, где можно было спокойно работать в одиночестве.

Давид вел отшельническую жизнь. С утра рисовал в какой-нибудь галерее или копировал с «Тайной вечери» Валантена, потом шел в палаццо Капраника, где располагалась Французская академия, и снова работал. К вечеру возвращался домой. Он нашел комнату в отдаленном квартале, где мог не опасаться праздной болтовни докучливых гостей. Там коротал он вечера в обществе своей скрипки и, разучивая очередное упражнение из «Арте дель виолино» * Локателли, отдыхал от дневных трудов.

Еще до Рима он понял: нельзя легко и быстро разобраться в искусстве прошлого, найти единственно достойный пример. Он приходил в одну и ту же галерею по десять, двадцать раз, часами простаивал перед картинами и статуями, мысленно препарируя ув-

* «Искусство скрипичной игры».

лекший его шедевр. При содействии Вьена получил доступ во многие галереи, обычно закрытые для посетителей.

Его начинал завораживать Рафаэль. Вскоре после приезда Вьен позвал его вместе с другими учениками «впервые смотреть Рафаэля». Миновав несколько зал, Вьен провел своих спутников в Станцу делья Синьятура — комнату, окна которой выходили в Бельведерский дворик. Давид сразу же увидел «Афинскую школу», хорошо знакомую по гравюрам. Фреска оказалась небольшой, заметно поблекшей, она не поразила привыкшего уже удивляться Давида, однако он понял: перед его глазами нечто исключительное. Это было сродни впечатлению, которое рождает у человека несколько страниц, случайно прочитанных из середины мудрой и прекрасной книги. После сильных эффектов Корреджо или Гвидо трудно было осознать благородную и простую гармонию Рафаэля, однако с того дня Давид постоянно возвращался к полотнам и фрескам великого мастера. Все же для копирования он выбрал Валантена — достоинства этого отличного живописца были ему ясны и понятны. Давид всего полнее и непосредственнее воспринимал искусство с контрастной светотенью, драматическое и выразительное. Рафаэля он постигал умом и интуицией, настоящее понимание было впереди. Но, как ни мучали Давида сомнения, неуверенность, отчуждение товарищей, он не стал менее восприимчив к радости бытия. Жизнь была полна до краев, ни один день не проходил впустую, каждый час приносил ни с чем не сравнимую радость познания.

Солнце стояло высоко. Пора уходить, он уже опаздывает на занятия по перспективе. С сожалением Давид оторвался от рисунка. Утро кончилось.

По широким выщербленным ступеням он спустился в сад, пустынный и тихий в это время года. Была зима, напоминавшая прохладную и ясную парижскую осень. Деревья парка Боргезе стояли почти обнаженными, можно было различить пожелтевшие статуи в дальних аллеях. Мимо мраморных фонтанов, искусственных руин Давид вышел к большой дубовой

аллее, ведущей к воротам. С сожалением подумал, что опять придется брать экипаж — нет никакой надежды за оставшиеся двадцать минут дойти пешком до палаццо Капраника.

IX

В маленькой комнате Давида становилось тесно от толстых папок с законченными работами. Рисовал он все проще и строже; иногда тратил целый день, чтобы нарисовать руку или глаз статуи. Одну и ту же фигуру он рисовал с разных сторон, до тех пор, пока никаких неясностей, ошибок не оставалось на листе. Он приучился не думать о впечатлении, которое производит его работа, важно только то, чему он научится, что поймет, закончив рисунок. Не только стремление к мастерству толкало его на этот труд: он начал догадываться, что именно в предельном очищении рисунка от всего лишнего, наносного кроется ясная сила Рафаэля.

С первого посещения Ватикана прошло полгода. Давид хорошо узнал римские работы Рафаэля. В зале виллы Фарнезина подолгу рассматривал фреску «Триумф Галатеи», любовался волшебной точностью линий, фигурами легкими и подвижными, как морские волны; тритоны, нимфы, амуры вихрем кружились вокруг Галатеи, все неслось, искрилось, сверкало, а фреска оставалась устойчивой, спокойной: так волчок, вращаясь, удерживает себя от падения. Плащ Галатеи, плавники дельфинов, волосы нимф двигались в едином ритме, и сам морской ветер, сырой и упругий, был вовлечен в этот хоровод.

Но выше всего оставался Рафаэль в Станцах. Здесь несравненное величие мастера воспринималось всего полнее. Что бы ни открывал Давид во время работы или раздумий перед картинами, он все находил потом у Рафаэля. Этот художник все постиг, все знал, все умел. То, что для Давида оставалось едва достижимой целью, служило великому живописцу не более чем средством. Простота контуров, филигранная точность рисунка, чистота линий нужны были

Рафаэлю лишь постольку, поскольку для сочинения оперы нужен музыканту клавесин.

Как много может сказать кистью художник! Философы «Афинской школы», беседуя среди стройных портиков, открывали зрителю светлый мир разума. В их ритмичных жестах, плавной неторопливой поступи угадывался отзвук отточенной и четкой мысли. Красота линий не существовала здесь сама по себе — она воплощала высокий смысл картины. Линия была насыщена мыслью, мысль выражалась линией. Расположение групп, фигур, их позы, повороты голов подчинялись логичной, хотя и не до конца еще понятной Давиду системе. Во фреске возникал мир, где царило радостное единство философов всех времен. Этот мир был мудр, поэтичен и вместе с тем открыт познанию. Зритель входил в него взволнованный и гордый. Давид волновался вдвойне: и как благодарный зритель и как восхищенный недоступным примером живописец-неофит.

Все более целеустремленно он искал ответ на вопрос, едва ли разрешимый: в чем секрет значительности и высоты образов Рафаэля? Нередко, проведя два часа в Ватикане и отыскав неведомую прежде закономерность композиции, Давид возвращался к работе с уверенностью, что теперь все прояснилось, все стало понятным; но вскоре приходилось убеждаться: он увидел лишь прием, различил следствие, но не причину. Самая суть ускользала от него.

Давид много размышлял о Рафаэле, но подражать ему не решался. Он пытался писать в духе болонцев и отчасти Караваджо: суровая человечность и мощная светотень его картин увлекали Давида. А собственным его героям не хватало самостоятельности, они напоминали и крестьян Караваджо, и апостолов Валантена, и воинов с римских барельефов. Но из искусства Давида мало-помалу уходили пустая аффектация и пышность, кисть становилась сильнее, мужественнее. Он еще сам не понимал, как много значит для молодого художника пребывание в Риме. Жившие и работавшие в Италии художники черпали силы из одного и того же благодетельного источника и каж-

дый по-своему пользовались уроками мастеров Лациума и Эллады. Давид испытывал радостное чувство общности с мастерами прошлого: он шел их путем, он мог стать их наследником. И меланхолический мечтатель Гвидо Рени, и гениальный бродяга Караваджо, и рассудительный Анибалле Караччи ходили некогда по той же земле, рисовали те же статуи, что и Давид теперь, испытывали такую же, как и он, радость первых открытий. Здесь самый воздух настраивал человека на приятие древности. Время, минувшее с эпохи цезарей, иногда не замечалось: ветер с Тирренского моря взметал желтую пыль на Аппиевой дороге и шевелил ветви пиний, таких же стройных и живописных, как в царствование Калигулы. Подвиги древних героев не казались здесь вымыслом Ливия и Тацита. Еще не полюбив античность, Давид принял ее и восхищался ею. Ведь древностью вдохновлялся Рафаэль!

Давид начинал понимать, что античность привлекала живописцев (и особенно Рафаэля) не просто совершенством мастерства, но ясностью впервые открытой правды, гармонией мыслей и чувств. Раз найденный в искусстве образец красоты и величия духа, созданный во времена Перикла, властно притягивал к себе художников. Взрослый человек нередко меряет мир понятиями добра и зла, усвоенными с детства: так и искусство в переломные моменты обращалось к своей далекой юности.

В Риме Давид вновь услышал имя Винкельмана, знакомое еще с Парижа. Этот просвещенный человек, великий знаток античности, долго жил и работал здесь, пользуясь покровительством таких вельмож, как кардиналы Пассионеи, Альбани; даже папа принимал его у себя и, как рассказывали, оказал немецкому ученому редкую милость — позволил обойтись без целования туфли. Винкельман погиб в 1768 году. Римские любители искусства его помнили. Почитатели античности видели в нем своего пророка. Давид мало читал его сочинения, он по-прежнему не очень доверял теориям, однако то, что он узнал об идеях Винкельмана, его заинтересовало. Ученый утверждал,

например, что совершенство древних статуй происходило от свободного и справедливого общественного порядка, царившего в Элладе, и «именно свобода родила искусства», — писал он. Античность была в его представлении не только школой для молодых живописцев, но и единственным образцом высокого искусства.

И в римских гостиных, где Давид почти не бывал, и в мастерских итальянских и французских художников, которые он посещал время от времени, постоянно толковали о статуях, монетах, геммах, вазах. Для одних античность была модой, для других — предметом любви и изучения, для третьих — средством наживы. Спорили о Винкельмане, о достоинствах недавно открытого бюста Тиберия, о трактатах Плиния; раздумывали, где купить подешевле древний барельеф и не подделка ли статуя, которую предлагает известный антиквар. Кое-кто из предприимчивых и нещепетильных скульпторов поспешно изготовлял статуи «под античность», выдерживая скульптуру в земле, отбивая руки и носы, покрывая ее искусственной «патиной времени». В самом центре Рима шли раскопки, из-под земли выступали фундаменты храмов, базы колонн, мозаичные полы. Десятки опытных граверов изготовляли гравюры с едва отрытых редкостей.

Давид повсюду видел древность, которая, как говорил он еще недавно Кошену, «не привлекала» его. Сейчас уже нельзя было сомневаться в величии античности. Но она оставалась в глазах молодого художника холодным божеством; он меньше любил подлинную древность, чем ее последователей. Пересказ всегда легче оригинала.

Однако Давид понял: мало изучить формы древних статуй, их пропорции и движения, мало изучить композиционные принципы Рафаэля и его рисунки. Прежде всего надо проникнуться серьезностью, значительностью образов, свойственной в равной степени и древним мастерам и Рафаэлю. Нельзя, штудируя статуи и фрески, искать в них только образцы линий и форм. Надо избавляться не просто от кокетливой лег-

кости штриха, а более всего от поверхностных, пустых и мелодраматических сюжетов. Достоинство древних и Рафаэля в высоком строе мыслей, им должен проникнуться подлинный живописец.

Это был не логический вывод, а постепенно и едва ли не подсознательно созревшее убеждение. Но так или иначе, Давид был настроен на серьезный лад. Композиции, которые он писал для академии, были исполнены кистью строгой и суховатой, необычный для Давида аскетизм присутствовал в них.

Он послал в Париж этюд «Патрокл», затем эскиз «Триумф Павла Эмилия».

Ему нравилось писать мускулистые, крепкие торсы. В мужественной красоте римских и греческих героев Давид находил поддержку своим поискам суровой, строгой, простой композиции.

Со стороны могло бы показаться, что Давид работает так же, как и другие ученики академии: ведь в Париже постоянно делали композиции на античные сюжеты. Буше изображал олимпийских богов, Вьен писал сценки древней жизни. А Давид чувствовал, что и в собственном его творчестве и в идеях, волновавших молодых художников, назревало что-то новое, совсем непохожее на прежнее, признанное и одобренное академическим начальством увлечение древностью.

Во времена Давида многие читали «Илиаду», но, как и в любые времена, воспринимали ее по-разному: одни видели в ней сокровищницу красивых сравнений и поэтических образов, другие стремились проникнуться высоким строем мыслей и мудростью Гомера. Примерно то же самое происходило тогда в искусстве; но отношение художников к классике определялось не только личными вкусами, а теми переменами, которые происходили в сердцах и умах большинства думающих людей эпохи. Гармоническая ясность классики — это не просто чистота форм, это прежде всего ясность мысли, четкое и разумное представление о мире, изображение жизни как понятного, нравственного начала. Классика — опора справедливости и разума в напыщенный и мишурный век. Слова Винкель-

мана о том, что «свобода родила искусства», падали на благодатную почву — ведь еще до Винкельмана и Руссо и Дидро требовали от искусства простоты и ясности.

Одно дело — классическая красота, другое — классические идеи, породившие эту красоту.

Начав с первой, Давид приближался ко вторым.

Все эти идеи переполняли самый воздух Вечного города. Давид, всегда восприимчивый к настроениям и мыслям времени, отлично их чувствовал. Поэтому он жадно искал то, что отличало нарядную античность Буше или Вьена от чистой классики Рафаэля, от древних мраморов.

Будь Давид теоретиком, он сформулировал бы свои представления о новом, серьезном и глубоком искусстве; будь он политиком, философом, он обосновал бы необходимость искать в искусстве классики образец гражданственности и свободы; будь он ученым археологом, он разыскал бы в трактатах и скульптурах древних подтверждения своим взглядам. Но Жак Луи Давид был всего лишь живописцем, и сейчас только чуткое сердце художника влекло его к проблемам, занимавшим просвещенных знатоков. И решал он все эти проблемы как художник, в сотый раз возвращаясь к недоступным еще образцам.

Давид изнурял себя работой. Желая понять секрет совершенства античного искусства, он тщательно копировал барельефы колонны Траяна, целыми днями просиживал среди обломков базилики Ульпия. Добился разрешения снять кальки с ценнейших расписных ваз из собрания Гамильтона, делал рисунки с гемм, этих крошечных произведений античного искусства, где красота самоцветного камня соединялась с тонкостью работы. Даже в резных камнях размером с ноготь композиция была построена с отменной тщательностью. Рисунки на вазах учили Давида понимать едва уловимые законы ритма, выразительность штриха, силуэта, складок легких одежд.

Да и сам Рим постоянно вторгался в его искусство. Своими зданиями и развалинами храмов и базилик, соразмерностью замшелых колонн, тяжелой

стройностью триумфальных арок он приучал глаз к гармонии масс, объемов, цветов.

Первые недели в Риме Давид чувствовал себя как во сне, словно гравюры, виденные в Париже, ожили и воплотились в реальность. Гравированные пейзажи Рима заслоняли от него настоящий город, где причудливо смешались века и целые эпохи. Увражи, знакомые по Парижу, в точности воспроизводили памятники и здания, но действительность была совсем иной: отсвет южного неба лежал на выщербленных камнях; аромат померанцевых деревьев смешивался с запахом пыли и плесени в старых храмах, и капли веселого дождя сверкали на только что отрытой античной мозаике. Солнце, краски, трепещущий воздух преображали знакомые формы прославленных зданий. Постепенно книжное представление о Риме рассеялось, забылось, и настоящий город вошел в жизнь Давида. Он волновал художника неожиданно открывавшимися следами старины. Мраморный карниз с полустершейся надписью и торжественными «SPQR» *, затерявшийся между кирпичной кладкой; темная герма с головой Януса на перекрестке дорог; колодец с журчащим фонтаном, из которого брали воду рабы Цезаря; тысячелетний мост Эмилия над мутным Тибром, словно сошедший с барельефа на триумфальной арке.

Давид много рисовал на улицах, в его альбомах были наброски карандашом, пером, сепией: виды Палатинского холма, пейзажи Компаньи,

...Его композицию 1778 года «Триумф Павла Эмилия» и этюды с натуры академия одобрила:

«Следует отдать должное сьеру Давиду, он показал величайшую легкость кисти, цвет в его работах живой, хотя несколько однообразный, манера располагать драпировки — свободная и естественная. В большом батальном эскизе, исполненном с несомненным пылом, можно поставить автору в упрек только излишнюю пестроту в светах и чрезмерную бли-

---

* Начальные буквы латинских слов: «Сенат и римский народ».

зость некоторых групп к широко известным образцам...»

Проницательные академики были правы, античность порою подавляла Давида. Он всему отдавался с пылом и подчинялся тому, что изучал. Все же он не освободился вполне от старых приемов — французская манерность не исчезала из его работ, как он ни старался.

Следующий эскиз — «Похороны Патрокла» — заслужил очень лестные отзывы академиков:

«Сьер Давид показал, что значительно продвинулся вперед. Мы с удовольствием отметили в его работе большую легкость и превосходную живопись. Если компоновка еще и не вполне совершенна, то колорит правдив в светах... Этот эскиз обещает огромный талант...

...Мелкие упреки, которые сделаны живописцу, должны не обескураживать его, но, напротив, еще более воодушевить к осуществлению тех больших надежд, которые на него возлагают».

Он и сам имел основания быть довольным: «Похороны Патрокла» — большая композиция в несколько сот фигур говорила о том, как возмужала кисть Давида, как пропиталась она примером древних. Но неудовлетворенность жгла сердце Давида, его муза повзрослела, но еще не стала римлянкой. Он считал, что подражать и то не научился как следует. Разве он достиг отточенной простоты античности? Наверное, был прав семидесятилетний синьор Баттони, прославленный живописец и друг Винкельмана, когда, придя в палаццо Капраника, сказал на своем смешном французском языке:

— Французы хорошо делают эскизы, но они не умеют заканчивать свои картины.

X

Весной 1779 года Давид со своим товарищем по академии скульптором Сюзаном и молодым археологом, любителем древности Катрмером де Кенси отправились в Неаполь. Давид давно собирался посе-

тить знаменитые на весь мир раскопки Геркуланума и Помпей, но работа не давала передышки, и только теперь, спустя четыре года после приезда в Италию, он осуществил свое намерение.

Впервые за несколько лет Давид снова испытывал чувство счастливой праздности, которое дарит путешествие. Легкий баул брошен на пол открытой коляски вместе с ящиком для красок, впереди несколько дней полного и блаженного безделья.

Его спутник — один из интереснейших людей, с которыми доводилось встречаться Давиду. Катрмеру де Кенси недавно исполнилось двадцать четыре года, но ученостью своей он мог поспорить с маститыми профессорами, хотя совсем не походил на них. Он вглядывался в мир с неиссякаемым любопытством, рассказывал о том, что знал, просто и увлекательно. А знал Катрмер по-настоящему много: представление о том или ином событии возникало у него не только из книги какого-нибудь древнего писателя, а составлялось из десятков мелких живых деталей, которые подсказывала память; он помнил множество латинских книг, даже второстепенных, объездил всю Италию, знал все ее храмы, статуи, арки. Для Катрмера история не была бесцветным собранием фактов, он видел ее в совокупности великого и малого, чувствовал ее цвет и аромат, а Нерон или Вергилий существовали в его воображении как живые люди, о которых можно говорить и размышлять не только словами Светония или Диона Кассия, а простыми человеческими словами.

При первом же знакомстве с этим юношей Давид почувствовал к нему живейшее расположение; перед его глазами будто открывался просвет: античность оборачивалась новой стороной, в ней появился тот же живой трепет, что и в полотнах Рафаэля. С обычной своей пылкостью живописец увлекся новым знакомым; возможность вместе с ним совершить поездку в Неаполь чрезвычайно обрадовала Давида.

Катрмер тоже находил удовольствие в обществе Давида, он угадывал в художнике жадную восприимчивость к собственным мыслям. Как и он, Давид ис-

пытывал отвращение к барочной пышности. У живописца это подкреплялось творчеством, и Катрмер, как и всякий теоретик, наивно радовался, видя реальное воплощение своих идеалов прекрасного в полотнах Давида. Катрмер нашел в нем благодарного слушателя: то, что стало близко Давиду в книгах Винкельмана, но что из-за врожденного равнодушия к теории так и осталось неизученным, в изложении его просвещенного спутника отчетливо врезалось в память и поражало воображение. Ясный ум Катрмера не был стеснен сомнениями, заботами о будущем, поисками своего пути. Он был богат, делал лишь то, что ему нравилось, и потому все делал с увлечением. В словах молодого ученого Давид находил подтверждение своим еще не осознанным мыслям.

— Можно ли видеть в этих великолепных созданиях лишь высшее и совершеннейшее проявление латинского гения? — говорил Катрмер Давиду, когда они проезжали мимо развалин храма. — Полагая, что искусство древних есть выражение только их идеалов прекрасного, не впадаем ли мы в ошибку, столь же нелепую, сколь и распространенную? Не правильнее ли видеть в искусстве римлян живое отражение справедливых и нравственных начал, доблести и мужества, наконец, просто физической красоты? Нельзя думать, что древние могли бы приходить в восторг от произведений искусства, не похожих на действительность, ведь их ум не был, подобно нашему, отягчен теориями академиков и философов. Статуи, в которых мы склонны видеть абстрагированный идеал, делали живые люди для живых людей. И не пример пластической красоты — единственная ценность, оставленная нам римлянами и эллинами, а то совершенство духа, которое породило эту красоту.

Он был так молод, так весело блестели его глаза под красиво завитым париком, что даже самые высокопарные слова звучали естественно и трогательно.

— Возьмите архитектуру и особенно архитектуру эллинов. Как все здания древних соразмерны людям, они их не подавляют, но, напротив, внушают им пред-

ставление о собственном достоинстве, приучают к идеям величия без пышности. Помните, Перикл, если верить Плутарху, говорил: «Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без излишества». Ведь это относилось не только к зодчеству, но более всего к характеру людей...

А живопись древних, о которой мы не знаем ничего, кроме описаний! И Плиний, и Павсаний, и другие писавшие об искусстве авторы ценили в картинах превыше всего именно сходство с натурой, а не близость к неким идеалам. И если мы хотим внести в наше искусство благородство античности, то следует прежде всего проникнуться высокими идеями свободных и мужественных квиритов...

Быть может, год назад слова Катрмера не произвели бы на Давида такого впечатления. Но последние годы поисков и сомнений, вся сложная работа, происходившая в душе художника, сделали его очень восприимчивым к такого рода суждениям, он ждал слов, которые сформулировали бы то, что он угадал, но не осознавал до конца. И ощущение отдыха, свободы соединялось с острой радостью: он начинал видеть свой будущий путь.

Давид забыл о нетерпеливой жадности, с которой работал минувшие годы, он наслаждался отдыхом, созерцанием природы. Путники весело болтали, перемежая шутливые беседы серьезными рассуждениями, декламировали Горация, вспоминали «Буколики» Вергилия, глядя на пленительные пейзажи Компаньи.

Они пересекли границу Неаполитанского королевства, миновали Капую и Козерту. К вечеру рассчитывали быть в Неаполе. На повороте дороги, идущей через лес, веттурино резко свернул к обочине, осадил лошадей и сдернул с головы широкополую шляпу. Увлеченные разговором, пассажиры не сразу поняли, что происходит.

— Охота его величества! — крикнул возница.

За поворотом слышались пронзительные звуки рога, конский топот, лай собак. Блестящая кавалькада показалась на дороге. Это действительно была охота Фердинанда IV — короля Неаполя.

Беззаботные и ловкие всадники на выхоленных конях, шитые серебром и золотом епанчи, зеленый бархат охотничьих костюмов, драгоценное оружие, своры великолепных собак, яркие мундиры гвардейцев— все сливалось в роскошный и торжественный спектакль, так хорошо отвечающий настроению Давида, тоже веселого и беззаботного в этот весенний теплый день.

Кто-то из свиты короля окликнул Катрмера де Кенси — у него повсюду были друзья. Последовала короткая церемония знакомства, Катрмера и его спутников пригласили присоединиться к охоте, вернее к отдыху королевской свиты, ибо как раз собирались расположиться на привал. В тенистой роще, рядом с заброшенной виллой запестрели легкие палатки; расстелили ковры на молодой траве; многочисленная армия поваров и слуг принялась распаковывать запасы и сервировать завтрак. Французов окружили, им старались оказать всевозможные услуги и беседовали с ними с изысканной любезностью. Женой короля была родная сестра Марии Антуанетты, и внимание к французским гостям входило в обычай неаполитанского двора.

Веселые восклицания, смех, оживленные голоса раздались с лужайки, расположенной поодаль. Несколько придворных и офицеров по очереди пробовали вскочить на брыкающегося, видимо почти не объезженного, жеребца. Конь был необыкновенно хорош— серый в яблоках, со спутанной длинной гривой. Он напомнил Давиду коней Диоскуров с римского Капитолия. Да и все здесь казалось ожившей древностью: дикий конь, рвущийся из рук людей, пронизанная солнцем роща, полуразрушенная стена патрицианской виллы вдалеке... Никому не удавалось укротить жеребца, удержаться в седле было невозможно, самые искусные наездники потерпели неудачу. Наконец еще один решил попытать счастья. Очень молодой, тонкий, быстрый в движениях, он легкими шагами вышел на лужайку и сбросил кафтан. Оставшись в одном камзоле, юноша казался совсем хрупким рядом с огромным жеребцом. Почти не коснувшись стремян,

он вскочил в седло и, сильно рванув поводья, поднял коня на дыбы. Пыль, комья земли полетели в глаза зрителям; жеребец бешеным аллюром метался в разные стороны, неожиданно останавливался, пытаясь сбросить всадника через голову, и снова карьером несся вперед. Вся свита и даже королевская чета собрались на поляне, привлеченные необычным поединком. Слуги забыли о тарелках и салфетках.

Человек победил. Вздрагивая и закидывая голову, кося налитыми кровью глазами, жеребец остановился на самой середине поляны. Наездник повернул к зрителям счастливое и усталое совсем мальчишеское лицо и торжественно снял шляпу, салютуя королю. Грудь его еще тяжело вздымалась под синей орденской лентой, в глазах не погас азарт недавней борьбы, кружева жабо порвались, открыв шею. Зрители аплодировали, как в театре.

Это был молодой польский дворянин (Il conto Potozki), как называли его итальянцы, один из самых блестящих кавалеров Европы. Давид аплодировал вместе со всеми, не зная, кто этот человек. Живописца восхитила красота всей сцены, так похожей на рассказы об античных героях.

Перед концом привала Давиду и его спутникам сообщили, что «его величество с удовлетворением узнал о присутствии французских гостей и хочет их видеть». Беседа продолжалась минут пять. Король сказал Давиду несколько любезных слов, Мария Каролина, очень похожая на свою сестру, казалась более властной и надменной, чем ее царственный супруг; ни для кого не было секретом, что правит королевством именно она. Катрмер упомянул о том, какое впечатление произвела на Давида смелость графа Потоцкого. Король ответил, что если «м-сье французский живописец взял бы на себя честь воспроизвести этот эпизод, то такая картина, без сомнения, послужила бы украшением любого дворца как в Варшаве, так и в Неаполе». Давид понял, что ему заказывают картину, и выразил подобающую случаю признательность. Аудиенция окончилась. Это была первая в жизни Давида беседа с коронованными особами. Ни Марии Каролине, ни

Давиду не могло тогда прийти в голову, на каких перекрестках истории столкнет судьба французского живописца с дочерьми Габсбургского дома.

XI

Неаполь ошеломил Давида яркостью костюмов, соленым запахом моря, проникавшим даже в коридоры гостиницы, шумом толпы на набережной Санта Лючия. Из окон виден был угловатый силуэт форта Кастелло дель'Ово и неподвижная вода залива. Внизу на набережной торговали живностью, поэтично называемой здесь frutti di mare — «дарами моря»: устрицами, ракушками, мелкой рыбешкой.

Давиду нездоровилось: сильно болела голова, оживление последних дней сменилось внезапной апатией. Спутники опасались, не подхватил ли он страшную лихорадку — «терцана», свирепствовавшую весной в средней Италии. Но, видимо, просто сказывалось переутомление и климат. Давид изнурял себя не только работой, но постоянными муками неудовлетворенной жажды совершенства. Вечер, проведенный в знаменитом театре Сан-Карло, не развлек его. Утром Давид встал разбитым.

Экипаж ждал у подъезда. По берегу залива у подножия Везувия бежала неширокая дорога. Серые ослики, трудолюбиво и необыкновенно быстро перебирая маленькими ногами, подымали тучи белой горячей пыли; изредка мягкий и влажный ветер с моря охлаждал раскаленный воздух. Далеко внизу плыли рыбачьи лодки, неправдоподобно живописные со своими белыми сверкающими парусами на фоне тусклобирюзового залива. Катрмер был возбужден и весь светился нетерпением, хотя уже не раз посещал Помпеи. Он радовался возможности показать город своим спутникам и вновь пережить с ними вместе остроту первого впечатления.

— Пути судьбы полны парадоксов, — говорил он. — Подумайте, не случись этой трагической катастрофы, мы никогда не узнали бы столько о жизни римлян; жители Помпей гибелью обрели бессмертие:

отпечатки их тел сохранились в пепле, и в этом же пепле навечно сохранились их дома.

Катрмер рассказывал страшные подробности гибели города и наизусть читал знаменитое письмо Плиния Тациту:

— «...От частых и сильных подземных ударов здания шатались и, как бы сорванные со своих оснований, казалось, то двигались в разных направлениях, то опять возвращались на прежние места. С другой стороны, было страшно оставаться под открытым небом ввиду падения камней, правда, легких и изъеденных огнем...

...В других местах уже начинался день, здесь же была ночь, более темная и глубокая, чем все другие ночи, озаряемая как бы отблеском факелов, многочисленными вспышками разного рода огней...»

А сейчас Везувий, серо-бурый, бугристый, лишь слегка дымил, ничем не напоминая огнедышащего гиганта, погубившего тысячи людей.

Солнце стояло высоко, когда приехали в Помпеи. Несколько полуголых рабочих осторожно расчищали стену виллы на краю города. Ими командовал старый морщинистый человек с большой лупой в руках. Основания стен лишь слегка выступали из почвы, пол домов был ниже уровня земли, город словно погружался в горячий песок. Но улицы были видны, кое-где сохранились глубокие борозды; Давид с внезапным волнением понял, что это следы колес, колес древних телег, на которых, быть может, привозили на виллу жившего здесь в летние месяцы Цицерона драгоценные яства из Рима. Или эти колеи проложили колеса тяжелых повозок, доставлявших в загородные дома знати мраморные статуи из покоренной Эллады? А по бокам улиц тянулись самые настоящие тротуары, тротуары, которых по сию пору было так мало в самом Париже...

Целый день бродили французы по маленькому городу, возвращаясь по нескольку раз к одним и тем же местам. Каждый раз взгляд проникал все глубже, и давно ушедшая жизнь все ярче и отчетливее рисовалась Давиду.



Портрет графа Потоцкого. Масло. 1781.



Портрет Пекуля. Масло. 1778.

Катрмер показывал надписи на стенах. Это была скверная полуграмотная латынь, которую даже он разбирал с трудом, а Давид не понимал вовсе. Оказывается, люди, облаченные в гиматии и тоги, говорили не только гекзаметром. Давид видел надписи, уговаривающие помпеян выбрать в городской магистрат именно такого-то достойнейшего человека, а ниже наивную и угрожающую приписку: «Чтоб ты заболел, если из зависти это уничтожишь». В жизни древних, как и во всякой другой жизни, уживалось рядом и серьезное, и забавное, и великое, и мелочное... На стенах домов сохранились почти не потускневшие фрески, там плясали фавны, резвились амуры, неизвестные герои загадочно улыбались посетителям.

Итальянские археологи, работавшие в Помпеях, прочитав рекомендательные письма Катрмера де Кенси, которыми он был снабжен в изобилии, встретили французов радушно и показали все, что можно было показать. Посуда бронзовая и глиняная, совсем новая, едва тронутая временем, будто сохранила следы человеческих рук. К краям этих бронзовых чаш прикасались губы, произносившие латинские слова, знакомые ныне только ученым, — звонкая латынь была здесь обычной повседневностью. На дне чеканной жаровни сохранился темный нагар от тлевших семьсот лет назад углей, дно светильника потускнело от масла. Но более всего поразила Давида одна небольшая, отрытая уже полностью вилла. Посреди атриума сохранился бассейн — имплювий, и на дне его скопилась чудом не высохшая в этот знойный день вода недавнего дождя. Мозаичный пол был присыпан пылью, на ней остались следы людей, в глубине за заросшим травой перестилем острый силуэт одинокого кипариса и каменистая дорога. И Давид, который никогда не отличался особо поэтическим складом души, вдруг с потрясающей ясностью ощутил себя перенесенным в давно исчезнувший мир. Будто хозяева виллы покинули ее какой-нибудь месяц назад, и рабы перестали заботиться о доме в дни отсутствия господ...

Все часы, проведенные потом в Помпеях, чувство причастности к далекой старине не покидало Давида.

Люди, являвшиеся ему прежде лишь в героическом обличье, внезапно оказались земными, обыкновенными смертными. И величие их подвигов, их искусства, их истории намного выросло в глазах Давида — ведь они творились не гигантами, а такими же, как он, людьми.

Кенси непрерывно говорил, воодушевленный острой восприимчивостью Давида и зрелищем любимых им Помпей. Он рассказывал, как всегда живо, и прежние Помпеи возникали в воображении слушателей. Снова журчали фонтаны; до черноты загорелые рабы тащили носилки, где восседал важный чиновник в отороченной пурпуром тоге; проходил молодой щеголь в яркой лацерне, громко кричал продавец снега в меду — античного мороженого; уличный писец выводил стилем аккуратные строки на вощеной дощечке, а со стороны амфитеатра доносился восторженный рев толпы — там шла травля диких зверей.

В Неаполь возвращались в молчании. Давида лихорадило, он закутался в широкий плащ и надвинул на глаза треуголку. Мысль его, однако, работала ясно и отчетливо, он с радостью вспоминал уходящий день, все виденное прочно врезалось в память. Античность открылась ему до конца, во всей своей реальной и теплой жизненности. И, главное, что-то новое появилось в нем самом, прежний разлад сменился четкой уверенностью в правильности выбранного пути.

Гостиница спала, когда они приехали в Неаполь. Сонный падроне с огарком в руках отпер двери.

— Ну как, мой дорогой м-сье Давид, — спросил Катрмер, прощаясь, — вы не жалеете о сегодняшней экспедиции? Я вижу, вы совсем нездоровы?

— У меня нет слов, чтобы благодарить вас, — ответил Давид очень серьезно. — Поверите ли, мне сегодня сняли катаракту!

XII

Давид возвратился в Рим совершенно больным. Он должен был лежать в постели, дни проходили тягостной, бесцветной чередой, ночами его преследова-

ли кошмары, он бредил, стонал, просыпался измученным и несчастным. Нервы были расстроены вконец, он никого не желал видеть, голова нестерпимо болела.

Сомнительные познания пользовавших Давида лекарей навсегда оставили в тайне природу его заболевания. Доподлинно известно лишь, что во время выздоровления он был угрюм, подозрителен и страшно беспокоился, сможет ли окончить всю необходимую работу до истечения срока пенсионерства. Когда Вьен, заручившись поддержкой д'Анживийе, королевского министра, предложил ученику продлить пенсионерство на целый год, Давид не увидел в этом ничего, кроме повода для обиды; ему казалось, что за невинным предложением профессора кроется какой-то тайный и оскорбительный смысл. К таким печальным последствиям привели болезнь и нелегкий нрав молодого живописца.

Как только можно было подняться с постели, Давид принялся за работу. Карандаш дрожал в пальцах, голова кружилась. Он упорно боролся с карандашом и собственной слабостью.

Лишь осенью он смог начать работать по-настоящему. Древность прочно и окончательно завладела Давидом, и сейчас усерднее, чем когда-либо раньше, он изучал антики. Каждый день он аккуратно рисовал по статуе, стараясь, как сам он говорил, приправить древние мраморы «современным соусом». Давид слегка изменял скульптуру, вносил в изображение теплоту, движение, почерпнутые в непосредственном наблюдении. Ему хотелось сообщить античности трепет жизни, который он так явственно ощутил в Помпеях. Этот наивный способ не всегда приносил успех. Но он помогал Давиду не просто воспроизводить скульптуру, а возрождать ее живое подобие.

Кроме академических этюдов, он писал композицию «Святой Иероним», начал портрет Потоцкого и по заказу Марсельского госпиталя взялся писать картину «Святой Рок, ходатайствующий перед богородицей за зачумленных». Рисуя, Давид чувствовал себя легко с древностью, но за мольбертом, с кистями в руках он оставался в полном подчинении у бо-

лонцев. Давид, естественно, не имел возможности учиться у античных живописцев, которых ни он, ни кто-нибудь другой не знал и знать не мог. Рафаэль был слишком недоступен. А стремление Давида к серьезной живописи более всего удовлетворяли именно Караваджо и болонцы.

Срок пенсионерства близился к концу. Теперь Давид смеялся над своей нелюбовью к античности и начисто отказался от всякого подражания французской школе. Он мог бы вслед за Винкельманом поклясться, что «благородная простота и спокойное величие» — краеугольные камни искусства.

Вьен, видя приверженность своего ученика к древности, понимал, что он на пороге окончательного выбора пути. Конечно, Давид много талантливее своих сверстников, да, пожалуй, и своего профессора. Это не огорчало Вьена, он давно постиг меру своего дарования и был рад помочь молодому художнику, обещавшему успехи, по-настоящему выдающиеся. Он стал учить Давида работе восковыми красками на манер древних живописцев: Вьен посвятил много лет раскрытию их секрета. Эта техника приучала руку Давида писать гладко и точно, избегая густых мазков, неопределенных линий, неряшливого наложения красок. И, работая маслом, Давид стал теперь добиваться такой же отточенной чистоты мазка.

Давид продолжал встречаться с Катрмером де Кенси, и беседы с ним по-прежнему приносили ему радость. В Риме у него появилось немало знакомых, но настоящих друзей он не приобрел: слишком пылко предавался своему искусству. Вечера, как и раньше, отдавал музыке — здесь, в Риме, можно было часто слушать превосходных музыкантов. Спектакли в Римской опере начинались поздно, в десять часов вечера; и как бы долго ни задерживался Давид в мастерской, к этому времени он уже кончал работу и мог успеть к началу представления.

Давид не задумывался о возвращении во Францию. Он с великим трудом менял свои привязанности. Представить себе жизнь вдали от Рима было немыслимо. Здесь прошли годы очень для Давида важ-

ные и в придачу лишенные парижских забот. В Риме он думал только об искусстве, жил только им. А во Франции его снова ждет погоня за славой, успехом, да и за деньгами. Дома академия уже не будет платить ему пенсион каждый месяц. И вообще, наверное, гораздо проще снискать успех в качестве ученика академии, чем независимого живописца.

В начале 1780 года Давид закончил и «Святого Иеронима» и «Святого Рока», портрет Потоцкого был значительно продвинут вперед. Приближался конец ученичества, надо было думать, что̀ показать в академии. Для парижских профессоров Давид приготовил набросок композиции «Велизарий». Он выбрал исторический сюжет, навеянный, правда, не латинскими авторами, а романом Мармонтеля, прочитанным в Риме. Академик Жан Франсуа Мармонтель, известный в те годы литератор, рассказывал в своей книге о печальной судьбе Велизария, полководца императора Юстиниана. Смешивая историю с легендой, Мармонтель описал жизнь мужественного воина, любимца солдат, одержавшего множество побед во славу своего властелина. Но Юстиниан не доверял Велизарию и боялся его. В конце концов император решил избавиться от слишком прославленного военачальника. Велизарий был лишен чинов и богатств, а затем по приказу жестокого и недоверчивого монарха ослеплен. В книге Мармонтеля Давида привлек один из последних эпизодов — старый воин узнает своего полководца в дряхлом, слепом нищем, просящем подаяния. В этой сцене была человечность, мужественное страдание, которые представлялись Давиду очень важными для сочинения картины, достойной древних образцов.

Давид полагал, что именно такой сюжет даст ему в руки ключ для достижения «благородной простоты и спокойного величия» и откроет путь к созданию первой настоящей картины. Ведь, несмотря на все свои успехи, он пока писал только учебные работы, если не считать росписи особняка Гимар и нескольких портретов, которые Давид уже не принимал всерьез.

Он так и не понял, можно ли считать успехом своего «Святого Рока». Фигура зачумленного на первом плане, безусловно, удалась, но в остальном картина не очень ему нравилась. Товарищи по академии отнеслись к этому полотну с недоумением — слишком не похоже было оно на привычные композиционные схемы: второстепенная фигура на переднем плане, резкие тени, подчеркнутая лепка формы. После нескольких минут молчания, в течение которых никто не знал, что сказать, насмешник Жиро произнес:

— Кто, собственно, мешает признать, господа, что это хорошо?

Но Вьен картину одобрил. А Помпео Баттони во время очередного визита в мастерскую Давида рассматривал «Святого Рока» очень долго. Он сидел в кресле, опираясь на старую, как он сам, трость с тяжелым набалдашником, и высохшие губы его морщились от удовольствия.

Потом он заговорил, как всегда путая французские и итальянские слова:

— За пятьдесят четыре года, что я живу в этом городе, я видел художников всех наций и видел их работы. Но ни одной, равной вашей, я не помню. Этот зачумленный совершенно в духе Микеланджело и достоин его...

Он поднял на Давида потускневшие от старости глаза.

— Поверьте мне, вам нельзя покидать эту страну. Ради любви к искусству вы должны остаться здесь. Не возвращайтесь во Францию. Там вы себя потеряете.

Едва ли не эти же слова Давид слышал перед отъездом из Франции от Кошена, уговаривавшего его не покидать Париж. Неужели всю жизнь его будет преследовать неуверенность?

Он уезжал 17 июля 1780 года.

Давид оставлял Рим почти с такой же неохотой, как пять лет назад Париж. Но он стал взрослее, вот-вот должно стукнуть тридцать два — пора научиться владеть своими чувствами. Перед тем как покинуть Италию, Давид собирался задержаться во Флоренции

и, может быть, если хватит времени и денег, заехать в Венецию.

Итак, впереди еще несколько недель беззаботной молодости, а там — увидим. Ведь все равно рано или поздно придется взяться за завоевание Парижа. От этого намерения Давид никогда не отказывался.

XIII

На крыше большого французского дилижанса были привязаны тяжелые тюки с самым драгоценным достоянием Давида: несколько эскизов, наброски к «Велизарию», два или три портрета, папки с рисунками и, наконец, незавершенный портрет Потоцкого, огромное полотно, едва уместившееся на крыше кареты.

Как ни жаль было покидать Италию, возвращение домой радовало Давида. В конце концов приятно слышать кучера, говорящего по-французски, видеть простор тусклых, влажных полей и дышать французским воздухом. Он с нетерпением ждал Парижа.

Давид, сошедший на парижскую мостовую, мало напоминал молодого и щеголеватого обладателя Римской премии, покинувшего столицу пять лет назад. Знакомые и родственники нашли, что он похудел и стал похож на итальянца. Действительно, южное солнце сделало Давида смуглым, недавняя болезнь лишила его лицо прежней округлости, а манерой носить плащ он и впрямь походил на римских художников. В жестах появились уверенность и живость, в речи проскальзывали итальянские слова. Несколько дней Давид чувствовал себя экзотической личностью и знатным путешественником.

Он отвык от Парижа. В Италии он стал слегка провинциален, полюбил неторопливый ход времени и живописную беззаботность римских улиц. Он забыл о том, как шумны бульвары, как многочисленны и элегантны экипажи, и с огорчением убедился, что его костюм и парик отстали от моды по меньшей мере на год.

Раньше он, как и многие парижане, не замечал Па-

рижа, а только жил в нем. Теперь он любовался Сеной, прислушивался к перекличке лодочников, лакомился мателотом * в квартале Гро-Кайу, что пониже «Инвалидов», радовался стремительной блестящей жизни, театральным премьерам, грации парижанок. Но при всем этом его не покидала мысль: что будет дальше?

Привезенные из Рима и ранее присланные в Париж картины пришлось поместить в квартире Седена в Лувре. Седен помог развесить полотна так, что получилось подобие небольшой, но довольно внушительной выставки. Товарищи Давида по академии, приятели Седена, художники, обитавшие в Лувре, за несколько дней познакомились с живописью Давида. Здесь смотрели работы пенсионера и профессора академии. К предложению написать картину на сюжет романа Мармонтеля они отнеслись благосклонно; вообще учителя встретили Давида очень доброжелательно, видимо его римские работы произвели впечатление.

Чтобы стать «причисленным к академии» (таково было первое академическое звание), чтобы иметь право выставлять свои работы в салоне, нужно было представить профессорам большую «историческую» картину. Давид принялся за «Велизария».

У него не было ни мастерской, ни денег, чтобы ее снять. Седен помог получить пустующее помещение в городской ратуше, и живописец перетащил туда свои холсты и краски. На набережной де ла Ферайль в доме м-сье Эке, торговца железом, Давид снял комнату на самом верху. Туда возвращался он только ночевать, проводя большую часть дня в мастерской или у Седена.

Жизнь его протекала на ограниченном пространстве Парижа, в тех же местах, где прошли его детские годы. Утром он отправлялся в ратушу, мимо дома своих родителей, а после работы той же дорогой шагал в Лувр к Седену. Собственно, понятий «до» и «после» работы не существовало: Давид не мог думать

* Рыбное блюдо.

ни о чем, кроме холста, как ему казалось, самого главного холста в его жизни. Несколько часов в день он обычно уделял и портрету Потоцкого, который уже приближался к завершению. Но главной заботой оставался «Велизарий». Это была первая картина, в которой Давид собирался высказать идеи, рожденные изучением древности и раздумьем о назначении искусства.

На картине было подножие портика или триумфальной арки — тяжелые пьедесталы, базы мощных колонн. Вдали холмы, напоминавшие Альбанские горы. Там в густой массе пиний и кипарисов виднелись крыши домов и храмов...

Велизария Давид написал сидящим на камне, голова его поднята вверх — он слеп, он не видит мира, только прислушивается к нему. Латы на плечах полководца печально оттеняют рубище, в которое он облачен. Мальчик-поводырь в светлой тунике протягивает вперед боевой шлем Велизария. И в этот шлем, так часто одним своим блеском наводивший ужас на врагов могущественной державы, в этот шлем, в котором Велизарий сражался в Персии, в Африке, в Риме, кладет подаяние какая-то добросердечная женщина. Поодаль старый солдат с изумлением и ужасом смотрит на дряхлого слепца, не решаясь признать в нищем богатого и любимого солдатами прославленного полководца. Давид еще не отваживался доверить зрителю оценку события, и солдат как бы выражал удивление и горе самого художника.

Он тщательно изгонял из картины всякую ложную занимательность, кокетливость мазка. Суровая античная простота должна была царствовать на холсте. Давид отказался от яркости красок, предпочитая монохромность излишней пестроте. Зато, работая над портретом Потоцкого, он не боялся цвета. Воспоминания о пронизанной солнцем роще, великолепном скакуне и отважном наезднике сохранились совершенно свежими в памяти, нельзя было писать все это такими же сумрачными красками, как «Велизария». Давид изобразил Потоцкого верхом на уже укрощенном, покорном жеребце, наездник снимает шляпу, салютуя

королю. Портрет служил отдыхом от суховатой живописи «Велизария». Светло-синяя лента ордена Белого орла на груди графа, кремовые рейтузы, голубое небо, сочная зелень молодой травы, белые кружева рубашки Потоцкого, солнечные пятна на земле — настоящий праздник кисти. Как видно, не только античность, но и современная жизнь, если в ней есть нечто от героики римлян, а может быть, и просто от мужества человека, способна прочно завладеть сердцем художника.

Работать сразу над двумя большими полотнами — нелегкая участь. Но Давид понимал: именно в эти месяцы выяснится его дальнейшая судьба, и наподобие своих любимых квиритов решил быть «aut Ceasar, aut nihil» *, а точнее сказать, только Цезарем.

Давид жил, не замечая ничего, кроме работы. Вечерами играл на скрипке Чимарозу. Так прошли зима и весна 1781 года.

В августе должен был открыться салон. Иногда Давид с удивлением замечал, что окружающий мир живет и меняется. Исчезло знаменитое на весь Париж «Краковское дерево» — могучий древний каштан у Пале-Руаяля, где испокон веку чесали языки любители политических дискуссий. Приметы старого города исчезали, прежний запущенный и суматошный Пале-Руаяль превращался в фешенебельный, окруженный галереями парк. Все это Давид воспринимал как прочитанное в газете, все стало бесконечно далеким, малоинтересным.

Конечно, были дни полного отчаяния, когда казалось, что работа не будет готова к сроку или что картины безнадежно, позорно плохи и пора признаться, наконец, в своей совершенной бездарности. Но как обычно случается в волшебных сказках, в самый последний момент картины все же были готовы, покрыты лаком, вставлены в рамы, и даже еще осталось несколько свободных дней до заседания совета академии.

В пятницу 24 августа 1781 года, накануне дня Свя-

---

* Или Цезарь, или никто (*лат.*).

того Людовика, в который по традиции открывался салон, Давид ждал решения совета. Как во времена погони за Римской премией, он не помнил себя от волнения, боялся провала и, главное, не самой неудачи, а унижения, которое по милости профессоров переживал уже не раз.

Но Давид не мог знать того, что сразу же стало ясно академикам, не мог оценить мастерство и опыт, приобретенный в Италии. «Велизария» одобрили все без исключения судьи. Одним картина действительно по-настоящему понравилась; другие, даже далекие от такого рода искусства, воздали должное мастерству молодого живописца; третьи, наконец, увидели в полотне близость к сегодняшним идеалам в искусстве, которые были дороги критикам и зрителям, отрицавшим бездумную и легкомысленную живопись. Так или иначе, произошло событие, равное в академии почти что чуду: Луи Давид был избран «причисленным к академии» единогласно. Ни один черный шар не упал в урну для голосования.

XIV

25 августа 1781 года открылся салон.

Стены большого квадратного зала Лувра сплошь были завешаны картинами, среди которых находились и полотна Давида. В маленьком ливре — каталоге — черным по белому было напечатано: «М-сье Давид, причисленный. № 311. «Велизарий, узнанный служившим под его командованием солдатом в ту минуту, когда женщина подает ему милостыню». Потом шли «Святой Рок», «Портрет графа Потоцкого верхом», «Похороны Патрокла» и другие работы Давида, сделанные им в Италии, — всего восемь номеров.

Самые значительные моменты собственной жизни человеку свойственно осознавать лишь впоследствии. Давид, увидевший толпу зрителей перед своими полотнами и еще не решавшийся верить в успех, не думал, что в эту минуту рождается его слава. Салон, где он столько раз любовался произведениями вели-

ких мастеров, мечтал о грядущих успехах, этот салон жужжал, волновался, повторяя его имя. Он слышал одобрительные восклицания, видел, что к его «Велизарию» движутся люди, забывая о полотнах Лепренса и Верне. Подошел Седен, поздравляя Луи. Он передал лестные отзывы знатоков: сам Дидро одобрил картины Давида, Седен слышал мнение знаменитого писателя из его собственных уст. Знакомые и полузнакомые люди пожимали Давиду руку, ему улыбались, с ним любезно раскланивались. Давид испытывал высокую радость победы: его признали. Дни, проведенные за копированием бесчисленных статуй, рельефов, гемм, дни, прошедшие перед мольбертом в непрестанных поисках совершенства, бессонные ночи, муки неудовлетворенного желания стать, наконец, подлинным мастером мгновенным вихрем пронеслись в памяти Давида. Эти годы не были потрачены впустую. Настал день, который столько раз рисовал в воображении Давид; воплотившаяся в жизнь мечта странно смешивалась с обыденностью: с запахом лака, пудры и пыли, с заботами о новых кружевах манжет, не хотевших красиво лежать на руке, с неловкостью и застенчивой радостью от похвал, с беспокойством за чрезмерно яркий румянец собственных щек.

Давид покинул салон только тогда, когда устал до изнеможения, он ничего не понимал, хотелось побыть одному. Важные господа, чьи имена произносились рядом с именами коронованных особ, приглашали его сегодня в свои отели, его картины царствуют в салоне, и впереди вся жизнь! Горячая радость трепетала в нем. Покой удовлетворенных мечтаний впервые за добрых десять лет появился в душе. Он искренне порадовался за своих родных, столько раз страдавших из-за его неудач, и с удовольствием подумал, что теперь есть о чем написать матери.

«М-м Давид. Тюремная улица в Эвре, в Нормандии

Париж, 27 августа 1781 г.

Вы извините меня, быть может, дорогая матушка, что я так долго не писал вам, но не будучи в состоя-

нии сообщить Вам что-либо хорошее, я ждал события, которое этого заслуживало бы. Такое событие наступило. Поэтому извещаю Вас, что в пятницу, накануне дня Святого Людовика, академия приняла меня в число причисленных за большую картину, изображающую Велизария, которого узнает солдат, служивший под его начальством, в тот момент, когда женщина подает ему милостыню. Академия приняла меня не вполне обычным способом, поскольку я был избран единогласно, без единого черняка. М-сье граф д'Анживийе, присутствовавший на заседании академии, высказал мне свое величайшее одобрение и ждет только случая, чтобы доказать его на деле. Вы знаете, что граф д'Анживийе — министр и главный смотритель строений. Вот что я хотел сообщить и приберегал для Вас уже давно. Если Вы приедете в Париж посмотреть на мои картины в салоне, Вы узнаете их по публике, которая толпой туда направляется. Вельможи с голубыми лентами желают видеть автора; наконец-то меня вознаграждают за мои труды... Уведомьте меня, пожалуйста, если приедете в Париж. Я в настоящее время по горло занят визитами: делаю их и принимаю, но принимаю у м. Седена, так как живу я слишком высоко. Я живу на набережной де ла Ферайль, против Нового моста у м. Эке, торговца железом. Я богат еще только славой, деньгами же гораздо менее, но я надеюсь, что и это придет: в конце концов я не терял напрасно времени. Мои родственники довольны от всего сердца, и это доставляет мне всего больше удовлетворения.

До свидания, матушка, обнимаю Вас от всего сердца. Примите уверения в почтительных чувствах, с каковыми я не премину быть Вашим нижайшим и покорным слугой.

Давид».

Однажды за завтраком, допив свой шоколад, Седен вытащил из кармана шлафрока несколько мелко исписанных листков бумаги и с торжественным видом протянул их Давиду.

— Прочитай, что пишет о твоих работах м-сье Дидро, — сказал он.

Это была копия рукописи «Салона 1781 года», написанного Дидро для «Литературной корреспонденции»* барона Гримма. Вот что прочел Давид о себе и своих картинах:

«Это молодой живописец с большим вкусом, он обнаружил его в выполнении своей картины; в ней чувствуется душа; лица выразительны, без жеманства; позы благородны и натуральны; он умеет рисовать; умеет накинуть драпировку и расположить ее красивыми складками; краски его хороши, не будучи излишне яркими...»

Дальше шли замечания критические, но частные и малозначительные, Давид едва обратил на них внимание. Его признал самый знаменитый критик Парижа, писатель, некогда безжалостно порицавший Буше. И этих слов удостоился художник, совсем неизвестный Дидро.

О «Роке» Дидро писал так:

«...Попытайтесь, если вам удастся, пристально вглядеться в этого больного юношу, который обезумел, впал в ярость, — вы в страхе убежите от картины, но вас вновь вернут к ней любовь к искусству и восхищение художником».

«Потоцкого» Дидро назвал «превосходной картиной», академические этюды «прекрасными фигурами». Это было полное и безоговорочное признание. Давид испытал новый прилив счастливой гордости.

...Давид впервые заговорил о том, чего давно ждали зрители; картины его и особенно «Велизарий» повествовали не об изящных пустяках, не о любовных похождениях богов, но о человеческом достоинстве, о доброте и гордости, о печальных путях судьбы. Это не оставляло равнодушными людей, которые читали «Энциклопедию», Руссо и возмущались несправедливостью общественного устройства. Картины Давида звучали как спокойный голос разума среди праздной

---

* Рукописный журнал Гримма.

болтовни и фривольных стихов. И то, что художник был молод, особенно подкупало.

Конечно, и мастерство значило много, знатоки видели в Давиде возрождение французской школы, и это льстило опять-таки более всего третьему сословию — оно тогда лучше, чем двор, помнило о национальной гордости.

Давид не задумывался о причинах своей зарождающейся славы, а только радовался ей. Почти каждый день он приходил на выставку салона и, стараясь оставаться незамеченным, вслушивался в суждения зрителей. Редкое наслаждение — внимать похвалам незнакомых людей, видеть их глаза, устремленные на твои холсты, ощущать, как волнение, некогда тобой владевшее, передается десяткам зрителей.

Но однажды Давида узнали. Он стоял поодаль, разговаривая с Седеном, тоже часто приходившим в эти дни в салон. Как всегда, толпа перед картинами Давида была многочисленна и шумна. Вдруг кто-то крикнул:

— Так вот же он сам, Давид!

Мгновенно все лица обратились к нему, десятки блестящих восторгом глаз встретились с глазами Давида, громкие рукоплескания раздались в салоне. Никогда еще Давид не оказывался в самом центре внимания толпы. Губы его дрожали от смущения и горделивой радости, рука вцепилась в тугие кружева на груди. Его подхватили на руки, подняли высоко и понесли к «Велизарию». Это было как древнеримский триумф. Старые стены квадратного салона не помнили столь бурных манифестаций в честь искусства и художников. Всплыло мгновенное воспоминание: он, двадцатилетний юноша, стоит перед Лувром и мучительно завидует Венсану — победителю конкурса. Это был час свершения самых дерзких мечтаний Давида. Все же он был страшно смущен и почувствовал облегчение, когда поклонники спустили его на пол. Седен обнял его со слезами на глазах и долго не в силах был ничего сказать.

Только, когда они вышли на лестницу, Седен про-

изнес слегка напыщенно, словно читая монолог новой своей пьесы:

— Вы получили сейчас наивысшую похвалу, которая может воодушевить артиста. Полагаю, этот успех не вскружил вам голову. Однако спокойствие и хладнокровие, с которыми вы приняли свое торжество, заставляет меня верить, что вы и в славе окажетесь достойнее других!

Через несколько дней в Париж приехала из Нормандии мадам Давид. Письмо сына так взволновало и обрадовало ее, что она не могла усидеть на месте и пустилась в путь.

Она была еще не стара — мадам Давид исполнилось только пятьдесят два года. Едва стряхнув с себя дорожную пыль, она отправилась на выставку. Нельзя с уверенностью сказать, что мадам Давид оценила живопись Луи, но едва ли нашелся бы в салоне зритель, с большей чуткостью воспринимавший отношение посетителей к работам Давида. Она стояла, глядя на толпу у картин сына, и глаза ее сияли: мальчик добился успеха!

Родственники и знакомые поздравляли ее. Говорили принятые в таких случаях комплименты. Но, как всем матерям на свете, ей показалось, что только она знает главное о своем Луи. И, вытирая уже мокрым платком глаза, плача и смеясь, она говорила в ответ на похвалы таланту сына:

— Да, да, все это верно... Но если бы вы знали его сердце!..

XV

Спустя несколько месяцев после торжеств в салоне Луи Давид сидел в своей новой мастерской в Лувре, ожидая гостя. Ателье, предоставленное художнику как «причисленному», было старой негодной комнатой, и он обратился к м-сье Пекулю, руководившему работами в Лувре, с просьбой о переделке помещения. С Пекулем он был едва знаком и, полагая, что беседу стоит устроить в обстановке наименее официальной, пригласил его к завтраку. Но скоро Да-

вид понял, что совершил трагическую ошибку. Он до сих пор не обзавелся хозяйством, не было ни приличной посуды, ни скатертей.

Директор академии м-сье Пьер наглым образом обманул Давида: обещав за «Велизария» двести луидоров, заплатил только пятьдесят. Денег не хватало, а те, что имелись, таяли мгновенно. А между тем слава живописца росла с необычайной быстротою. Вскоре после выставки салона к Давиду пришли несколько молодых живописцев и попросились в ученики. Только у него, говорили они, можно найти пример высокого и благородного искусства, достойного древних. И Давид, сам еще недавний школяр в живописи, вынужден был согласиться: разве можно было ронять свой едва родившийся авторитет?

В глубине души он боялся, что юноши быстро разберутся, как мало знает их учитель. К счастью, опасения оказались напрасными. Занимаясь с молодыми художниками, Давид убедился, что опыт его не так уж мал. А главное, он знал, чего хотел от искусства, и, разделяя волнение учеников, сам искал едва уловимые законы простоты и античного лаконизма форм.

Неожиданно для себя он увлекся занятиями с молодыми живописцами: Давид хорошо помнил собственные недавние сомнения, поиски, удачи, знал, что это такое — не иметь понимающего тебя наставника. Он сразу угадывал, что заботит юношей, легко замечал слабости и достоинства каждого. Ему не хотелось подчинять их себе, гораздо важнее дать им найти собственный язык. Только рисунку учил их Давид с неослабевающим усердием, в композиции он деспотичен не был. Советовал не выбирать слишком сложных сюжетов, писать всем известные сцены древней истории, почаще читать Гомера, Тита Ливия, Плутарха...

Сейчас у него работало четверо: Викар, Фабр, Жироде и совсем еще мальчик Жермен Друэ, обещавший необыкновенный талант.

Но и ученики, и известность, и благосклонная критика, и звание «причисленного» не спасали от нужды.

Просить денег у родных было неловко: ведь он известный живописец.

Озабоченный приготовлениями к завтраку, Давид старался вспомнить, откуда ему известна фамилия Пекуля. Кажется, она знакома еще по Италии. Все попытки были тщетными — память упрямо отказывалась открыть Давиду эту тайну.

Скатерти Давид не нашел и уже было решил послать за ней к дядюшке, когда вспомнил, что в мастерской лежит эскиз «Похорон Патрокла», написанный на почти белом холсте. Снять его с подрамника и разложить на столе было делом нескольких минут. Стол выглядел вполне прилично. Главная проблема решена. Кушанья из ресторана уже принесены, вино прислал Бюрон. Теперь гость мог являться.

Пекуль вошел, улыбаясь, его толстое лицо выражало радость от свидания с Давидом. Парика он не носил, седеющие волосы были завиты и напудрены по моде. Гость высказал несколько комплиментов, не лишенных тонкости, видимо он знал толк в искусстве. Садясь за стол, он поднял густую седеющую бровь и провел рукой по скатерти. Бесцеремонно отогнул ее угол. Давид готов был провалиться сквозь землю. Пришлось сделать хорошую мину при печальных обстоятельствах и притворяться, что его самого немало забавляет происшествие со скатертью.

Пекуль пришел в ужасное волнение:

— Как сумасбродны вы, господа живописцы! Вы готовы топтать ногами картины, за которые через десяток лет станут платить тысячи ливров! Не говорите мне ничего, молодой человек, я не первый раз вижу талант, неспособный принести владельцу ничего, кроме славы... Наша академия — могильщик живописи, а вы все, как кроткие агнцы, покорно приносите себя в жертву на алтарь искусства и не способны думать о чем-нибудь, кроме своих картин!

Пекуль был добрым человеком, и бедственное положение художника действительно его огорчило. Но прежде всего он оставался дельцом: знаменитый живописец, прозябающий в бедности, был золотым дном для Пекуля, имевшего двадцатисемилетнюю

дочь, до сих пор не вышедшую замуж. В мозгу его роились беспокойные и приятные мысли. Но тут события стали разворачиваться с такой легкостью и быстротой, что Пекуль уверовал в перст судьбы, пославшей бедняжке Шарлотте долгожданного жениха.

Давид, оправившись от смущения, вспомнил, наконец, откуда ему знакомо имя Пекуля. Пока его пылкий сотрапезник разглядывал «Похороны Патрокла», художник ясно восстановил в памяти одно незначительное событие, происшедшее года два назад в Риме. Тогда кто-то познакомил его с молодым французом, путешествующим по Италии. Они вместе бродили по городу, говорили об искусстве. Прощаясь, новый знакомый, проникнувшись симпатией к своему чичероне, сказал Давиду:

— Я напишу письмо отцу в Париж, возьмите его, прошу вас. Отец — влиятельный человек, он любит художников и сможет быть вам полезен.

Давид сунул в карман толстый запечатанный конверт и тотчас забыл о нем. Фамилия того француза тоже была Пекуль. Давид извинился перед гостем и вышел в соседнюю комнату; в шкатулке, где лежали старые бумаги, разыскал письмо. Так и есть. «М-сье Пекулю в собственный дом. Улица Кок в городе Париже». Забавная причуда судьбы.

— Простите мою забывчивость, м-сье. Я имел удовольствие быть представленным вашему сыну в Риме. Но с тех пор произошло столько событий, что я совершенно забыл о письме, которое он мне дал для вас, — сказал Давид передавая пакет.

Вот тут-то и решил Пекуль, что в дело вмешалась судьба. Извинившись, он распечатал письмо. Сын его всячески расхваливал Давида и в конце писал, что надеется на хороший прием, который будет оказан Давиду, что Давид понравится «нашей милой Шарлотте». Читая эти строки, Пекуль беспокоился более всего о том, чтобы не засмеяться вслух. Прощаясь после завтрака, состоявшегося по настоянию гостя на голом столе, Пекуль взял с Давида слово, что тот в ближайшие дни придет на улицу Кок, «чтобы по-

дробно договориться о всех необходимых переделках». И Давид обещал непременно быть, не подозревая, к каким последствиям приведет этот визит.

Верный своему слову, живописец и в самом деле отправился в гости к Пекулю. Он был приятно удивлен богатым и отнюдь не безвкусным отелем, где обитал его новый знакомый. Давида приняли с необыкновенным радушием. Мадам Пекуль, цветущая, еще красивая и, видимо, очень неглупая женщина, не пыталась выдать себя за аристократку, держалась просто и без претензий. Его представили Шарлотте — не очень юной и не очень хорошенькой девице, и она тоже была с Давидом чрезвычайно мила. С гостем разговаривали, как с настоящей знаменитостью. Погреб у Пекуля был отличный, кухня — самая изысканная. Давид ушел домой поздно и в превосходном настроении. Следующий визит он нанес так скоро, как позволяли приличия. За вторым визитом незамедлительно последовал третий.

Здесь с сожалением приходится признать, что история не сохранила никаких свидетельств о пылкой и внезапной любви Давида к Шарлотте Пекуль. Напротив, свадьба этих молодых людей, свершившаяся с редкой поспешностью, наталкивает на мысль печальную, но почти неоспоримую: видимо, состояние и связи м-сье Пекуля Давид успел оценить куда быстрее, чем добродетели мадемуазель Пекуль. Можно даже пойти еще дальше и предположить, что живописец Давид вообще не придал значения душевной и телесной красоте своей невесты, а руководствовался в устройстве семейной жизни чисто материальными соображениями. Но это предположение чересчур мрачно, и лучше не придавать ему серьезного значения. Тем более что, так или иначе, свадьба эта никого не огорчила, но принесла радость и жениху, и невесте, и ее родителям, и многочисленным гостям. М-сье Пекуль умел устраивать праздники, а выдать замуж не слишком юную дочь — это действительно большой праздник.

Можно добавить, что Мишель Седен, человек в высшей степени разумный, одобрил женитьбу Дави-

да, несмотря на то, что имел давнее намерение выдать за Давида собственную дочь.

Итак, 16 мая 1782 года состоялось бракосочетание девицы Маргариты Шарлотты Пекуль, двадцати семи лет, и парижского живописца, «причисленного к Королевской академии» Жака Луи Давида, тридцати четырех лет, в присутствии родителей невесты Шарля Пьера Пекуля и Марии Луизы Пекуль, урожденной Лалуэтт. А ровно через девять месяцев, 15 февраля 1783 года, жена подарила Давиду сына, который получил при крещении имя Шарль Луи Жюль, в честь деда и отца.

XVI

Французский театр давал в новом своем помещении — в отеле Конде — трагедию Пьера Корнеля «Гораций». Давид сидел в ложе вместе с женой и с удовольствием смотрел спектакль, переносивший его в столь любимый им мир римской античности. Правда, герои говорили французскими стихами, и обстановка на сцене свидетельствовала, что театр имеет очень наивное представление о древности. Но Давида увлекали не смешные аксессуары, а само действие, отличная игра актеров, весь мир суровых и гордых страстей, очищенных от будничной суеты.

В этом спектакле было настроение, близкое настроению Давида. Хотелось, чтобы все дни проходили наполненные только серьезными мыслями, большими чувствами. Но большие чувства в чрезмерной дозе утомительны. На деле приходилось постоянно думать о тысяче всяких раздражающих, а порою занимательных мелочей. Не так-то легко удержать душу на котурнах, реальная жизнь блестяща и увлекательна, и «демон честолюбия», от которого когда-то предостерегал Буше, не дремлет. И Давид не только работает и занимается с учениками, но и принимает, и отдает визиты, и посещает некоторые очень высокопоставленные салоны, где бывают люди, знаменитые на всю Францию.

За последние годы его знакомства не только рас-

ширились, но и существенным образом изменились. Это произошло без усилий самого Давида — просто верхушка парижского общества стала иной, и центр политической жизни сместился из придворных кругов в гостиные свободомыслящих и кокетничающих своим вольнодумством аристократов и крупных буржуа. Давид попал в круг людей, заметно влиявших на политику страны. Пока он ловил славу и растрачивал силы перед мольбертом, жизнь шла своим чередом. Оторвавшись, наконец, от всепоглощающей страсти к искусству, он увидел новую Францию, и хотя он знал ее очень мало, можно было понять: идут другие времена.

Люди, от которых зависели сейчас заказы, награды да и вообще все положение дел в искусстве, уже не принадлежали к прежним придворным, думавшим только о делах Версаля и королевской благосклонности, об охоте, о балах и любовницах. Все это оставалось, конечно, но люди, наиболее благоразумные и способные ощущать пульс времени, начинали понимать, что французская монархия обветшала и пережила самое себя, что век беззаботных празднеств умирает и лучше похоронить его, пока он сам не похоронил своих недальновидных приверженцев. Приходилось расставаться с утешительной мыслью о незыблемости существующих порядков и вечном могуществе Франции, о вечном терпении «этих милых поселян», в которых любила играть Мария Антуанетта, наряжаясь в пастушеские платья и устраивая интимные ужины в «сельских хижинах». На самом деле поселяне гибли от голода, целые деревни вымирали, по Парижу ползли неприятные слухи о спаленных замках феодалов. И просвещенная часть дворянства, отнюдь не от избытка либерализма, а из вполне трезвого беспокойства о будущем своих земель и прав, уже задумывалась, нельзя ли устроить жизнь более разумно, не закрывая глаза на подлинное положение вещей.

Из-за океана доносилось эхо войны за независимость Соединенных Штатов. Почитатели Руссо и энциклопедистов увидели в молодой и далекой стране

реальное воплощение своих идеалов. Когда Давид вернулся в Париж из Италии, там еще хорошо помнили американского дипломата, «электрического посла», знаменитого Франклина, недавно покинувшего Францию. Франклина Давид не застал, но в салоне герцога Орлеанского, куда его ввели новые титулованные знакомые, он слушал рассказы только что возвратившегося из Америки молодого графа Александра Ламета. Возможно, граф был слишком пылок, но в его словах возникала замечательная страна, воодушевленная благородными и честными помыслами. Самоотверженная борьба за свободу, за правительство без короля, за выборный парламент!

В салоне герцога бывали и литераторы и философы. Многие глаза горели искренним воодушевлением во время рассказа Ламета. Многим казалось: в Америке возрождалась античная героика. Там все захвачены великими и чистыми помыслами, там нет мелочной повседневности, там доблесть значила больше, чем знатность рода.

То, что происходило на сцене Французского театра в этот вечер, волновало Давида, как рассказ Ламета, как мечта о жизни мужественной и достойной древних. Трагедия подходила к концу. Вернулся в отчий дом после боя с врагами единственный оставшийся в живых сын старого Горация. Он, победитель, совершил преступление: ударом меча убил родную сестру: она оплакивала смерть своего возлюбленного — юноши из враждебного рода.

Стихи Корнеля звенели в притихшем зале. Решалась судьба героя, и старик Гораций произнес защитительную речь:

...Святые лавры! Вы, которых здесь пятнают!
Вы, чьи листы главу от грома сберегают!
Допустите ли вы, чтоб враг, на казнь влача,
Геройскую главу дал в руки палача?
О римляне, друзья, ужели вы готовы
Герою наложить позорные оковы?
Ужели будет тот безжалостно казним,
Кому свободою своей обязан Рим?!

В те годы, когда понятия долга и душевной чистоты многими осмыслялись заново, как привилегия третьего сословия, Корнель звучал удивительно современно. Действительность оскудела подвигами и самоотвержением. И зал и вместе со всем залом Давид восторженно аплодировали, когда закрылся занавес. Для него спектакль значил особенно много: в нем высокие идеи нашли четкое пластическое выражение. Сцена последнего акта стояла перед глазами живописца.

...Как всякий художник, Давид сравнивал увиденное с собственными работами. Последние месяцы он раздумывал над новой композицией на тему античной истории. В мастерской на мольберте стояла почти законченная картина: «Андромаха оплакивает смерть Гектора»; он работал над «Античным фризом» — живописным подобием римского рельефа. Его все больше тянуло к героике; трогательная скорбь «Велизария» уже казалась сентиментальной. В «Андромахе» он старался создать настоящую трагедию. Один бог знает, удалось ли это...

На улице было сыро, дул ледяной ветер. То ли дело ласковый воздух Рима. Давид плотнее запахнул длинный английский редингот, сунул руки в пушистую меховую муфту. В экипаже, прислонившись головой к обитой мягкой материей стенке, Давид продолжал размышлять. Недавно вернулся из Италии Вьен. Он пришел в восторг от «Велизария» и от успехов ученика и говорил, что «Давид — его лучшее произведение». «Андромаха» ему нравилась, профессор уверял, что есть все шансы получить за эту картину звание академика. Сейчас, однако, Давида занимало другое. Влиятельные друзья и не менее влиятельный тесть помогли ему получить заказ — почетный, интересный и выгодный. Для королевского дворца в Шуази виднейшим живописцам Франции была поручена серия картин «Добрые дела королей».

Давид не очень хотел писать полотно на сюжет из французской истории, но отказаться от такого заказа было равносильно самоубийству. Пришлось искать возможность, не слишком отходя от заданной

темы, не расставаться с любезными его сердцу римлянами. Корнель, кажется, подсказал выход: ведь там мудрый царь Тулл спас благородного героя от грозящей ему казни. Тема отвечала заказу; но в картине можно говорить о другом: о «запятнанных лаврах», о любви к отчизне, и говорить на языке классики. Быть может, Корнель оказал ему услугу. Давид решил непременно набросать завтра эскиз на тему «Горациев».

XVII

6 сентября 1783 года за картину «Печаль и горе Андромахи над телом Гектора, ее мужа» Жак Луи Давид был принят в действительные члены Королевской академии. «Андромаха» не обманула почитателей Давида, картина была в чем-то близка «Велизарию», возможно, той же скорбью, желанием показать горестную судьбу героя. Мазков почти не было видно. Гладкая поверхность холста казалась эмалевой, тела — одушевленными мраморами. Ледяной свет заливал комнату, где стояло погребальное ложе Гектора, блестел на бронзовом высоком канделябре и угасал в глубине, где траурные драпировки безмолвно напоминали о смерти. Глаза Андромахи, красные от слез, смотрели в глаза зрителю. Все здесь дышало настоящей древностью: оружие, скопированное с римских рельефов, чеканная бронза светильника, стройная резная мебель, похожая на ту, которую видел Давид в помпейских домах. Но главное, что волновало зрителей, — было ощущение необходимости и благородства подвига.

Давид снова имел успех.

Итак, он академик, о нем говорят, его любят ученики. Но Давид достаточно трезво оценивал «Андромаху». То, что делал он до сих пор, было проникновением в благородные идеалы древних, в их художественный язык. Ему удалось, правда, взволновать зрителей событиями и страстями давно ушедших поколений, найти близость героики древних к мечтам современников. И все же его римляне еще не обратились во весь голос к современникам.

Вечер во Французском театре не прошел бесследно. Давид набросал карандашом эпизод суда над молодым Горацием. Он походил на театральную сцену и в общем не понравился Давиду. Красивая пластическая группа на ступенях храма или базилики, простертое тело Камиллы, выразительный ораторский жест отца без стихов Корнеля лишались смысла. Эскиз оказался мелодраматичным и, в сущности, пустым. Но Давид уже рассказал о новом замысле директору академии м-сье Пьеру. Картина о великодушии Тулла вполне подходила к серии «Добрые дела королей». Сообщать Пьеру, что замысел оказался неудачным, не хотелось.

Давид хранил сомнения про себя, стараясь найти выход. Он перечитал Корнеля, потом своего школьного Ливия. История Горациев его по-прежнему волновала, но выбрать главный, единственно необходимый момент действия, где все раскрывалось бы в пластичном и выразительном движении, он не мог. А тут еще над душой висели переговоры с Пьером, надо было помнить, что должно прежде всего воспевать «добрые дела королей». Эта мысль раздражала и портила настроение.

В конце концов он решил положиться на свое дипломатическое искусство и не думать о Пьере, лишь бы отыскать сюжет. Минула не одна неделя, пока он окончательно решил, что напишет сцену клятвы сыновей старому Горацию. В ней можно будет показать мужество бойцов, воодушевленных любовью к родине и забывающих во имя этой любви о скорби родной сестры, показать мгновение, возвышающее и очищающее людей.

Давид сделал несколько набросков и почувствовал, что напал на золотую жилу: тема обещала многое. Он приступил к переговорам с Пьером. Директор академии был человеком упрямым и непоследовательным, к тому же более всего озабоченным своим престижем. Потребовались длительные и осторожные усилия, чтобы уговорить Пьера, а через него других причастных к королевскому заказу лиц утвердить новую тему — «Клятву Горациев», взамен принятой раньше — «Отец

защищает от ликторов Горация, приговоренного к смерти за убийство сестры».

В этих переговорах прошел почти год, заполненный усердными занятиями с учениками, которых у Луи Давида становилось все больше. Но странное дело, несмотря на официальное признание, на то, что ученики буквально осаждали его мастерскую, что зрители толпились перед его полотнами, Давид замечал ощутимый холодок со стороны академии. Трудно сказать, в чем именно это проявлялось, но его явно недолюбливало высокое академическое начальство. В нем начинали видеть опасного потрясателя основ, чуть ли не гладиатора в римском шлеме, разрубающего на части изящные академические полотна.

Вообще пребывание в академии сильно его разочаровало. Все, что он приобрел, — это право выставляться в салоне. Никакого участия в делах академии он не принимал, вся власть в ней принадлежала немногим руководителям, академики имели лишь совещательный голос и всецело зависели от начальства. Какая польза для изящных искусств в таком учреждении? Руководители академии более всего боятся потерять свое влияние и безжалостно преследуют все, что противоречит их вкусу. Давид уже испытал на себе: инакомыслящий не может рассчитывать на милости академии.

А известность Давида все росла, у него появлялись новые ученики. Ему представили мальчика лет шестнадцати, по фамилии Гро, он смотрел на Давида таким влюбленным взглядом, так почтительно и робко, что тот невольно вспомнил самого себя в мастерской Буше. Оказывается, этот юноша, увидев на выставке «Андромаху», заявил, что хочет учиться живописи только у Давида. Рисунки Гро были хороши необыкновенно и говорили о редком таланте.

Но Давид находился в нерешительности.

— Видите ли, молодой человек, у меня сейчас много работы... Возможно, мне даже придется уехать в Италию...

У мальчика вздрогнул подбородок. Между тем слова Давида не были отговоркой, он в самом деле

подумывал о новом путешествии. Но отказать гостю у него не хватило жестокости.

— Приходите ко мне через полгода, — сказал Давид. — Если до тех пор вы не перемените своего намерения, я возьму вас к себе.

Гро ответил очень серьезно:

— Я непременно приду, м-сье.

И ушел совершенно счастливый.

Италия снова притягивала Давида. К лету 1784 года работа сильно двинулась вперед, пора было браться за большой холст. Давид, однако, чувствовал себя неуверенно — не хватало римской почвы под ногами, ведь в Риме побывал только ученик Давид, а живописец, чей опыт уже был искушен несколькими полотнами, в Риме не был. Давиду хотелось как можно точнее передать облик царского Рима, создать правдивый образ эпохи, без обычных скроенных на один манер псевдоантичных одежд, в которых щеголяли герои академических картин. Он мечтал о полотне, в персонажах которого суровые и воинственные квириты могли бы узнать самих себя.

Препятствий к поездке в Рим не было. Несколько учеников выразили горячее желание сопровождать его в Италию; Жермен Друэ — юноша, которого Давид ценил и любил более других, — получил Римскую премию и тоже собирался отправиться в путешествие. Мадам Давид, только что оправившаяся от родов второго сына — Франсуа Эжена, горела желанием увидеть столицу всех искусств. А сам Давид хотел не только римских впечатлений, но и того покоя, свободы от тщеславной суеты, которые дарил ему Вечный город.

— Итак, мой любезный м-сье живописец, вы собираетесь нас покинуть, — сказал ему Пекуль, узнав от дочери о намерении Давида.

— Да, м-сье, — отвечал Давид, — ничего не поделаешь: только в Риме можно писать римлян!

— Работайте ради славы, мой друг, я работаю ради денег, — сказал с приятной улыбкой Пекуль и потрепал его по плечу. В этих словах было и уважение тестя к входящему в славу зятю и вековое

недоверие состоятельного буржуа к такому легкомысленному делу, как искусство.

Решение было принято, вещи уложены; послали на почтовую станцию, чтобы заблаговременно заказать семь мест в дилижансе. Кроме Давида с женой, ехали еще пятеро учеников художника, и среди них Викар, Дебре и Жермен Друэ.

И вот снова, как девять лет назад, дорога в Рим лежит перед Луи Давидом. Но на этот раз он везет с собою своих учеников в давно знакомый и любимый Рим, он академик и известный мастер, он искренне любит свою музу, и она, кажется, благосклонна к нему. Жизнь улыбается Давиду; он смотрит на Париж, вновь уходящий назад, Париж, где известно его имя и его картины, и он едет в Рим, где каждый камень дарит художнику драгоценные мысли и воспоминания, где ветер с Альбанских гор несет отдых и бодрость, где ждут художника молчаливые фрески Рафаэля.

И снова пыль, оседающая на его дорожный плащ, приносит Давиду чувство свободы и близкого счастья.

XVIII

В Риме Давид снял просторную мастерскую поблизости от Пьяцца дель Пополо.

Как только огромный холст был натянут на подрамник, живописец взялся за уголь и карандаш. Давид купил отличные итальянские манекены, драпировки и расположил ткани наподобие настоящих римских тог, которые он изучал, зарисовывая статуи. Композиция картины в целом была ему ясна, так же как и позы действующих лиц.

Друэ Давид доверил некоторую часть работы: он считал, что ничего, кроме пользы, не будет от такого сотрудничества. Старые мастера всегда работали вместе с учениками, и все оставались в выигрыше. Друэ рисовал с задрапированных манекенов, эти этюды переносил затем на полотно, где Давид набросал уже главные фигуры. Работа шла быстро, дни мелькали,

не оставляя в памяти ничего, кроме мазков, линий и мыслей о картине.

Изредка вместе с учениками совершал он прогулки по Риму. Это были глубоко продуманные, умело рассчитанные маршруты истого метра, настоящего гурмана. Он потчевал юных живописцев Римом с наслаждением человека, заново переживающего свои юношеские восторги, видя восхищенные глаза учеников. Он показывал им неожиданно открывающиеся из тесных кривых улиц торжественные перспективы, заставлял подолгу вглядываться в античные статуи, старался пробудить в них то же восхищение, которое испытывал сам. Быть учителем — великая отрада, накопленные знания ценишь лишь тогда, когда они обогащают других.

Рим давал обильную пищу раздумьям. Разгуливая по улицам, где он ходил десять лет назад, Давид вспоминал юного живописца, недоверчиво взирающего на античные мраморы и прячущего от товарищей терзания неудовлетворенного честолюбия.

Движение времени сейчас ощущалось с поразительной силой; совсем не склонный к романтике, Давид порой переносился в собственную молодость. Сравнения с минувшими годами льстили самолюбию, заставляли ценить достигнутое, но вселяли беспокойство: принесет ли ныне Рим такое же вдохновение, как прежде? Не утратил ли он способность волноваться перед древностью? И вообще сможет ли Луи Давид создать задуманный шедевр?..

Рисунок картины был совершенно готов. Давид принялся писать старого Горация. Он настолько тщательно продумал композицию, так ясно представлял ее себе, что закончил фигуру старика отца, не приступая к другим персонажам. Давид писал, покрывая большие плоскости холста блестящим и гладким слоем краски. Главные отношения цвета он выбирал и решал уже на палитре, а на холсте старался ничего не переписывать и не менять.

Он подолгу рылся в гравюрах с архитектурных памятников античности, зарисовывал утварь из Помпей и Геркуланума, оружие на римских мозаиках.

Ему хотелось воссоздать не тот Рим, который всем был знаком по набившим оскомину спектаклям и картинам, а Рим подлинный — жестокий, неуютный, звенящий тяжелой бронзой мечей, Рим, где смерть и убийство были в порядке вещей, где отвага в бою за отчизну была первой добродетелью человека. Это требовало абсолютной подлинности обстановки, утвари, одежды, а значит, и много времени на изучение их. Зато все в картине: тяжелая аркада тосканских колонн, каски Горациев, их копья и мечи — было скопировано с подлинных образцов.

Написать фигуру Камиллы по своему наброску Давид поручил Друэ, который уже написал руку одного из Горациев и плащ Сабины. Но на этот раз юноша не выдержал искуса: он слишком волновался, и фигура получилась похожей на каменное изваяние. Давид находился в дурном расположении духа и вспылил, как с ним изредка случалось.

— Что ты тут наделал? — кричал он расстроенному и перепуганному ученику. — Ведь это гипсовая фигура!

Он схватил шпатель и несколькими движениями срезал красочный слой, обнажив холст. Не сняв кафтана, взял палитру и начал писать, сердясь и дергая ртом. Друэ смотрел на учителя полными слез глазами. Он весь дрожал от горя и обиды. Но скоро залюбовался работой Давида. Можно ли обижаться на человека, в руках которого кисть становится волшебной и создает на полотне столь совершенные линии и формы? Движение руки — и под упругим нажимом кисти обозначилась округлость плеча Камиллы, плеча, воплотившего всю поэзию римских статуй и одновременно живого, теплого, словно вздрагивающего от сдерживаемых рыданий.

Давид перепачкался красками, но, наконец, успокоился. Он заново наметил всю фигуру, куски написал уже в полную силу. Отложив кисти, повернул к Друэ усталое лицо и улыбнулся, заметив восхищенный взгляд ученика. Они не сердились друг на друга.

Их связывала взаимная нежность, которую Давид пытался скрывать из педагогических соображений,

а Друэ и не думал прятать. Восторженное обожание ученика заставляло Давида испытывать некоторую неловкость. «Знал бы ученик, как не уверен в себе и как беспомощен порой бывает его учитель», — случалось, размышлял Давид. В Друэ он угадывал талант, едва ли не превосходящий его собственный. Юноша блистательно рисовал, работал без устали, но был хрупок и слаб, часто прихварывал. Щадить он себя не умел. Давид смотрел с беспокойством, как худеет, теряет силы его ученик, пытался останавливать Друэ, но тщетно. Разве можно погасить мучительную жажду работы?..

Картина приобретала облик, который прежде существовал лишь в воображении Давида. Отдельные фигуры, прописанные части фона, детали, драпировки соприкоснулись и зазвучали в согласном и стройном хоре. Давид с волнением, сам боясь себе верить, начинал понимать, что «Клятва Горациев» удалась. Пришло то едва уловимое мгновение в жизни художника, когда словно рвутся нити, связывающие его с его детищем, и оно начинает жить своей собственной жизнью, возвращает живописцу вложенные в холст волнения и силы. Еще не легли на полотно последние мазки, еще проглядывает не покрытый краской холст, но художник подходит к картине, как к самостоятельному, почти живому существу, боясь нарушить с таким трудом достигнутую цельность и живость, и с наивным удивлением задает себе тривиальный, но вечный для художников вопрос: «Неужели все это сделал я?»

В таком примерно приятном недоумении оказался Жак Луи Давид в один превосходный солнечный день, когда, придя в мастерскую, убедился, что картина почти готова. Он будто увидел ее со стороны новыми глазами и внутренне поздравил себя. Огромный холст был отлично освещен, и картина сияла свежими, еще не высохшими красками. На фоне сумрачных каменных аркад факелом горел алый плащ, накинутый на плечо младшего Горация. Три сына в полном боевом вооружении, в шлемах и с копьями простерли правую руку навстречу отцу в традиционном и му-

жественном жесте римского приветствия. Сам старик, подняв вверх холодно сияющие мечи, скреплял клятву сыновей своим благословением и, как военачальник, напутствовал их перед боем. В горестном оцепенении склонились в объятия друг другу сестры воинов. От холста будто шел звон тяжелого и грозного оружия. Мечи, руки отца и сыновей, соединившись в самом центре полотна, символизировали смысл и значение картины: над всем, над человеческими чувствами и жизнями, над горем женщин и старостью отца возносились клятва в верности долгу и лезвия мечей. Это было хорошо, зрело написано, рисунок был чист, по-настоящему профессионален. Это удачная работа, победа, успех. Давид испытывал большую радость. Не зря потрачены одиннадцать месяцев дьявольского труда, не зря он приехал в Рим, и вообще, черт возьми, недаром он стал живописцем!

Он взял палитру и кисти, хотелось прикоснуться к картине, ощутить свою власть над ней. С радостью почувствовал покорность кисти, убедился, что рука слушается его, что он и дальше может писать и закончит картину не хуже, чем начал. Еще остались недочеты, их нетрудно устранить. Античная героика звучала в его холсте, но было в нем большее, чем удачно возрожденная древность: в картину властно вошла современность, наполненная благородными помыслами о свободе и борьбе во имя свободы, современность, лишенная героики и тоскующая по ней. Давид не смог бы написать своих «Горациев», если бы не последние десять лет его жизни: размышления о величии древних и смысле искусства, рассказы о воцарившейся за океаном свободе, недовольство рутиной Королевской академии — все это порождало желание создать нечто непреходящее, исполненное доблести и силы.

Картину вставили в раму, и Давид, не торопясь, заканчивал ее. Не хотелось с ней расставаться. Все же настал день, когда делать было уже нечего.

Картина, огромная и пугающе чужая, сияла свежим лаком. Праздные кисти лежали на табурете,

и странно было думать, что этими грязными, истертыми кистями написано блистающее, торжественное полотно. В ателье было чисто и тихо, и это тоже казалось странным. Ученики Давида смотрели на учителя, как на полубога. Рим шумел за окнами мастерской, не догадываясь, что сегодня здесь закончена еще одна картина, которой суждено прославиться на весь мир.

XIX

В мастерской стоял тяжелый аромат роз.

Он смешивался с запахом красок и лака, и в ателье было душно, как в оранжерее.

Розы пышными охапками лежали у порога, на ступенях лестницы, стояли в кувшинах и вазах, роняя на пол шелковистые разноцветные лепестки.

Цветы принесли поклонники «Клятвы Горациев». Как только картину увидели первые зрители, слава о необыкновенном полотне французского живописца за несколько часов разнеслась по городу. С утра до вечера в двери стучались посетители. Знакомые и незнакомые, французы, итальянцы, немцы желали видеть «Горациев».

В конце концов Давид перестал закрывать двери. Мгновенно ателье превратилось в выставочный зал, люди шли непрерывным потоком, восхищались, спорили, выражали восторг на разных языках. Но все это было каплей в море по сравнению с той толпой, которая теснилась у дома в следующие дни. Узкая кривая улочка не помнила такого многолюдья. Раззолоченные кареты римской знати не могли проехать в заполненную народом улицу, и вельможи, желавшие увидеть картину Давида, должны были идти до дверей пешком. Муниципальные власти прислали отряд карабинеров, чтобы предотвратить возможные беспорядки. Щеголеватые солдаты дежурили теперь перед домом Давида, как перед дворцом владетельного принца; как во дворец, приезжали в мастерскую представители знатнейших фамилий, о которых прежде Давид читал в старых хрониках. В хоре похвал и сла-

вословий едва слышались критические голоса. Только один м-сье д'Азенкур, любитель римских древностей, ворчал, что колонны в картине не соответствуют подлинным образцам. Но эти мелочи тонули в полном и всеобщем восторге, в сравнение с которым не шел даже успех «Велизария».

...Душный запах цветов заставлял Давида испытывать легкое головокружение и мешал сосредоточиться. Или это не розы, а ощущение успеха, опьянение славой кружило голову? В ателье было пусто, только что пробило шесть часов утра, в столь ранний час даже карабинеры не появились еще под окнами. Можно побыть наедине со своими мыслями и написать несколько писем. Как ни был упоителен успех картины в Риме, предстояла встреча с гораздо менее экспансивной и более придирчивой публикой парижского салона. И главное, с академиками, готовыми на все, лишь бы не дать возвыситься сопернику. Предстояли разговоры с м-сье Пьером по поводу размеров картины — Давид сделал ее большего формата, чем предполагалось. Все это требовало энергии и дипломатических усилий, которые претили художнику, особенно сейчас, в счастливые дни признания. Давид очинил перо — оно высохло и покоробилось: сколько недель он не брал его в руки! Придвинул большой лист бумаги. Он писал маркизу Бьевру, литератору, своему хорошему приятелю, который лучше, чем кто-нибудь другой, мог оценить и радость успеха и осложнения, которые приносят с собой известность и слава.

«Следует уведомить вас, м-сье маркиз, о неожиданном успехе моей картины. Надо принять во внимание неохоту, с которой римский народ соглашается признать какое-либо достоинство у французского живописца. Но на этот раз делают это от всего сердца, и стечение народа к моей картине столь же велико, как на представление комедии «Обольститель».

Каким удовольствием было бы для вас стать тому свидетелем; по крайней мере опишу вам это. Начали прежде всех иностранные художники, а затем и итальянские, причем их преувеличенные похвалы дошли до

сведения знати. Она толпами направилась сюда, и в Риме сейчас только и говорят, что о французском живописце, о «Горациях». Сегодня утром у меня беседа с венецианским посланником. Кардиналы желают видеть это редкое животное, и все устремляются ко мне, и, так как известно, что картина скоро будет отправлена, каждый торопится ее посмотреть.

Я знаю только одного человека, который настроен против меня. Это м-сье д'Азенкур, недовольный тем, что я с ним не посоветовался, и в особенности тем, что я написал в моем архитектурном фоне арки, опирающиеся на колонны, которые, по его мнению, возводили только во времена поздней империи. Но как он ни учен, ему следовало бы быть еще ученее и знать, что в эпоху, к которой относится сюжет моей картины, в Италии задавала тон Этрурия, что римляне подражали этрускам, лишь позднее впавшим в величайшее невежество в отношении искусств...

...Итак, я удовлетворен своим успехом в Риме, превзошедшим все мои ожидания. У меня есть сонеты, которые я вам покажу. Но для полного счастья мне недостает уверенности, что картина будет хорошо выставлена в Париже (милость, которая мне еще не была оказана), причина заключается в моем возрасте, и я льщу себя надеждой, что, когда я буду писать дрянь, меня поместят лучше. Если бы вы очутились в таком же положении, м-сье маркиз, и увидели бы, что вашу комедию дурно играют, — разве вы были бы довольны? Ну, хорошая или дурная экспозиция — это одно и то же. Вы проявили дружеское расположение ко мне, сказав, чтобы я предупредил вас о месте, которое мне казалось бы самым подходящим, — так вот оно. Это то место, где был четыре года назад Леонардо да Винчи и два года назад картина дю Рамо «Клоринда». В величине моей картины, о чем вы меня спрашиваете, я превысил размеры, которые мне были предписаны при заказе для короля. Эти размеры были мне даны: 10 на 10 футов... Но, переворачивая композицию на все лады, видя, что она теряет свою энергию, я перестал делать картину для короля, я делал ее для себя...

...Прошу вас, м-сье маркиз, повидаться с м-сье д'Анживийе, и ваша дружба подскажет вам остальное.

Имею честь пребывать с полным уважением, м-сье маркиз, вашим покорнейшим слугой.

Давид».

Римское утро уже вступило в свои права; встали на свои места «телохранители» Давида — карабинеры. Давид должен был основательно заняться своим туалетом, предстояли встречи с важными особами.

Давид уже привык беседовать с сановными и прославленными господами. Недавно его посетил английский вельможа, посланник Соединенного королевства при неаполитанском дворе — лорд Гамильтон, седой, слегка прихрамывающий на правую ногу моложавый человек. Он был большим знатоком искусства и обладателем замечательной коллекции антиков и картин. Бывали у Давида и князья римской церкви — царственно важные прелаты в драгоценных кружевах и даже кардиналы.

Как только Давид проводил венецианского посла, в мастерской появился новый посетитель — аббат в шелковой рясе. После обмена церемонными приветствиями выяснилось, что вкрадчивый священник приехал из Ватикана от самого папы — Пия VI. Оказывается, слух о картине дошел до его святейшества, и папа захотел видеть «Клятву Горациев». К несчастью, этикет запрещал папе римскому посещать частных лиц. Этикет был неодолим, но и любопытство папы в той же мере оставалось неодолимым. Пий VI просил французского живописца привезти свою картину в Ватикан. Как бы лестно ни звучало это предложение, перенос огромного полотна в Ватикан грозил многими опасностями: могли появиться кракилюры *, могла осыпаться краска, могло случиться все что угодно. Давид поблагодарил гостя, но постарался ответить возможно более уклончиво; сказал, что полотно должно быть отправлено в Париж, что оно и так опаздывает к открытию салона; высказал предположение, что его работа не так уж хороша, чтобы доставить

* Трещины красочного слоя.

удовольствие наместнику бога на грешной земле; обещал изыскать способ перевезти картину в Ватикан. И как только аббат удалился, побежал к французскому послу.

Французский посол, итальянец кардинал Берни, улыбаясь, выслушал Давида и обещал вызволить его из щекотливого положения. На следующий день он поехал в Ватикан и принес папе официальные извинения: к несчастью, устав Французской академии не позволяет задерживать представление картины, и особенно написанной по заказу короля, в салон. Папа удовлетворился объяснением, «Горации» были спасены.

Есть люди, которых успех не только радует, но и утомляет, выбивает из привычной колеи. Давид не принадлежал к их числу. Сейчас он дышал полной грудью. Картина, вызывающая восторг зрителей, — это естественно и прекрасно, это и есть атмосфера настоящего творчества. Какое счастье, что тысячи зрителей поняли сокровенный замысел, мечту живописца! Ведь Давид, как и учителя его — греки и римляне, мечтал об искусстве простом, ясном и благородном, обращенном к лучшим человеческим чувствам.

Это был апофеоз всех последних лет. Дни, начисто лишенные сомнений и раздумий, наполненные всепоглощающей радостью свершения. Казалось, путь его в самом деле устлан розами, как лестница перед мастерской.

Давид засыпал и просыпался с неистребимым чувством победы и счастья. Все говорило об этом: и цветы, и хор похвал, и, главное, глаза зрителей, смотрящие на картину.

В один из дней в мастерскую приехал Помпео Баттони, еще больше состарившийся с тех пор, как видел его Давид в первый свой приезд в Рим. Он стоял посреди мастерской в окружении учеников и почитателей и вглядывался в картину мутными, слезящимися глазами. Потом неожиданно широким, театральным, истинно итальянским жестом он протянул Давиду руку и с прямотой, свойственной очень старым людям, сказал:

— Вам надо остаться здесь, синьор Давид. Что иначе станется с искусством? Только мы двое — художники. Остальных следовало бы бросить в Тибр!

XX

Осенью 1785 года в Париже прошел слух, что живописец Луи Давид убит по дороге во Францию. Кое-кто даже пересказывал ужасные подробности кровавой драмы. Любители искусства сожалели о преждевременной смерти знаменитого художника.

А в это самое время Давид мирно ехал в почтовой карете в Париж, не подозревая о своей гибели. Дело объяснялось просто. Вскоре после отъезда по дороге из Монако в Виллефранко экипаж, в котором ехал Давид, попал в страшную бурю. Давид оставил мальпост и, спасаясь от непогоды, нашел приют у кюре ближайшего городка. Усталый, продрогший, измученный тяжелой дорогой, Давид провел несколько дней в доме гостеприимного хозяина. Никто не знал, где находится Давид, след его потерялся. И в результате родилась страшная история о гибели художника, несколько дней волновавшая Париж. А он, оставив в подарок кюре две маленькие картины, спокойно продолжал путь домой.

На сердце камнем лежала мысль о Жермене Друэ. Мальчик был давно и тяжело болен и сам понимал это. В теплых краях болезнь обострилась. Уезжать во Францию врачи тоже не советовали, и Друэ остался в Риме, не зная, сможет ли он вообще вернуться домой. Во время работы над «Горациями» Давид привык видеть в Друэ свое «alter ego» * и вместе с тем почти не замечал его, как не замечал собственную кисть. Но он всегда испытывал к нему необычайную нежность, быть может, потому, что юноша как бы продолжал его, Давида, дело в искусстве, понимал учителя с полуслова и любил его пылко и бескорыстно. И вот теперь пришлось расстаться с единственной настоящей привязанностью. Увидят-

* Второе «я» *(лат.)*.

ся ли они когда-нибудь или их короткое прощание у мальпоста было последним?

В смутном расположении духа совершал Давид путешествие.

Не хотелось расставаться с периодом счастливым и безмятежным. Впереди новые интриги академиков, наверное уже с недоброжелательством ждущих полотна «сокрушителя основ» Давида. Больше не будет роз.

За все успехи в жизни приходится платить прожитыми и ушедшими безвозвратно годами. Да, Давид уже не тот розовощекий и юный живописец, который расписывал особняк мадемуазель Гимар, упивался комплиментами мадам де Полиньяк и томился по Римской премии. Изредка, когда цирюльник пудрил и причесывал ему волосы, Давид разглядывал свое лицо с профессиональным вниманием портретиста. Покатый лоб, большие глаза, серьезные, любопытные. Лицо уже немолодое, спокойное и замкнутое. Линия губ слегка искривлена — след несчастного удара рапирой на уроке фехтования. Рот, подвижной и нервный, сохранял нечто мальчишеское: морщился и сжимался в минуты гнева или волнения.

Давид ко многому привык, многое перестал замечать. Привык к деньгам и обожанию учеников, к тому, что его имя было известно в Париже как имя самого передового и смелого живописца. Привык к звонкому и лестному слову «академик» перед своим именем. Все это доставляло обыденное удовольствие, как хорошо сшитый костюм или вечер в опере. Но к искусству своему он не привык, оно его волновало и мучило, заставляло испытывать неудовлетворенность. Вот и сейчас он уже раздумывает о том, что следовало бы переписать в «Горациях». Давид не был склонен к анализу собственного творчества. Но и не занимаясь теоретизированием, можно было понять, что не в одном подражании античности секрет успеха. Высокие идеи и строгий язык древних были созвучны современности. И поэтому они нравились зрителям.

За окном кареты неторопливо проплывали пашни и пастбища Франции, которую, в сущности, совершен-

но не знал живописец Давид. Вряд ли он задумывался о том, какая жизнь течет за стенами деревенских хижин, похожих на сараи для скота, что́ заботит крестьянина, обутого в испачканные грязью сабо, с несмелым любопытством заглянувшего в окно дилижанса. Бедность и унижение, которые случалось видеть, он воспринимал с испугом и жалостью, но никогда не представлял себе в полной мере, что такое нужда. Нищета крестьян была для него страшной сказкой. Конечно, для не знающего нужды парижанина, превыше всего на свете любящего искусство, немыслимо постигнуть реальную жизнь бедняка. Но несправедливость, угнетение и рабство можно разглядеть и в Париже. Нищета и бесправие людей находили отзвук не только в статьях энциклопедистов и в книгах Руссо, не только в пылких беседах поборников справедливости, которые слышал Давид с детских лет.

Реальная нищая жизнь Франции докатывалась до столицы смутными и тревожными сообщениями о голоде в деревнях и восстаниях крестьян, неутешительными бюллетенями финансовых газет, слухами о почти прежнем расточительстве двора и беспомощности нового короля. Ни для кого не оставалось секретом, что налоги взысканы на много лет вперед, а государственный долг за короткий срок вырос больше чем на миллиард. Единственный министр, который пытался хоть как-то наладить финансы и сдержать немыслимые аппетиты двора, Жак Неккер, был уволен в отставку по настоянию придворной верхушки. Буржуазия платила огромную долю налогов и не имела почти никаких прав, в то время как именно из ее среды выходили лучшие умы эпохи. А человек с куриными мозгами, но носящий шпагу на перевязи и имеющий герб на дверце кареты, обладал бо́льшими привилегиями, чем прославленный ученый или крупный коммерсант, принадлежащий к третьему сословию.

Даже этого хватало, чтобы хоть в общем представить себе неутешительную картину французской действительности. А то, что видел Луи Давид из окна кареты, служило отчетливой и печальной иллюстрацией к тому, что он знал о делах своей страны.

И все же она была пленительна, земля его отцов и дедов, в бледном уборе приближающейся осени. Прозрачный воздух позволял видеть за несколько лье голубоватые вершины далеких холмов. На скошенных лугах поблескивали серебристо-зеленые пятна стогов. Старые соборы вздымали к облакам каменную филигрань башен, возведенных еще во времена крестоносцев. В нешироких речках отражались заросшие мхом и лишайником стены разрушенных замков. Крохотные городки неожиданно поражали глаз благородством старинной архитектуры, в изгибе арки резных ворот угадывался совершенный вкус народа, создавшего шартрские статуи.

И тем страшнее выглядели опухшие от голода люди на дорогах, вытоптанные охотившимися феодалами посевы и объявления на рыночной площади, сообщающие о смертной казни браконьера, убившего двух куропаток в лесу своего сеньора.

Он возвращался в Париж с четким ощущением близящихся перемен.

Париж встретил Давида веселым гомоном просыпающейся после летнего затишья столицы. Впервые он понял, что прошло много времени. Его мальчики заметно выросли, маленький Эжен пробовал ходить.

Первым посетителем, явившимся к Давиду, оказался Гро. Юноша, с нетерпением ожидавший его возвращения, упорно не хотел отказываться от своей мечты. Давид был тронут. С этого дня Гро стал его учеником.

Салон уже открылся. «Горации» значились в каталоге, хотя еще не были повешены. Давид с удовольствием прочел в свеженапечатанном ливре:

«М-сье Давид, академик.

№ 103. Клятва Горациев перед их отцом.

№ 104. Велизарий (это была копия, сделанная учениками).

№ 105. Портрет м-сье П. (Это был портрет Пекуля)».

Вьен нежно обнял Давида, с трогательной заботливостью он хлопотал вокруг ящика, в котором были доставлены «Горации», сам вытаскивал клещами гвоз-

ди, помогал надевать раму и присматривал за рабочими, которые вешали картину в салоне. Но вполне удачного места ей не обеспечили все старания Вьена. Холст поместили слишком высоко, и он много проиграл от этого. Предположения Давида оправдались: академическим старцам его успех был не по душе.

Вьен рассказал Давиду, что картину ожидали с большим любопытством. Слухи о поразительном успехе в Риме опередили Давида, и зрителям не терпелось увидеть прославленное полотно. В день, когда «Горации» впервые должны были предстать перед публикой, открытия салона ждала толпа. Париж хотел видеть «Горациев».

Первое впечатление Давида от собственной работы было печальным. В римской мастерской она притягивала к себе глаза зрителей, они видели ее с того же места, с которого писал ее сам художник, она царила в ателье, казалась огромной, величественной.

Здесь же Давиду представилось, что недостатки работы выступили с неприятной отчетливостью, а достоинства потерялись. Чистота линий, которой он так гордился, стала незаметной на большом расстоянии, краски, и без того достаточно сдержанные, показались тусклыми. Это была тяжелая минута.

Только увидев людей перед картиной, услышав одобрительный гул, он почувствовал себя лучше. А еще через несколько минут пришло ощущение успеха, ощущение, которое убедительнее всякой логики, всяких похвал профессоров свидетельствовало о том, что полотно его признано. Это ощущение росло с каждым мгновением. Картина обычно рождается дважды: когда художник кладет последний мазок и когда ее видит первый зритель. Для Давида «Горации» рождались сейчас в третий раз, вместе с крепнущей уверенностью в победе.

Трудно сказать, в чем Давид почувствовал признание. Не только в том, что перед его картиной было больше всего народа, не только в том, что над толпой будто повис одобрительный гул многих голосов, что именно о «Горациях» рассуждали титулованные коллекционеры.

Весь зал был словно устремлен к «Горациям».

Входящие в салон прежде всего искали их глазами, и толпа текла по выставке, все возвращаясь к картине, и бурлила около нее. От нее расходились и к ней возвращались волны споров, ее название звучало на губах у врагов и друзей то презрительной насмешкой, то символом новой веры. Для тех, кто любил и понимал искусство, «Горации» были подтверждением или опровержением собственных мыслей и убеждений.

Слишком много было в этом холсте нового и непривычного, чтобы хоть кто-нибудь из зрителей мог остаться бесстрастным. Впервые мысли и идеи времени, остававшиеся до той поры уделом политиков, философов, литераторов, обрели четкую пластическую форму, вошли в изобразительное искусство, заговорили мощным, всем понятным языком линий и красок.

Полотно Давида воплотило в живых и гордых людях, в строгих чертах античных героев понятия долга, чести и любви к отчизне, оно заставляло людей увидеть тщету и незначительность мелких житейских дел, светской суеты рядом с истинным величием духа, рядом с помыслами о свободе, отвечавшими настроению многих парижан. И поэтому не было равнодушных, были только друзья и враги. И поэтому, наверное, так негодовали некоторые академики: они справедливо видели в картине не только нарушение принятых канонов, но и опасное вольнодумство.

Пьер, встретившись с Давидом, не скрыл раздражения. Едва обменявшись с ним несколькими фразами о погоде в Италии, директор академии разразился ядовитой речью о «Горациях». Особенно возмущался он тем, что три фигуры Давид поместил на одном уровне. Но Давида уже не смущали речи старика, хотя некоторые слова неприятно его задели. Академия бессильна перед «Горациями», ибо за них зрители и сама эпоха.

Вскоре произошел еще один неприятный разговор — на этот раз с м-сье д'Анживийе. Увидев, что размеры картины превышены, он заявил Давиду:

— Мне очень жаль, м-сье, но я не вижу основания для выплаты вам вознаграждения за картину. В до-

говоре совершенно точно указаны размеры полотна в соответствии с заказом его величества. Вы позволили себе нарушить договор и тем самым аннулировали его.

Давид ответил спокойно, даже слегка насмешливо:

— Должен ли я понять м-сье графа так, что размеры картины он ценит выше ее прочих качеств? Вряд ли м-сье граф полагает, что мазня на холсте должного размера стоит дороже хорошей живописи, если даже она и написана на слишком большом полотне.

Д'Анживийе вспылил. Вскинув голову, он произнес с ледяной и презрительной вежливостью:

— Смею думать, что живописец, удостоившийся чести иметь на своей картине табличку «По заказу короля», должен был бы неукоснительно следовать указаниям, которые ему даны.

Давид поклонился.

— Мне остается только предложить вашему сиятельству отрезать по куску холста с каждой стороны картины, — сказал он.

На этой непочтительной, даже несколько дерзкой фразе разговор угас: граф почел за лучшее не ссориться с художником, у которого слишком много поклонников. Давид был удовлетворен беседой — он сумел остаться на высоте положения. Но постоянные нападки его раздражали. Академия, которая казалась некогда обетованной землей, возмущала его с каждым годом все больше и больше. Неужели он всегда должен ощущать перед собою эту твердую стену непонимания и осуждения? Придирки и недоброжелательство, наконец прямые попытки лишить его заработанных денег связывали ему руки, мешали писать, заставляли терять уверенность в себе. Мало кто нечувствителен к похвалам, но к порицанию никто не остается спокоен. И Давид, самолюбивый и недоверчивый, всегда склонный сомневаться в себе, не мог не замечать постоянного недоброжелательства и, не сознаваясь себе, мучился и страдал от него.

В спокойные минуты, когда рассудок побеждал обидные сомнения, Давид ясно видел, насколько превзошел своих собратьев в искусстве рисунка и компо-

зиции, в серьезном знании древности, о которой большинство парижских художников имело банальные и жалкие представления. Мало того: он, Давид, чувствовал себя гораздо более нужным сегодняшнему зрителю, чем почтенные академики. Его картины — иногда неожиданно для него самого — оказывались в центре невидимого, но мощного потока, бурлящего спорами о будущем и возмущением настоящим, главного потока в сложном водовороте нынешней жизни.

Незаметно, год за годом копившиеся наблюдения и мысли, порой очень далекие от современности, привели Давида к созданию картин, занимавших умы самых свободомыслящих людей. Конечно, Давид не политик, но он с детства привык встречаться с общественной несправедливостью и в особенности тогда, когда она касалась свободы разума и искусств. Разве он не познал на собственном опыте, что значит идти против Королевской академии? Размышления над тысячелетними римскими мраморами и ясной мудростью Рафаэля привели его искусство на тот же путь, на который привели его разум трезвые беседы с Седеном и весь этот рассудочный и ироничный мир образованных буржуа, откуда вышел Давид. И Давид искал и находил в своем искусстве мир чистых мыслей, доблести и высоких идей, мир, который люди еще только мечтали создать и который существовал на полотнах Давида.

Он понимал: есть и будут художники и значительнее и талантливее его. Но сейчас людям нужны его, Давида, полотна. Его картины словно несли на себе отблеск взглядов тысяч воодушевленных любовью к свободе глаз. Это давало Давиду силы сносить неприятности и, несмотря ни на что, чувствовать себя победителем.

XXI

В один из июньских дней 1789 года Давиду принесли с почты большой запечатанный сургучом пакет. В нем было письмо от Викара, ученика Давида, путешествующего по Италии, и рисунок, изображавший

надгробие. Викар не забыл просьбу своего учителя и прислал тщательно выполненное изображение могилы Жермена Друэ.

Друэ умер более года тому назад, но до сих пор Давид испытывал горечь. Известие о смерти любимого ученика глубоко потрясло его. Какая чудовищная несправедливость судьбы! Мальчик умер, так и не написав своей лучшей картины, так и не став тем, чем мог и должен был стать.

Даже собственных детей не любил он больше, чем Друэ. Их было уже четверо. В 1786 году у него родилось двое девочек-близнецов. В самые радостные минуты, когда ребячьи голоса заполняли дом, когда и мать и отец восхищались прорезающимися у дочерей зубками или тем, как забавно говорят мальчики, воспоминания о Друэ не покидали Давида.

Смерть его надолго лишила Давида душевной ясности. Мир оказался неустойчивым, в нем таились нежданные и страшные беды. Все, что представлялось неизменным, рассеивалось как дым.

Давид работал, целыми днями не покидая мастерскую, забывая обо всем на свете, и все-таки стены ателье не могли охранить его от волнения шумного Парижа. Смерть Друэ особенно обострила впечатлительность, он воспринимал события окружающей жизни глубже и серьезнее, чем когда-либо.

За политической борьбой, за новыми займами и налогами, вводившимися тщаниями быстро сменявших друг друга министров, нетрудно различить близкие катастрофы. Король был вынужден согласиться на созыв Генеральных штатов. Это вселяло надежду, что государственные дела будут решаться представителями всех трех сословий. Открытия Генеральных штатов ожидали с нетерпением, надеялись, что наконец-то наступит царство справедливости.

Но вот уже скоро полтора месяца, как начали работу Генеральные штаты, а из Версаля, где во дворце «Малых забав» заседают представители трех сословий, идут тревожные вести.

С первых же дней депутатам буржуазии дали понять, что не следует рассчитывать на какое бы то ни

было равноправие. Им не разрешили войти в зал через парадные двери, посадили на самые плохие места, заставили надеть мещанское платье, запретили носить шпагу. Точно продуманные унизительные мелочи должны были с самого начала показать, что не торговцам и сельским кюре решать государственные дела. Депутаты третьего сословия понимали, что за этим кроется желание не просто унизить их, но, самое главное, лишить возможности бороться за интересы своих избирателей. Депутаты отказались заседать отдельно от высших сословий. Ни одного предложения, которое могло ущемить права буржуазии, они не приняли.

Настоящая борьба только начиналась.

Разум и справедливость поднимались против произвола. Разгоралась та самая война, предчувствие которой вызывало восторг зрителей перед «Горациями». Давид мог быть удовлетворен, его искусство давно стало участником боя. Разве воплощать на холсте лучшие устремления эпохи не счастливый удел для живописца?

Да, время властно вторгалось в мастерскую, он хорошо ощущал его тяжелую поступь. Что бы Давид ни писал, он не мог забыть о своих зрителях. Художник, создавший «Горациев», разделил их клятву. От него ждали картин, дававших высокий пример гражданской доблести. Сам Давид хотел того же. Его полотно «Смерть Сократа», выставленное в салоне 1787 года, вызвало всеобщее одобрение. Последний год тоже не прошел даром. В мастерской стояло большое полотно: портрет одного из интереснейших людей Франции — знаменитого химика Антуана Лавуазье. Ученый позировал Давиду вместе с женой, моложавой черноглазой дамой. Мадам Лавуазье была отлично образованна, ее познания в науке и властный характер поразили Давида. Но с бо́льшим удовольствием он писал самого Лавуазье. Лицо с орлиным носом и крутыми бровями, лицо ученого смотрело с холста. Кажется, портрет удался. Художник будто видел перед собою живого Лавуазье, с которым так интересно было говорить. Холодный и точный ум, спокойные, отчетливые суждения, умение облекать сложные пробле-

мы своей науки в ясную форму общефилософских мыслей делали Лавуазье превосходным собеседником.

Давид написал его сидящим за столом с пером в руке. Жена опиралась на его плечо. Поблескивали стеклом и медью мудреные приборы. Их специально привезли из лабораторий Лавуазье. Давид хотел создать реальную обстановку рабочей комнаты химика. В общем хороший портрет. Лавуазье как будто тоже остался доволен. Но портреты — это не главное, их можно писать десятками без ощутимой пользы для искусства — так казалось Давиду. Предмет его забот и волнений составлял большой и — увы! — все еще не завершенный холст, едва помещавшийся в мастерской.

Как ни было академическое начальство раздосадовано «Горациями», пришлось считаться с успехом картины. Давида не осмелились обойти заказом. Год назад ему предложили написать новую историческую картину. Сюжетом Давид избрал Кориолана. Но через несколько месяцев, не поставив никого в известность, взялся за другую тему — начал писать картину «Ликторы приносят Бруту его казненных сыновей». Его мало беспокоило мнение сановных заказчиков — времена, когда он испытывал перед ними робость, миновали. Недавно пришлось взяться за картину для младшего брата короля. Легкомысленный и развратный граф д'Артуа пожелал иметь полотно модного живописца, изображающее «Любовные забавы Париса и Елены». Давид написал картину, холодную и бесчувственную, как мрамор. Граф, наверно, был чертовски зол: без сомнения, он рассчитывал получить картину, способную развлекать его пресыщенное воображение. Но ему пришлось принять «Париса». Не мог же в самом деле брат христианнейшего короля Франции и Наварры отвергнуть полотно за то, что оно недостаточно безнравственно!

Теперь предстоит борьба за «Брута». Рисунок едва намечен, работы много, двигается она медленно. Трудно писать вдали от Рима. Он привык все поверять натурой.

Но он не сдавался, в поисках подлинной реально-

сти штудировал гравюры, разыскал свои старые рисунки. Чтобы точно воспроизвести обстановку дома Брута, сделал чертежи мебели и отвез их на улицу Мэле знаменитому мебельщику Жакобу. М-сье Жорж Жакоб был очень доволен необычным заказом. «Я никогда не смел надеяться, что самый прославленный живописец королевства станет делать для меня эскизы, — говорил он Давиду. — К тому же мебель ваша совершенно в новом вкусе. И если кто-нибудь случайно увидит ваши стулья, он тотчас пожелает иметь такие же». И вот диковинные кресла и табуреты стоят в мастерской, которая и в самом деле теперь слегка напоминает римский атриум. А картина еще требует большой работы, и Давид всерьез опасается, что не успеет закончить ее к выставке. До открытия салона немногим более двух месяцев.

Письмо из Флоренции вернуло Давида к итальянским воспоминаниям. Он ощутил острую тоску по годам так незаметно ушедшей юности. Во что б это ни стало надо еще раз побывать за Альпами. Счастливец Викар! Через несколько дней он писал Викару письмо, где благодарил за рисунок и с грустью вспоминал об Италии.

«...Ах, Флоренция! Флоренция! Как далека ты от Парижа! ...я в этой бедной стране, как собака, которую бросили в воду и которая пытается добраться до берега, чтобы сохранить свою жизнь. И я, чтобы не потерять то немногое, что я вынес из Италии, стремлюсь только сохранить это. А ведь тот, кто старается не утратить, можно сказать, почти что начинает идти назад...

...Итак, я сообщу вам, что пишу сейчас картину на придуманный мною сюжет. Изображаю Брута, как человека и отца, у которого отняли детей: он возвращается к своему очагу, когда ему приносят для погребения двух его сыновей. Он изображен сидящим у подножия статуи Рима, и отвлекают его от скорби лишь крики жены, ужас и обморок старшей дочери. Это прекрасно в описании, что же касается картины — не смею еще ничего сказать. Кажется, я не солгу, если скажу, что многие довольны композицией, но

я сам не смею пока высказывать своего суждения... Вы доставите мне удовольствие, если сделаете набросок с головы для прически в том повороте, который я вам сейчас намечу, — Давид несколькими штрихами пера обозначил положение головы. — Мне кажется, что вы найдете это скорее всего в вакханалиях... Возьмите, где хотите, только пришлите мне прическу молодой девушки с растрепанными волосами, но прическу стильную... мне нужен только эскиз, где можно было различить общую массу волос...»

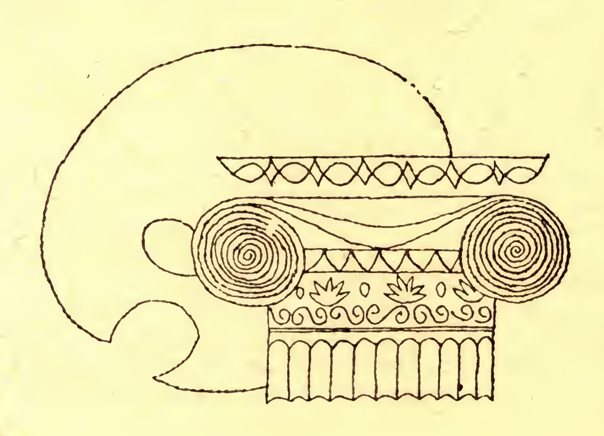
А еще через три дня, когда Давид уже складывал кисти, на пороге появился один из учеников. Губы его дрожали, щеки горели. Все удивленно замолчали, глядя на него.

— В чем дело, что с вами стряслось, мой милый? — спросил Давид. — Вас избрали в академики?

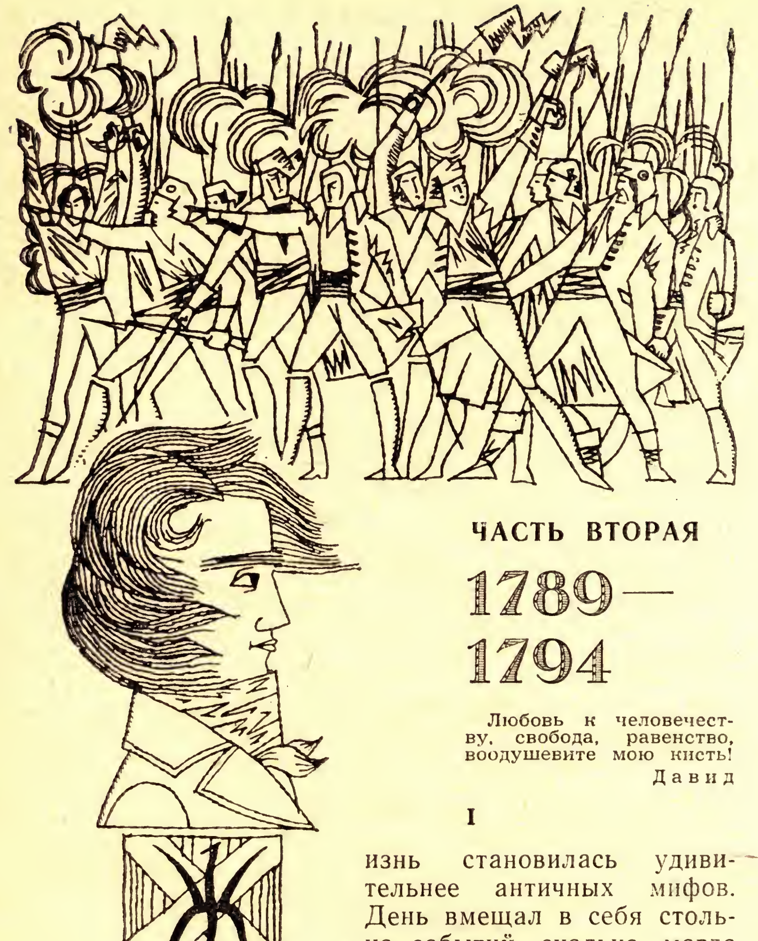
Юноша даже не улыбнулся.

— М-сье, м-сье, вы еще ничего не слышали? Депутаты третьего сословия объявили себя Национальным собранием. Это начало, м-сье!

Ученики повскакали со своих мест. Кто-то кричал «виват!». Давид молчал, глубоко задумавшись. Будь в мастерской поэт, он сказал бы, что живописец слышит звон мечей, поднятых Горациями.



8*



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1789—1794

> Любовь к человечеству, свобода, равенство, воодушевите мою кисть!
>
> Давид

I

Жизнь становилась удивительнее античных мифов. День вмещал в себя столько событий, сколько могло бы хватить на месяц.

20 июня штыки королевских гвардейцев скрестились перед депутатами третьего сословия, шедшими на заседание. Офицер резко напомнил президенту Байи, что зала дворца должна быть «приведена в порядок перед королевским заседанием, о чем м-сье президенту, несомненно, извест-

но». Истинный смысл происходящего всем был ясен.

Депутаты не потеряли присутствия духа. Они собрались в версальском зале для игры в мяч. Там представители третьего сословия дали клятву не расходиться, пока не будет создана конституция. На следующий день двору пришлось уступить. Национальному собранию предоставили церковь Сен-Луи.

На бой за свои права поднималось третье сословие. Мог ли оставаться равнодушным Давид? К этому сословию принадлежало все, что было ему дорого, что составляло его жизнь: уклад достойного трезвого быта, книги Дидро, тяжелые тома «Энциклопедии», пьесы Седена, блистательные суждения Лавуазье, наконец, его родные, семья, дети. Даже искусство Давида, основанное на строгой рациональности и гражданских добродетелях, было плотью от плоти третьего сословия.

Давид хорошо знает, что такое снисходительная вежливость графа д'Анживийе, произносящего слова «м-сье живописец» с ледяным бесстрастием барина, обращающегося к лакею. Тысячи мелочей в течение всей жизни буржуа напоминают ему — он только плебей, человек низшей расы. А те люди, у которых сословная принадлежность отнимает не только достоинство, но право на самое жизнь! Ведь за спинами шестисот депутатов Национального собрания стояли миллионы нищих, изголодавшихся людей, разоренных и униженных, лишенных крова, пищи и надежд, тех самых людей, благодаря которым Франция имела хлеб и вино и могла наряжать своих королей и феодалов в драгоценные шелка.

Впервые за всю историю Франции представители третьего сословия спорили с королем, с двором. И не только спорили, но и выигрывали спор.

23 июня Национальное собрание не повиновалось прямому приказу короля разойтись. «Мы собрались здесь по воле народа, и нас прогнать можно только силой штыков. Передайте это вашему господину», — заявил Мирабо королевскому церемониймейстеру.

Людовик не решился применить силу.

Национальное собрание продолжало работу. К нему присоединялись все новые депутаты от других сословий.

Наступил июль. Город жил, как в самом разгаре сезона. Казалось, никто не покинул столицу, тревожное ожидание выгоняло парижан на улицу. Взвод швейцарской гвардии, молчаливо прошагавший по улице, настораживал людей. Газеты покупались нарасхват. В Пале-Руаяле гудела возбужденная толпа, обсуждая слухи, опережавшие медлительную и сдержанную официальную прессу. С тех пор как герцог Орлеанский примкнул к оппозиции, он открыл ворота своего дворцового сада парижанам, желавшим собираться для обсуждения политических событий. Здесь продавали и раздавали даром афишки, брошюры, множество маленьких, недавно появившихся газет. Раньше в Париже читали только «Меркюр», «Газет де Франс» и «Журналь де Пари». Теперь почти каждый политический деятель имел свою газету. Мирабо издавал «Журналь дез эта женеро», Карра — «Оратер дез эта женеро». Выходили «Пуан дю жур» Барера, «Курьер» Горза, «Курьер де Франс и де Брабант» Демулена, десятки других изданий. Маленькие и большие, скромные и разноцветные листки пестрели по всему городу на стенах, в руках прохожих, на столиках кофеен и в книжных магазинах. Они сеяли тревоги и надежды, отважно сообщали правду и плели невероятные басни — словом, каждый день несли в столицу сотни выдуманных и истинных новостей.

Эта атмосфера не мешала Давиду работать, напротив, картина будто впитывала в себя царящее вокруг напряжение. Никогда прежде не чувствовал он такой живой связи своего искусства с сегодняшним днем. Страшная жертва, принесенная Брутом во имя долга и свободы, — не была ли она прямым предвестником грядущих событий? Бьющиеся в рыданиях женщины, безмолвие смерти — все это отступает перед служением общественному делу. Кладя мазок на холст, Давид видел на нем взгляд еще не существую-

щих зрителей, не просто любителей живописи, но людей, возбужденных близкой борьбой и готовящихся к ней. Такими, как Брут, должны быть те, кто решился служить свободе. Мужество древних, возродившись на холсте, может стать оружием современников Давида!

Давид не разбирался во всех тонкостях политической борьбы, ему было достаточно видеть основное — идет бой за справедливость. «Брут» создавался одновременно с историей. В иной день, когда картина продвигалась на шаг вперед, происходили события, потрясавшие Париж.

Двор готовил заговор против Национального собрания — это уже переставало быть тайной. За заставами парижане видели военные палатки, солдаты в цветных мундирах иностранных полков почти не говорили по-французски. Это были наемники из Швейцарии, Ирландии, Пруссии. На солдат-французов правительство боялось рассчитывать. Король вел с Национальным собранием вежливые переговоры. Но было ясно, двор сделает все, чтобы как можно скорее разогнать опасных бунтовщиков.

Утром 12 июля Давид с трудом пробирался сквозь толпу на улице Сент-Оноре, перед входом в Пале-Руаяль. Войти в сад было невозможно.

Давид обратился с вопросом к человеку, показавшемуся ему спокойнее других. Это был лавочник из соседнего квартала, знавший Давида в лицо.

— Разве м-сье ничего не знает? Говорят, Неккера опять заставили уйти в отставку! Теперь министром финансов будет какой-то барон, от него ждут новых бед. В правительстве был единственный человек с головой на плечах, а теперь!..

Значит, вот в чем дело! Двор переходит в наступление. Сегодня Неккер, а завтра возьмутся за Национальное собрание. Но, видно, не так легко справиться с Парижем — ведь даже отставка Неккера вызвала невиданное возмущение.

Да полно, разве только отставка Неккера — причина волнения? Конечно, это лишь последняя капля. Давид пробился к воротам. Толпа бурлила между ак-

куратно подстриженными деревьями сада. Несколько человек стояли на подоконниках дворца, держась за кованые решетки окон, самые ловкие взобрались на ветви густых каштанов.

Человек без шляпы, стоя на стуле около кафе де Фуа, говорил громко и возбужденно. Неожиданно вышедшее из-за туч солнце ослепительно вспыхнуло на лезвии сабли, которой размахивал оратор.

Толпа гудела, сотни шпаг, пик, мушкетов поднялись вверх. Люди кричали что-то, наконец отдельные голоса слились в один мощный хор.

— К оружию, к оружию!

Тревожный призыв был слышен далеко вокруг, все другие звуки будто погасли, стихли.

— К оружию!

Внезапно толпа хлынула на улицу. Прижавшись спиной к пилону ограды, Давид смотрел на бежавших мимо него людей. Многие горожане были вооружены. Человек без шляпы, которого видел Давид у кафе де Фуа, держал кавалерийский пистолет и саблю. К шествию присоединялись прохожие. У многих на треуголках дрожали только что сорванные зеленые листья. Что это? Кокарда восставших?

Сад опустел, деревья остались почти обнаженными, точно ураган пролетел над Пале-Руаялем. Листья унесли на своих шляпах люди.

Давид вернулся в мастерскую возбужденный и взволнованный. Работал он недолго, через час или два неясный шум отвлек его от холста. Еще немного спустя мимо Лувра, сотрясая мостовую, прошел на рысях кавалерийский полк. Солдаты в медвежьих шапках ехали с обнаженными саблями. Это был немецкий королевский полк князя Ламбека, один из полков, только что разогнавших народ на площади Людовика XV и в Тюильрийском саду. К вечеру ученики Давида, собравшиеся в мастерской, рассказывали, что солдаты рубили почти безоружных людей, виновных лишь в том, что они торжественно пронесли по Парижу бюсты Неккера и Филиппа Орлеанского.

Когда стемнело, горизонт окрасился заревом, го-

рели заставы, подожженные восставшими. Звенел далекий набат.

Ночью Давид распахнул окно.

Тревожный, едва уловимый запах гари носился в воздухе. Гудели колокола Нотр-Дам, звонили на ратуше, во всех церквах, звон колоколов мешался с эхом, казалось, звенели сами улицы, стены. Когда смолкали колокола, снизу становились слышны голоса, шорох шагов, порой короткий стук копыт. Темноту разрывало пляшущее пламя факелов, как будто пожары, догоравшие в предместье, перекинулись сюда, в самый центр Парижа.

На следующий день Маршал де Безанваль, командовавший войсками в Париже, не решился напасть на восставших. Французская гвардия перешла на сторону народа. Парижане вооружались, кому не хватало ружей, брали пику, оружейники изготовляли их в огромном количестве, работая днем и ночью. На шляпах восставших появились красно-синие кокарды — цвета парижского герба; зеленые листья не завоевали популярности — это был цвет графа д'Артуа, всем ненавистного брата короля.

Наступило 14 июля.

Вооруженный народ двинулся в Сент-Антуанское предместье, туда, где, возвышаясь над Парижем, громоздились башни и стены Бастилии.

Взять Бастилию? Не было ли это чудовищным безрассудством? Что решал захват крепости, где в тот день было всего лишь семеро заключенных? Ведь у стен крепости неминуемо погибнет множество людей.

Но это кажущееся безрассудство было продиктовано логикой истории. На что, как не на страшную эту крепость, древнее пугало Парижа, триста лет грозившее парижанам жерлами своих пушек и мрачными ямами казематов, мог обратиться гнев народа? Разве не сюда посылали «леттр де каше» — королевские приказы о заточении на верную и медленную смерть всех неугодных королю людей? Королевская крепость Бастилия не могла существовать в охваченном восстанием Париже.

Земля у подножия стен пропиталась кровью восставших, бой продолжался почти весь день. Это был первый настоящий бой с монархией и первая победа — в пять часов вечера над Бастилией поднялся белый флаг, крепость капитулировала.

В этот день Людовик XVI находился в скверном расположении духа. Охота была неудачной, драгоценное ружье короля палило даром. Не сняв охотничьих ботфортов, Людовик присел к столу и записал в дневнике одно только слово «Ничего».

Известия из Парижа, доложенные вечером королю, ничего не прибавили к этой заметке.

Мало кто понимал, что́ начиналось 14 июля.

II

Салон 1789 года открылся, когда «Брут» не был еще окончен. Он, однако, уже значился в ливре под длинным названием «Брут, первый консул, вернувшийся к себе после казни двух своих сыновей, которые, объединившись с Тарквинием, устроили заговор против свободы Республики. Ликторы проносят их тела, чтобы поместить в гробницу».

Странный это был салон, открывшийся в дни, когда никто не знал, что будет завтра. Оставалась королевская власть, король даже получил титул «восстановителя свободы», в то время как Национальное собрание декретировало «Право на существование», где черным по белому было сказано: «Основа всякого верховенства по самому существу своему покоится на народе».

Город походил на военный лагерь. По улицам Парижа разгуливали королевские гвардейцы и люди с пиками во фригийских колпаках. Листки с гравированным текстом «Декларации прав человека и гражданина», приклеенные на стенах домов, молчаливо напоминали о происшедших переменах. Король носил трехцветную кокарду, но обсуждал в глубокой тайне планы бегства в Мец и затем беспощадного подавления восстания. Мирабо убеждал депутатов настоять на переезде короля в Париж. Открытию сало-

на ничто не смогло помешать: картины покрыли лаком, и зрителей было еще больше, чем обычно, казалось, люди стали любопытнее за последние месяцы.

В самом деле, те парижане, которые прежде жили в мирке, маленьком и ограниченном повседневными заботами, внезапно ощутили себя полноправными участниками жизни: их руками создавалась история. И люди эти с новой жадностью вглядывались в жизнь. Портрет Лавуазье зрителям нравился, но все с нетерпением ждали «Брута» — о нем ходили самые разноречивые слухи.

Давид уже заканчивал картину, когда в мастерскую приехал старик Пьер. Поскольку картина продолжала числиться королевским заказом, директор академии счел своим долгом ознакомиться с ней перед выставкой. Давно и прочно невзлюбивший Давида, он справедливо угадывал в нем будущего могильщика старой академии.

Пьер смотрел на полотно с нарочитым изумлением. Повернувшись к Давиду, отвесил иронический поклон.

— Прекрасно, м-сье, продолжайте! В ваших «Горациях» вы поместили три фигуры по одной линии, чего никогда не было видано с тех пор, как существует живопись. Теперь вы помещаете главное лицо в тень! Чем дальше, тем больше! Но вы, без сомнения, правы, поскольку публика находит это восхитительным, — Пьер уже был красен от сдерживаемого негодования. — Но когда вы видели, чтобы можно было сделать композицию, не употребив пирамидальной линии?..

Д'Анживийе тоже выразил недовольство. Давид понял, что картину могут попросту не принять в салон, слишком откровенно перекликалась она с суровым и воинственным временем, слишком явно спорила с академическими канонами. Преподносить под видом королевского заказа полотно, напоминающее о жертвах во имя отечества! Король мог счесть это по меньшей мере дерзостью.

И действительно, д'Анживийе сообщил Давиду, что «Брут» не будет выставлен.

Но сейчас Давид знал: стоит показать картину, и у нее найдутся сотни защитников. Необходимо пойти на все, лишь бы «Брута» пропустили в салон. Давид нанес несколько визитов влиятельным лицам, настроенным достаточно оппозиционно в отношении двора. Он проявил всю изобретательность и все дипломатическое искусство, на которое только был способен. Однако за «Брута» вступился не один Давид. Возмутились все, кто мало-мальски интересовался искусством: прошло время, когда можно было диктовать волю двора художникам. В газете «Обсерватер» появилась язвительная заметка: «Со времен Кольбера глупость и невежество — удобный способ скрыть ничтожество, — вот те немногие качества, которыми обладают руководители искусства. Слепые покровители низкой посредственности, они беспощадно преследуют художников, проникнутых благородством своего искусства и не желающих заискивать перед ними».

Академическому начальству пришлось отступить. «Брут» был допущен на выставку.

В салоне недавно соорудили новую стеклянную крышу, ясный свет свободно проникал в зал, где красовалась только что повешенная картина академика Луи Давида. Ее появления ждали, салон был переполнен в день, когда туда доставили «Брута». Полотно приветствовали как живого героя. То, что возмущало академиков — свобода композиции, прямой намек на современность, приводило в восторг зрителей. Яркие всплески цвета разрывали темноватый холст. Жена Брута и прижавшиеся к ней дочери словно окаменели, немой крик, застывший на губах, делал их лица похожими на античные трагические маски. Брошенные на столе лоскутки разноцветной материи, игла, воткнутая в клубок ниток, говорили о прежней жизни с ее обыденным и теперь навек утраченным безмятежным покоем. Брут сидел у подножия статуи Рима, неподвижный, безмолвный. Он заставил себя не обернуться, не смотреть на тела казненных сыновей. Фигура Брута, погруженная в тень, казалась статуей отчаяния и бесконечной решимости.

Зрители, многие из которых уже принесли или го-

товы были принести любые жертвы во имя еще далекой свободы, стояли безмолвные и серьезные перед полотном Давида. Это не часто случается в жизни людей — увидеть на холсте свои помыслы и чувства, поднятые на высоту античной доблести, очищенные от скверны повседневности. В те дни люди и в самом деле искренне забывали о житейских мелочах: Брут давал зрителям пример стойкости, необходимой каждому, кто обрек себя на борьбу.

Рядом с картиной холодно поблескивали штыки ружей. Их держали ученики академии, одетые в мундиры национальных гвардейцев. Юноши несли караул на выставке: это не было маскарадом — ружья были заряжены, и полные патронташи оттягивали неумело надетые белые перевязи. Да и у многих зрителей торчали из-за поясов рукоятки пистолетов. В толпе мелькали красные колпаки, красно-синие кокарды, сабли звенели о паркет.

На картину Давида смотрела революция.

III

В один из дней конца февраля 1790 года Давид вышел из Лувра, чтобы отправиться в ратушу. Ему предстояла встреча с членами Коммуны города Парижа, как с недавних пор стало называться городское самоуправление.

Ледяная, отливающая металлом Сена покачивала черные барки, наглухо привязанные к сваям. Фонари на размокших канатах, протянутых над набережной, дребезжали под ударами ветра. У парапета разносчик в грубом потерявшем цвет плаще предлагал гражданам трехцветные ленты и кокарды, дешевые перстни с камешками, взятыми на развалинах Бастилии. Поодаль на лотке продавались эстампы: Теруань де Мерикур, сидящая на пушке, с саблей в руке, король и королева, в тачке печально возвращающиеся в Париж из Версаля.

Разбрызгивая грязь, проскакал по направлению к Тюильри взвод драгун в плащах и касках, обшитых пятнистым мехом барса. С тех пор как король вынуж-

ден был переселиться в Тюильри, около заброшенных прежде дворцов появились войска. Людовик XVI боится народа. Он успел ощутить его власть и силу, когда слышал в Версальском дворце выстрелы и звон оружия и когда его жена, всегда надменная и презрительная Антуанетта, прибежала к нему босиком, дрожа от ярости и страха. Это был памятный день 6 октября. Тогда король — уже не в первый раз — почувствовал полную беспомощность и подчинился народу, требовавшему переезда королевской семьи в Париж.

И вот теперь Людовик XVI живет в Тюильри на положении полумонарха, полузаложника. Его охраняет Национальная гвардия, но немало здесь и королевской конницы, и швейцарцев, и гвардейских офицеров. Преданные трону войска наводняют Париж.

Недавно в Национальном собрании король клялся, что согласен утвердить конституцию, однако до сих пор не исполнил обещания. Уста святого, но когти кошачьи. По иронии судьбы король выступал в собрании в тот самый день — 4 февраля, когда Давид принимал присягу в Клубе друзей конституции. Он помнил ее наизусть: «Клянусь жить свободным или умереть, оставаться верным правилам конституции, повиноваться законам, заставлять их уважать, всеми моими силами стараться усовершенствовать их, легко применяться ко всем обычаям и правилам этого общества».

С того дня Давид стал членом клуба, известного более всего под названием Якобинского. В него входили самые знаменитые депутаты Национального собрания: Байи, Мирабо, Лафайет, Сиейс. Давид еще носит звание члена Королевской академии живописи и скульптуры, но, кажется, его путь уходит все дальше от пути короля. В сафьяновом портфеле, спрятанном под теплым плащом живописца Давида, лежит документ, резко осуждающий устав академии; трехцветная кокарда приколота к его простой черной треуголке, и дерзкие мысли роятся в голове. Чиновные старцы из академического начальства давно записали Давида в число завзятых бунтовщиков, «Горации» и «Брут» испортили им немало крови.

Теперь пришло время добиваться для искусства такой же свободы, какой добиваются для нации патриоты.

Когда Давид поднялся на трибуну и развернул рукопись мемуара, губы его слегка вздрагивали и лицо было бледнее обычного. Ему впервые приходилось выступать в столь многолюдном собрании, и дело, которое привело его сюда, было очень важным делом. Члены муниципалитета встретили его почтительно, но несколько настороженно: никогда прежде художники не приходили сюда, в ратушу, — визит знаменитого Давида был неожиданностью. Впрочем, мэр Байи и некоторые другие представители Коммуны, знавшие Давида по Клубу друзей конституции, догадывались, о чем будет говорить живописец. Возможно, не чувствуй Давид за собой поддержку многочисленных и влиятельных единомышленников, он не рискнул бы вынести на суд Коммуны сложные и запутанные дела французских живописцев.

Он начал читать, все еще волнуясь, картавил и запинался:

— «Граждане, обращающиеся ныне за поддержкой к представителям Коммуны города Парижа, представляют собой часть корпорации художников, работы которых выставляются каждые два года на рассмотрение нации и которым поручено общественное и частное обучение учеников, предназначенных заниматься их уважаемой профессией.

Все обитатели этого огромного города чувствуют прелесть искусства и полезное влияние, которое оно имеет на торговлю, промышленность и богатство Франции. Таким образом, интерес художников становится интересом общим и, вероятно, весьма ценным для представителей первой из коммун.

Режим Королевской академии живописи и скульптуры позорен, унизителен, способен обескуражить таланты и противоречит почти во всех своих частях декретам о равенстве и свободе, которые Национальным собранием и справедливостью короля только что внесены во французскую конституцию...»

Постепенно Давид овладел собой. Когда он читал

о бесправии членов академии и о произволе академического начальства, голос его звучал уверенно и гневно. И настолько чутки были люди в ту пору ко всяким проявлениям деспотизма и несправедливости, что чтение мемуара вызвало сочувственный шум в зале.

— «До сих пор, — читал Давид, — они молчаливо переносили столь унизительный гнет, потому что не могли рассчитывать на какую-либо поддержку против угнетения, выгодного первому разряду, который всегда поддерживала сила министерства. Но теперь, в такое время, когда привилегии, узурпированные и противные общественному порядку, уничтожены, члены, наиболее осведомленные относительно своих прав и наименее склонные жить в унижении, составили проект избавления от этого...»

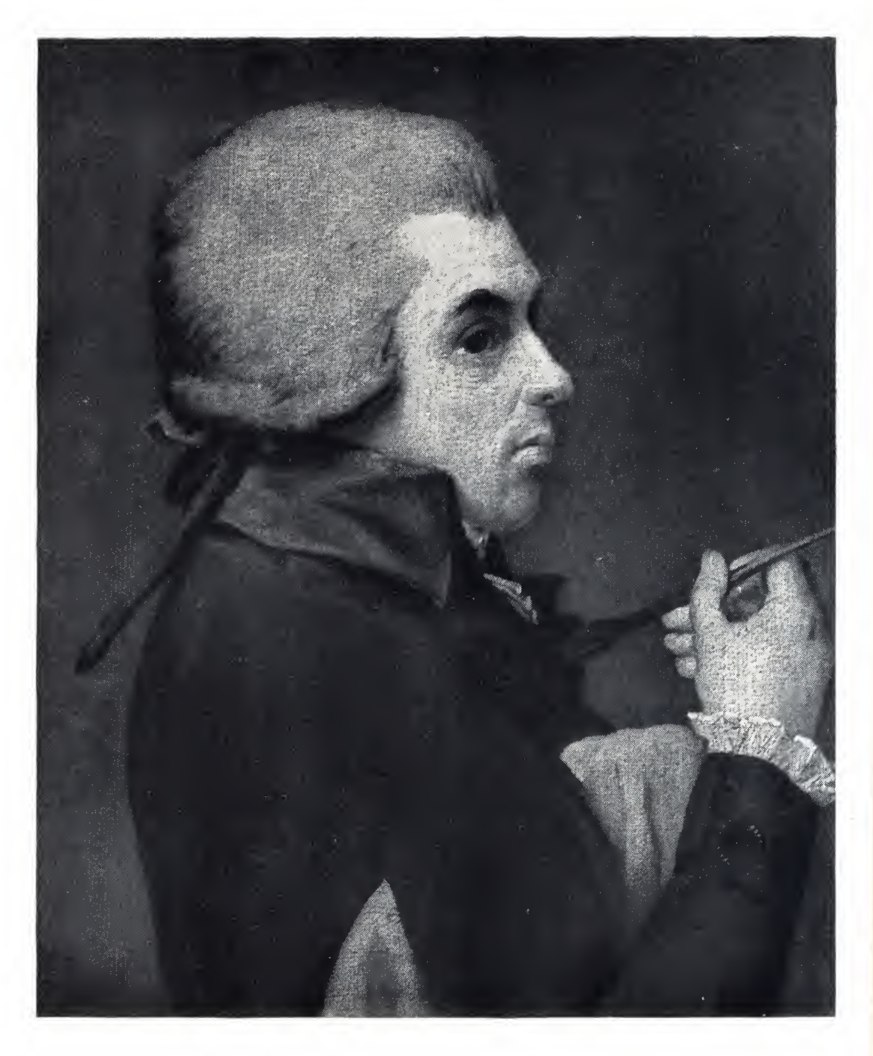
...Мемуар был бесстрастен и немногословен, но, читая протокольно краткие его строчки, Давид вспомнил с отчетливой ясностью унизительную борьбу, которую он и его товарищи вели последние месяцы. Академическое начальство сначала отнеслось терпеливо к требованиям о пересмотре устава. Но затем Давид и его единомышленники были поставлены в смешное и ложное положение просителей. Им даже запретили собираться в помещении академии, отказались передать спорные вопросы на рассмотрение выборных комиссаров и вообще дали понять, что если что-нибудь будет изменено, то только по снисходительности господ действительных членов академии. Давид успел нажить себе новых врагов из числа влиятельных живописцев и даже со старым своим учителем Вьеном оказался в разных лагерях.

— «Находясь в положении весьма тяжелом для честных людей, — продолжал Давид чтение мемуара, — нижеподписавшиеся члены Академии живописи и скульптуры, с доверием обращаясь к Коммуне, сообщают ей о необходимости созвать конференцию, на которой должны быть обсуждены их справедливые требования, и о том, что они крайне нуждаются в предоставлении им места для собраний.

Они желают объединить всех художников, которые, отличаясь своим талантом и силой своих чувств,



Велизарий, просящий подаяние. Масло. 1781.



Автопортрет. Масло. 1780-е годы.



Эскиз к «Клятве Горациев». Рисунок.



Клятва Горациев. Деталь.

Клятва Горациев. Деталь.

Клятва Горациев. Масло. 1784.



Ликторы приносят Бруту тела его казненных сыновей. Масло. 1789.



Ликторы приносят Бруту тела его казненных сыновей. Деталь.



Автопортрет. Масло. 1790.



Клятва в зале для игры в мяч. Рисунок. 1791.



Ле Пеллетье де Сен-Фаржо. Рисунок. Около 1793.

Убитый Ле Пеллетье. Рисунок. 1793.

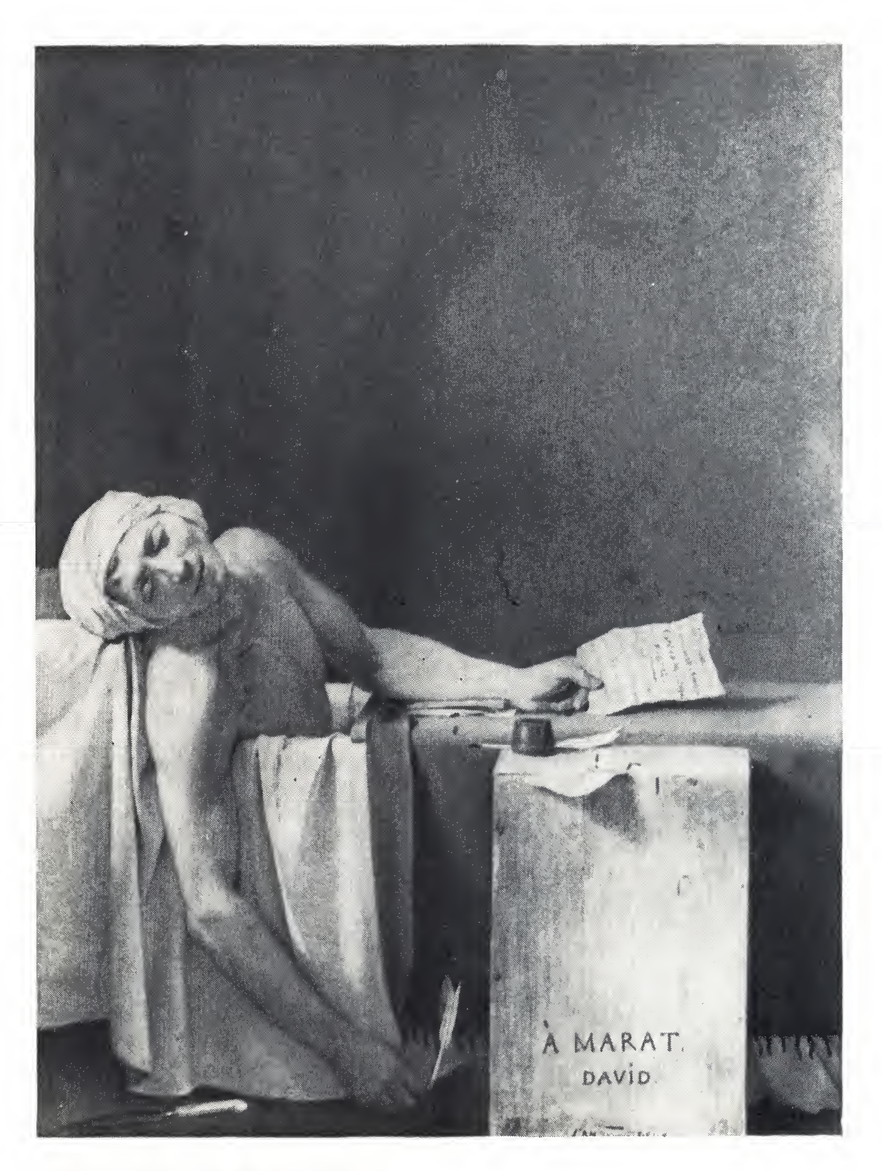
Убитый Ле Пеллетье. Гравюра Тардье по картине Давида. 1793.



Дантон. Рисунок. Начало 1790-х годов.



Убитый Марат. Рисунок. 1793.



Смерть Марата. Масло. 1793.



Смерть Марата. Деталь



Portrait de marie Antoinette reine de france Conduite au Supplice; dessiné à la plume par David Spectateur du Convoi, et placé sur la fenêtre avec la Citoyenne jullien épouse du représentant jullien, de qui je tiens cette pièce.

Мария Антуанетта на пути к эшафоту. Рисунок. 1793.

без колебания откажутся от жадного и смешного желания властвовать над своими собратьями...

...Протестующие академики надеются, что даже те члены, которые наиболее тесно связаны со старым режимом, подчинятся законам, имеющим основание в конституции нашего государства. Дух равенства, который будет господствовать в государстве, обратится на пользу художников и общественного обучения, которое им будет поручено в порядке соревнования. Это распространит на всех мудрую и драгоценную свободу, предоставляемую талантам в государствах, даже наиболее деспотических, потому что всегда понимали, что от свободы неотделимы успехи свободных художников!»

На этом чтение мемуара закончилось.

Председатель сказал несколько вежливых и сочувственных слов. Разумеется, Давид не ждал от Коммуны немедленного решения дела. Гораздо важнее было впервые заговорить о правах художников с трибуны муниципалитета. Споры внутри академии становились теперь политическими спорами, а это обещало художникам скорую и серьезную помощь.

Ненависть к академии давно и прочно владела душой Давида. Было в этой ненависти и естественное раздражение художника косностью и рутиной, и тревога за судьбы молодежи, и не раз больно задетое самолюбие. Но больше всего возмущало Давида полное и безнадежное бесправие рядовых академиков по отношению к руководителям академии. Седые живописцы, имевшие учеников и заслуженную славу, не смели высказаться на собрании без разрешения начальства. Любого из них обрывали как мальчишку, стоило лишь произнести что-нибудь неугодное сановным старцам. Сколько пришлось Давиду потратить слов, убеждая академию устроить посмертную выставку Друэ, и все напрасно, хотя мальчик был талантливее всех этих старых пачкунов, вместе взятых. Разумеется, теперь, когда Давид стал членом либерально мыслящего клуба, его репутация среди верноподданных академиков окончательно потеряна. Но стоило ли жалеть об этом человеку, давно уже по-

нявшему, что с официальным искусством ему не по пути. Недаром недовольные уставом академики выбрали его своим председателем. Давида это не тяготило, как не тяготили известность и множество учеников. Ведь именно сейчас искусство может обрести независимость, стать из королевского лакея слугой нации.

Давид мыслил словами и понятиями, которыми мыслили его современники. Он не был высокопарен: действительность в ту пору оставалась выше слов, как бы слова ни были высоки.

IV

В трапезной старого якобинского монастыря, где шло заседание Общества друзей конституции, было накурено и душно. Воздух, проникавший сквозь полуоткрытые высокие окна, почти не приносил свежести и только колебал пламя свечей, скупо освещавших неприветливый, холодный зал.

Недавно исполнилась первая годовщина того дня, когда было провозглашено Национальное собрание, и члены клуба обсуждали, чем следует ее отметить. На трибуну поднялся человек с сухим и красивым лицом, депутат Дюбуа де Крансе. Он говорил о дне клятвы в зале для игры в мяч и предлагал превратить это помещение в памятник великого события.

— Место, где прозвучала клятва великой нации, которая захотела стать свободной, должно быть навеки посвящено молча́нию. К нему, в тысячу раз более замечательному в своей простоте, чем те пирамиды, обширные руины которых свидетельствуют о древности деспотизма, путешественники придут восхищаться его развалинами, отдохнуть на его могиле, и здесь получат они урок, величайший из всех когда-либо данных историческим памятником.

Крансе отодвинул шандал, стоявший перед ним. Глаза его искали кого-то в полутемном зале.

— Да, м-сье, — он, видимо, отыскал, кого хотел, — да, м-сье, пусть самая энергичная кисть, пусть самый умелый резец передаст нашим потомкам, что

сделала для них Франция после десяти веков угнетения. Мы скажем им: для того чтобы оживить нашу мысль на полотне, мы избрали автора «Брута» и «Горациев», этого французского патриота, чей гений приблизил революцию!

С этими словами Крансе, почтительно наклонив голову, протянул руку в сторону сидевшего в глубине зала живописца Луи Давида.

Давид поднялся в ответ на аплодисменты и приветственные возгласы. Никогда прежде он не получал заказа от нации, и неизвестно, мог ли этим похвалиться хоть один живописец на свете. Мгновение, круто повернувшее историю страны, потомки станут воспринимать его, Давида, глазами — ведь именно его кисть сохранит этот момент.

Стремительный поток, давно несший Давида, будто закрутил его и поднял. Жизнь становилась подобна той, о которой мечтал он в своих полотнах, в нее врывалось дыхание больших и суровых событий, событий, которые он прежде предвосхищал, а ныне должен был воплотить на холсте. Если раньше Давид чувствовал, что нужен зрителям, то сейчас в нем крепло сознание, что он нужен революции, всем тем великим и героическим делам, которые ей еще предстоит совершить.

Крансе между тем продолжал свою речь. Он говорил о том, что с картины будет заказана гравюра, что каждый француз сможет ее приобрести.

Потом выступили еще несколько депутатов — мысль о создании картины всех увлекла, и людям хотелось, чтобы, работая, Давид помнил просьбы и пожелания каждого из них.

Заседание кончилось поздно, свечи почти догорели и начали чадить; на улице была ночь.

У выходной двери Давида обогнал Мирабо, он прошел быстрыми тяжелыми шагами, обдав его ароматом тончайших духов. Ливрейный лакей набросил плащ на могучие плечи Мирабо, лакированная карета заколебалась на мягких рессорах, когда Мирабо поставил ногу на ступеньку. Властное его лицо мельк-

нуло в тусклом свете фонаря, лошади, взяв с места галопом, увезли в темноту нарядный экипаж.

Каждый раз, глядя на Мирабо, Давид испытывал нечто вроде смятения: неужели этот замечательный человек и вдохновенный политик, еще недавно говоривший в Национальном собрании, что надо опасаться любых подачек деспотизма, в самом деле подкуплен двором? А с другой стороны, и его прошлое авантюриста и его нынешняя слишком широкая жизнь давали основания для подозрений. Давиду хотелось видеть деятелей революции в ореоле античных героев, но это не всегда получалось. Неприятные слухи ползут по Парижу. Мало того, что прямо говорят и пишут об измене Мирабо, но даже Лафайета называют предателем и прислужником короля. Многих видных политиков обвиняют в чрезмерной и неприличной для патриотов роскоши. Надо сознаться, они и в самом деле не придерживаются спартанской простоты и больше напоминают королевских министров, нежели вождей третьего сословия. Многое Давиду казалось странным, куда более сложным, чем мужественный порыв его «Горациев».

Но о полученном сегодня заказе он думал с радостью. Он напишет клятву. В тот священный момент все действительно были героями, всех одушевляла революция, никто не думал об измене. Того, что уже сделано, не сбросишь со счета. Давид миновал арку монастырских ворот и узким переулком вышел к улице Сент-Оноре. Под ногами хлюпала жидкая грязь. Редкие фонари, раскачивавшиеся на кронштейнах, едва виднелись в туманной мгле. Он рисовал в воображении первые эскизы будущей картины. Непременно надо съездить в Версаль, сделать натурный набросок в знаменитом зале. Резкий свет ручного ревербера* ударил в глаза, он услышал звон оружия, патрульный солдат спросил бумаги. Давид отыскал свою карточку. Полицейский в мягкой фригийской шапочке с вышитой кокардой из ликторского пучка и трехцветных флагов медленно прочел:

---

* Фонарь с рефлектором.

— «Гражданская карточка гражданина Давида, внесенного в список парижского округа Лувр... проживает в Лувре... возраст сорок два года...»

— Дорогу гражданину! — сказал он, наконец, и махнул рукой товарищам.

Слово «гражданин», еще не ставшее привычным, всякий раз поражало слух Давида. Словно сойдя со страниц Тита Ливия, оно воскрешало суровое братство римлян.

Как многолик Париж! Сейчас мрачный и настороженный, он был недавно городом радости и сбывшихся надежд: 14 июля — в первую годовщину взятия Бастилии — на Марсовом поле устроили праздник Федерации, первый революционный праздник. Почти полмиллиона людей изо всех департаментов Франции собрались на торжество. На огромном, подобном древнему святилищу «алтаре отечества» мессу служил молодой, но уже известный в Париже епископ Отенский, князь Талейран Перигор. Триста священнослужителей в сине-бело-красных шарфах стояли у алтаря. Народ, двор и даже король произнесли клятву верности нации. Шел сильный дождь, на него не обращали внимания, девушки в размокших шелковых трехцветных туфельках плясали карманьолу. Палили пушки, возвещая миру, что уже целый год во Франции торжествует свобода. Никогда еще не казалась французская нация столь счастливой и столь единой; даже королеве досталось несколько приветственных возгласов от доверчивого и растроганного празднеством народа. И он, Давид, которому давно уж пора было избавиться от иллюзий, уверовал 14 июля в воцарившееся в королевстве согласие, в добрую волю монархов. 14 июля были довольны все: и епископ Отенский м-сье Талейран Перигор — в этот вечер он дважды сорвал банк и выиграл огромные деньги, даже шляпа его была набита ассигнациями, когда он возвращался домой, и королевская чета — она получила надежду, что на долгий срок удалось усыпить это чудовище — народ, — грозящее французскому трону; был доволен и маркиз Лафайет — он был героем праздника, его на руках несли к алтарю мира,

но более всего остался доволен народ, еще не понявший, что, сколько бы клятв ни приносили короли, они все равно останутся королями.

Все же Давид не зря вспоминал этот праздник добром: тогда впервые на Марсовом поле встретились люди с разных концов страны; французы увидели, как их много, сами удивились своей силе и возникающей дружбе...

А сейчас не редкость услышать на улице выстрелы. Много недовольных, много голодных. Как разглядеть истинный смысл происходящего? Хорошо, что можно обратиться к событию, уже ставшему историей: Давид был рад, что будет писать «Клятву». Это не легенда — сама действительность, но свободная от путаницы и сомнений сегодняшнего дня.

Через несколько дней по размокшей осенней дороге Давид отправился в Версаль. Городок был непривычно безлюдным, странно выглядели затихшие громады дворца, запертые решетки облетевшего безмолвного сада. За несколько су сторож отомкнул дверь и провел Давида в безмолвный зал. Высокие, под потолком расположенные окна впускали бледный свет уходящего дня. По бокам — галерея для зрителей. Грязноватый пол. Ничто не напоминало о недавних событиях. Вот где-то здесь, посреди зала, может быть, на том месте, где остались следы запачканных грязью ботфортов Давида, Байи читал текст клятвы. Тогда в эти окна, сейчас запыленные и плотно запертые, ворвался ветер весенней грозы. Здесь стояли Мирабо, Барнав, Дюбуа и этот аррасский адвокат с лицом аскета и пронзительным взглядом светлых глаз — Робеспьер. Давид сделал быстрый набросок и вышел.

В следующие дни он взялся за портреты героев будущей картины. Адвокат Барер, остроумный и проницательный гасконец, издатель «Пуан дю жур», подробно рассказывал Давиду все обстоятельства памятного дня 20 июля. Барер и сам позировал художнику. Узкое лицо с высоко поднятыми у висков бровями и энергичным ртом опытного оратора возникало на бумаге, пока живой Барер снова и снова описывал

перипетии клятвы и набрасывал словесные портреты участников.

Точными фразами, словно заранее написанными в тиши кабинета, Барер рисовал тот душный и дождливый день, когда депутаты стояли под зонтиками у дверей дворца «Малых забав» и совещались, что делать дальше. Человек в черном костюме, темноглазый и сухопарый, предложил отправиться в зал для игры в мяч. Это был известный медик, профессор Парижского университета доктор Жозеф Гильотен. В зале этом — тут Давид живо представил себе неуютное и пустое помещение — не хватало стульев, и депутаты совещались стоя. Сгущалась жара, тяжело было дышать. Удалось разыскать скамью, на нее взобрался депутат Мунье. Он говорил, что нельзя расходиться — необходимо сохранить силу собрания и добиться своего. И тогда, стоя все на той же шаткой скамье, в зале, чьи стены никогда не слышали ничего, кроме стука кожаных мечей и возгласов беззаботных игроков, президент Байи прочитал слова присяги: «Вы клянетесь не расходиться и собираться в любом месте, где позволят обстоятельства, пока не будет создана конституция королевства и пока она не будет утверждена на прочных основаниях».

И депутаты, подняв правую руку: «Точь-в-точь как Горации на вашей картине, метр», — прибавил в этом месте рассказа Барер, ответили: «Клянусь!» И в этот самый момент резкий и неожиданный порыв ветра захлопал рамами окон, надул, как боевые знамена, занавески, и гром незаметно подошедшей грозы долгим эхом прокатился по залу.

— Это была божественная минута; мы словно чувствовали, что в зале присутствует сама Клио, — говорил Барер, и в голосе его зазвучали гортанные нотки — в минуты волнения в его речи чувствовался гасконец. — И она, отбросив старый исписанный свиток, взяла новый пергамент, чтобы записать еще невиданное событие: первое изъявление воли свободной нации. За дверями зала на улице бушевал народ, мы готовы были поверить, что клятве рукоплещет вся Франция!..

Перед Новым годом Давид получил из Якобинского клуба официальный документ о заказе картины и условиях подписки на гравюру с нее. «Жак Давид, — говорилось в первой статье декрета, — приглашается немедленно начать работу над картиной, которую общество доверяет его таланту и патриотизму...»

Давид с головой ушел в работу; отказался от всех заказов, даже от предложения написать для польского короля Станислава серию портретов знаменитых французских писателей. «Клятва» одна владела его помыслами. В эту зиму, когда раскаты революции стихли и будто затаились, он рад был вспомнить и вновь пережить события, так много обещавшие. Картина могла стать примером для будущих поколений. Серыми зимними буднями, когда живописцы так не любят работать, Давид рисовал, стирал и снова рисовал. Он помнил людей, с доверием смотревших на него в Якобинском клубе.

То, что собирался делать Давид, могло бы показаться безумием: он намеревался написать полотно в десять с половиной метров длиною и поместить на нем около тысячи действующих лиц — депутатов и зрителей.

Композицию Давид выбрал предельно простую. Если он искал простоты в исторических полотнах, то в реальном событии тем более не место ничему лишнему, никакой мишуре. Здесь картину не спасут эффектные складки, блеск мечей, археологическая точность деталей. Несколько сот человек — свидетели клятвы; все они должны поверить картине. И каждый зритель должен увидеть не просто сходство с действительностью, но высокий смысл события, воодушевление нации.

Он сделал портреты почти всех главных персонажей картины. Был в их числе и портрет Байи — быстрый этюд головы. Мэр не мог позировать долго. Вглядываясь в отечное лицо с высоким лысеющим лбом, слушая неторопливые, размеренные фразы гостя, Давид едва представлял себе Байи стоящим на скамье в центре бушующего зала. Недавно

мэр города Парижа почтительно встречал короля у ворот столицы... Неужели это он — президент мятежного Национального собрания? Да и многие ли сохранили ореол героизма?

Люди уйдут, изменятся, их забудут наконец, но дня клятвы не должен забыть никто. Правда, среди персонажей картины были люди, которыми Давид искренне продолжал восхищаться, без этого он просто не смог бы работать: чтобы писать, он должен верить, любить, восторгаться — так уж устроена его душа. Давид действительно верил в то, что происходит, в то, что скоро настанет царство справедливости, как верили его друзья и современники, своими руками добивавшиеся этого. С горделивой радостью вспоминал он слова Дюбуа де Крансе о том, что его творчество «приблизило революцию». Значит, искусство может стать частью революции; значит, и «Клятву» надо написать так, чтобы она заслужила такую же похвалу.

V

2 апреля умер Мирабо. В Париже восприняли его смерть как великое несчастье. Одна маркиза, имевшая неосторожность дать бал в этот вечер, чуть не поплатилась жизнью за неуместное веселье: народ разогнал гостей. Закрылись театры. Мирабо торжественно, как национального героя, похоронили в церкви Святой Женевьевы, недавно достроенной и обращенной в Пантеон. На фронтоне была выбита надпись: «Великим людям — благодарное отечество».

Между тем слухи о предательстве Мирабо не утихали. Передавали, что перед смертью он сказал: «Я уношу с собой траур по монархии, обломки которой станут добычей бунтовщиков». Рассказывали, будто в гроб тайно положена графская корона. Да что говорить: политика Мирабо служила скорее королю, чем нации. Но мало кто думал об этом, а народ и вовсе ничего не подозревал. Только несколько журналистов осмеливались писать о предательстве Мирабо: «Народ, возблагодари богов! Под косой

Парки пал твой опаснейший враг...» — говорилось в газете «Друг народа».

Тревожно, тревожно было в Париже, смутные слухи будоражили город. Рассказывали, что близ бельгийской границы собираются верные короне войска маркиза Булье. 17 апреля народ остановил королевский поезд, направлявшийся, как уверяли придворные, в Сен-Клу, чтобы встретить там пасхальные праздники. Опасались, что Людовик снова хочет спрятаться от парижан и предать их. Его заставили вернуться в Тюильри.

Казалось бы, все ясно: от короля нечего ждать, кроме ненависти к революции. Давно можно было видеть: Людовик XVI так же, как его дед, заботится только об интересах трона. Но еще слишком могущественно звучало слово «король», слишком гипнотизировали людей золотые лилии, слишком трудно было вообразить нацию без короля. К тому же Людовик XVI, оставаясь на троне, мог помочь в их борьбе против куда более опасного, чем монарх, врага — против народа.

И королю еще рукоплескали, ему еще хотели верить, его еще порывались любить: а все зло — оно, конечно, исходит от недобросовестных советников и придворных. Людовик всячески поддерживал это выгодное убеждение и среди народа и среди деятелей Национального собрания. Как будто бы без всяких особых намерений двор опубликовал циркуляр министерства иностранных дел, отправленный французским послам за границы страны; там были такие слова:

«То, что называют революцией, является не чем иным, как отменой ряда злоупотреблений, накопившихся веками благодаря невежеству народа и власти министров, которая никогда не была властью короля...»

И поэтому разразившиеся в июне события были громом среди ясного неба.

Поздней ночью 20 июня от парижской заставы Сен-Мартен отъехала тяжелая многоместная берлина в сопровождении трех курьеров. Паспорта у пас-

сажиров на заставе не спросили; впрочем, паспорт на имя русской княгини фон Корф, имевшийся у пассажирки, вряд ли вызвал бы подозрение — иностранная знать в те дни часто покидала столицу. Никому на заставе не могло, конечно, прийти в голову, что княгиня фон Корф — не кто иная, как мадам Турцель, гувернантка августейших детей, ее тучный камердинер — Людовик XVI, а красивая компаньонка — Мария Антуанетта.

И только в деревне Сент-Мену, за добрых семьдесят лье от Парижа, почтмейстер Жан Батист Друэ узнал в окне берлины известное по сотням портретов лицо. Сомнений быть не могло: Друэ прежде служил в драгунах в Париже и видел Людовика лично. Друэ поскакал в Варенн. Мэр поднял Национальную гвардию. На мосту у городских ворот карета была остановлена. Отряд королевской кавалерии, стоявший в Варенне, не осмелился поднять оружие против Национальной гвардии и собравшегося народа. На рассвете в дом, где находилась под стражей семья Людовика, вошел молодой офицер. Он объявил, что имеет приказ Национального собрания об аресте короля и королевы, где бы они ни были найдены. Это был Ромеф, адъютант Лафайета, всю ночь скакавший из Парижа, один из многочисленных курьеров, посланных собранием на поиски беглого монарха.

С раннего утра 25 июня на парижских домах и заборах были расклеены объявления: «Каждый, кто будет приветствовать короля, будет бит палками. Каждый, кто оскорбит его, будет повешен».

Прочитав эту бумажку, Давид усмехнулся; потом задумался: в ней был смысл. Когда по переполненным улицам двигалась королевская карета, окруженная лесом штыков Национальной гвардии, никто из стоявших на улице людей не выкрикнул ни одного проклятия, ни одного приветствия. Как только слышался шум или кто-нибудь начинал говорить слишком громко, грозные голоса раздавались в толпе: «Закон! Закон!» Ни один человек не снял шляпу. Вдоль улиц стояли солдаты, опустив штыки, как в погребальной процессии. Тяжело и глухо ступали

по мостовой сапоги гвардейцев, скрипели колеса берлины, пыль висела в раскаленном воздухе; и странно было видеть необозримую толпу под ярким солнцем и не слышать ничего, кроме неясного ропота тысячи голосов. Все это было чудовищным для большинства парижан: и предательство короля и то, что всесильного некогда монарха везут под конвоем в грязном старомодном экипаже.

Давид смотрел на мелькнувший в окне профиль с чувством, похожим на брезгливость. Этот человек в карете, переодетый лакеем, — какая жалкая пародия на государственный заговор! Но человек, пытавшийся сейчас казаться сонным и равнодушным, готовился стать во главе войск, собирающихся на французских границах; готовился раз и навсегда покончить с французской конституцией, с законами и установлениями, мешающими трону, и заодно с помощью верных ему штыков отправить в тюрьмы всех, кто принимал участие в революции. Во Франции тюрем хватит и без Бастилии. Экипаж короля давно уже скрылся из глаз, а шествие войск еще продолжалось, словно все национальные гвардейцы Франции провожали короля в Тюильри.

В Тюильри!

Еще вчера на улицах разбивали вдребезги бюсты короля и проклинали его и Марию Антуанетту, а привезли его во дворец...

Три дня назад, сразу после известия о бегстве короля, состоялось заседание Якобинского клуба, говорил Робеспьер. Маленький бледный адвокат все больше покорял Давида. Какой цельный характер, какая убежденность в своей правоте! Его речи всегда захватывали слушателей страстным воодушевлением, скрытым за сухой логикой слов. И на этот раз Робеспьер завладел вниманием зала, хотя поначалу далеко не все были согласны с ним.

Национальное собрание, говорил Робеспьер, совершило предательство, желая скрыть от народа истинный смысл отъезда монархов. (Была распространена версия, что королевская чета похищена.) Разве

не настоящее предательство даже после бегства короля отдать власть в стране королевским министрам.

Давид с волнением смотрел на сухого человека в оливковом фраке и аккуратном жабо. На что он идет?! Завтра все собрание станет его врагом!

Когда Робеспьер произнес в заключение, что он готов принести свою жизнь в жертву истине, Давид встал вместе со всеми якобинцами. И, подняв руку, как герои его картин, он принес клятву защищать жизнь и дело Робеспьера.

«Как был прав Робеспьер тогда!» — подумал Давид, глядя на процессию короля. Национальное собрание, кажется, защищает Людовика от народа охотнее, чем народ — от произвола монарха».

Чем запутаннее становилась действительность, тем охотнее возвращался Давид к «Клятве в зале для игры в мяч». Что бы ни происходило теперь, день 20 июня 1789 года был великим днем. Давид заканчивал рисунок, торопясь к открытию салона, а все остальное время отдавал приготовлениям к торжественной процессии, которую ему поручено было оформить, для церемонии перенесения в Пантеон праха великого вольнодумца Вольтера.

Вольтер умер двенадцать лет назад, и поскольку похоронить его в Париже церковь не разрешила, его погребли в аббатстве Сельер в Шампани. И вот недавно было декретировано перенесение праха, которое должно стать национальным праздником, символом освобождения разума.

Давид задумал создать процессию в античном духе, где царствовала бы ясная гармония и строгий вкус; с увлечением рисовал эскизы костюмов, траурной колесницы. Такая процессия — первая и единственная пока возможность показать народу величие древности, соединенное с современными идеями свободы и равенства. Идея, оставшаяся в книге, принадлежит немногим, обретая зрительный образ, она становится всеобщим достоянием.

11 июля, когда происходила церемония, Давид волновался, как мальчишка. Впервые его искусство появлялось перед такой огромной аудиторией; ему

предстоит завоевать сердца зрителей, многие из которых никогда не видели картин, и не читали книг, и даже не подозревали, что когда-то жили на свете древние римляне.

Но, увидев людей, ожидающих процессию, несмотря на проливной дождь, и уловив радостный гул в толпе, он стал спокойнее. Античность, всегда питавшая кисть Давида, и на этот раз помогла ему создать зрелище величественное, хотя и не чрезмерно пышное. Парижане, привыкшие созерцать нарядные выезды королей, золоченые кареты, яркие плюмажи, надменные позы придворных, увидели нечто совсем новое. Во главе процессии шли люди в простых, падавших свободными складками одеждах, с венками на головах. Это были знаменитые писатели, актеры, музыканты. Они несли штандарты, флаги, а за ними на высоких носилках плыла над толпой скульптура Вольтера. Дряхлый философ слегка усмехался, словно иронизируя над помпезностью собственных похорон. На площади у Пантеона раздался короткий металлический лязг: конные гвардейцы, выстроенные шпалерами, обнажили сабли и вскинули их к правому плечу, салютуя приближающейся колеснице. Двенадцать белых коней влекли ее за собою. На колеснице стоял саркофаг, украшенный изваянием: слава венчает лаврами бездыханное тело Вольтера. Дым курящихся жертвенников, укрепленных на колеснице, стлался легким облаком по следам процессии. Дети в античных туниках бросали на дорогу живые цветы. За повозкой шли девушки с лирами и кифарами в руках, юноши — в костюмах римских воинов, и среди них чуть ли не все ученики Давида, разумеется тоже в античных тогах.

Толпа рукоплескала, размахивала треуголками, поднятыми на трости, зонты и шпаги. Это было похоже на оперный спектакль, это было красиво. Но зрители знали — в саркофаге останки мудрейшего из французов, почести воздавались не вельможе, а сыну безвестного судейского чиновника, прославленному не родом, а умом, не шпагой, а книгами. Наверное, далеко не все из тех, кто собрался у Пан-

теона, хорошо понимали, кто такой Вольтер, многие просто не умели читать, но зрелище было достаточно красноречивым: нация склоняла голову перед прахом мыслителя.

Церемония длилась несколько часов. Давид покинул площадь Пантеона вместе с последними зрителями.

Итак, он оказался создателем невиданного прежде искусства — искусства народных празднеств, искусства, которое — вот уже действительно прав был Винкельман! — поистине рождено свободой.

Но уже через несколько дней пришлось забыть об иллюзиях, порожденных этим торжеством. 17 июля необозримая толпа народа собралась на Марсовом поле, чтобы подписать петицию о свержении королевской власти. Учредительное собрание было обеспокоено: по его мнению, революция зашла слишком далеко. На Марсово поле послали войска. Люди возмутились: зачем здесь штыки?! Потребовали отвести солдат. Начался шум, перебранка. Одинокий выстрел раздался над толпой. Был отдан приказ стрелять... Те, кого раньше почитали героями революции, — Лафайет и Байи — руководили убийством. Накануне они в числе других членов, несогласных с петицией, порвали с Якобинским клубом.

К ночи в городе настала мрачная тишина, жители попрятались по домам. Заседание Якобинского клуба близилось к концу, когда у входа послышался шум. Собрание прервалось. Вместе с другими Давид вышел на улицу. Целый отряд Национальной гвардии остановился у ворот — это были солдаты, участвовавшие в сегодняшней бойне. «Вот он, притон убийц и смутьянов!» — кричали гвардейцы. Кто-то из офицеров предложил подвезти пушки. «Надо бы расстрелять этот сброд!» Вот во что превратилась Национальная гвардия Лафайета... «Не обращайте внимания на этих мясников, — произнес голос над ухом Давида, — они такие же революционеры, как сам маркиз Лафайет». Робеспьер пожал руку Давида и скрылся в темноте под аркой ворот.

Солдаты ограничились угрозами, на Якобинский клуб они не решились напасть.

Давид был в полной растерянности, все смешалось, перепуталось. Кто прав, кто виноват? Где справедливость, которую он почитал первым условием революции? Или нельзя искать ее в поступках тех, кто хочет сохранить во Франции короля?

VI

Салон 1791 года открылся на две недели позже традиционного срока. Но не это возбуждало любопытство зрителей — впервые за всю историю парижских салонов в нем были показаны работы не только академиков, но и художников, к академии непричастных. Это было огромной победой Давида и его друзей. Давид гордился ею едва ли не меньше, чем успехом на выставке.

Борьба с академией, начатая более полугода назад, тянулась с переменным успехом. Академия сопротивлялась стойко и изобретательно. Но пример Давида взволновал художников, у него появилось много сторонников, особенно среди тех, кто не мог попасть в число академиков или «причисленных». А совсем недавно несколько десятков живописцев и скульпторов, нечленов академии, решили обратиться с петицией в Национальное собрание. В ней художники просили права выставлять свои картины наравне с академиками. Не дожидаясь ответа Национального собрания, Давид послал письмо, своего рода дипломатический ультиматум, в журнал «Кроник де Пари». Он знал: авторитет его уже достаточно велик и еще более велико желание Национального собрания не оказаться в позиции консерваторов в нынешние тревожные времена; письмо в журнал было игрой наверняка.

«Я только что узнал, — писал Давид, — что многочисленное общество художников, не имеющих привилегий, обратилось в Национальное собрание, чтобы получить от него позволение выставить свои

работы в салоне Лувра вместе с работами привилегированных художников и что собрание направило их просьбу в Комитет конституции. Так как я не сомневаюсь, что Национальное собрание отнесется благосклонно к их петиции, уже решенной одной из статей конституции, уничтожившей все корпорации и все их привилегии, и так как я хочу в то же самое время удовлетворить желание всех членов Национального собрания, которые хотели бы видеть прежние мои работы, я считаю себя обязанным заявить, что приму участие в выставке лишь в том случае, если она не принесет ущерба праву художников соревноваться на общей генеральной выставке во дворце, который декретом собрания уже признан национальным...»

«Кроник де Пари» опубликовала письмо 16 августа, а уже 21-го Национальное собрание декретировало равное для всех художников право участвовать в салонах: «Всем французским и иностранным художникам, состоят ли они членами Академии живописи или нет, одинаково разрешается выставлять свои нроизведения в отведенной для этой цели части Лувра».

Одним из комиссаров этой невиданной выставки был назначен Давид. Двумя другими — художник Венсан и Катрмер де Кенси. Проходя по квадратному салону, шумному и суетливому, как всегда в день открытия, вдыхая дорогой каждому живописцу острый запах свежих красок, Давид в полную меру ощущал сладость победы. Сто девяносто человек из двухсот пятидесяти, выставивших свои мраморы и холсты, не были академиками. Сто девяносто скульпторов и живописцев обрели сегодня гражданскую жизнь, а их картины и скульптуры — зрителя. Вот настоящая победа революции, и немалая доля в этой победе принадлежит Давиду. Да и на выставке он, кажется, занимает главное место. Большой рисунок «Клятва в зале для игры в мяч» сразу собрал толпу. О том, что картина заказана Давиду, знали все, кто мало-мальски интересовался искусством. А те, кто им не интересовался, все равно шли

взглянуть на рисунок, запечатлевший всем памятное событие.

Сегодня событие заново открывалось людям в строгих линиях давидовского рисунка. Зритель, глядя на него, оказывался как бы у входа в зал, вся сцена отчетливо открывалась ему. В центре на высокой скамье стоял Байи, только что кончивший чтение присяги; вокруг него лес взметенных рук. Давид сознательно показал событие если не спокойным, то, во всяком случае, стройным, ясно читаемым для зрителя. Конечно, горячее одушевление, царившее в зале для игры в мяч, значило многое, но главное заключалось не в пылкости чувств, а в осознанном целеустремленном порыве. Чтобы передать такой порыв, композиция должна быть строга и соразмерна, движения персонажей — продуманны, выразительны, без чрезмерной патетики. В «Горациях», в «Бруте» сквозь живые чувства персонажей проглядывал холодноватый мрамор античности. Там была история, хоть и близкая современной действительности; в «Клятве» — действительность, ставшая историей. Давид не пренебрег силою непосредственного переживания. За чеканной сдержанностью жестов угадывались пылкие чувства: античные идеалы воскресли в современных событиях.

Среди изображенных на рисунке людей были и юные депутаты, охваченные бурной радостью, и погруженные в глубокое раздумье опытные политики. Кто-то обнимал друзей, кто-то тщетно пытался совладать с волнением. Многих можно было узнать. Зрители называли Мирабо, Байи, Дюбуа де Крансе, Барнава, священника Жерара, Робеспьера. Однако в ливре были знаменательные слова, помещенные по настоянию Давида: «Автор не преследовал цели передать личное сходство членов собрания». В самом деле, событие значило несравненно больше, чем его участники, многие из которых так далеки теперь от революции. Взять хотя бы этого красавца Барнава. Весь Париж говорит, что с тех пор как Барнав в качестве комиссара собрания сопровождал беглых монархов в Париж и провел несколько часов в общест-

ве королевы, он стал почти что роялистом и заметно изменил своим убеждениям. Надо думать, они не были чрезмерно глубокими. А Мирабо? Да и сам Байи? Но клятва оставалась клятвой.

В том же помещении, что и «Клятву в зале для игры в мяч», Давид выставил «Брута» и «Горациев». Эти картины сейчас воспринимались иначе, чем прежде; чрезмерно увлекающиеся зрители видели в них прямой призыв к революции. Давид мог гордиться своим прошлым. «Клятва в зале для игры в мяч» вся в будущем, есть только рисунок. А что такое написать картину в десять метров длиной, Давид знал лучше других.

В ливре было упомянуто, что подписаться на гравюру с «Клятвы в зале для игры в мяч» можно «у м-сье Жердре, торговца на улице Бурдонне». С первых дней открытия салона подписчики появились в изобилии. Вообще салон благодаря присутствию в нем непривилегированных художников имел добрую славу. В напечатанной вскоре брошюре, подписанной анонимным «патриотичным и вольнолюбивым гражданином» и называвшейся «Беспристрастное объяснение и критика всех картин, выставленных в Лувре в сентябре 1791 года», говорилось, что на выставке «впервые развернулось перед нашими глазами величественное зрелище, равного которому мы не видели раньше; в этом смелом соединении всевозможных произведений гений почерпнет новые силы и нация найдет новые богатства...».

Таких отзывов было немало. Но самое главное, Давид приобрел много приверженцев среди молодых художников, даже среди тех, кто не разделял его взглядов на искусство.

Итак, начало положено. Открылся первый свободный салон. Готов рисунок «Клятвы»; и скоро во всех департаментах Франции появятся гравюры, воспроизводящие новую работу Луи Давида. Искусство становится общим достоянием, порукой тому празднество в день переноса праха Вольтера в Пантеон. Свобода в стремительном своем полете коснулась, наконец, и искусств. Но времена тревожны и суровы,

рисунок Давида гораздо ближе к идеалам 89-го года, чем сама действительность. И трудно верить, что кровь людей на Марсовом поле пролилась с ведома и согласия человека, изображенного в центре «Клятвы в зале для игры в мяч».

VII

Утром 10 августа 1792 года король Людовик XVI обмакнул перо в чернильницу, поданную ему стенографом Законодательного собрания, и торопливо написал на клочке бумаги:

«Король приказывает швейцарцам немедленно сложить оружие и отступить в свои казармы.

Людовик».

Совсем рядом тяжело ухали пушки, стекла звенели в окнах Тюильрийского манежа. Трещали ружья. За стенами манежа слышался ропот толпы. Король с тоской и страхом прислушивался к звукам близкого боя. Все происходило помимо него, он ничего не властен был изменить, даже приказ о прекращении сопротивления, который он отправил швейцарцам, вряд ли сможет быть выполнен раньше, чем народ ворвется в Тюильри. И вот он, король могущественнейшей державы, сидит здесь, в ложе стенографов Законодательного собрания, и ждет решения своей участи, которая уже не зависит ни от него и даже ни от депутатов, а от этих ремесленников и лавочников, попирающих сейчас своими сапожищами паркеты Тюильри.

Сегодня утром, когда король появился в собрании, надеясь найти здесь защиту и поддержку, его встретили почтительно, но на лицах многих депутатов он прочел замешательство и нерешительность. Что могли сделать эти люди, в большинстве своем тоже перепуганные происходящим и понимавшие собственную беспомощность? Из ложи стенографов король слышал, как депутации парижских секций требовали его низложения. Это был конец. Людовик догадывался — царствование его продлится едва ли

более нескольких часов. События последних лет представлялись ему цепью трагических ошибок и недоразумений, которых, наверное, можно было избежать. И не случись этих ошибок, нашелся бы какой-нибудь компромисс и все бы наладилось.

Но компромисс не мог найтись. Король во все времена стремился сохранить всю полноту власти, сохранить «старый порядок». Народ, напротив, сознательно или бессознательно хотел освободиться от королевской власти. Не ошибки Людовика решали судьбу монархии, а неумолимые законы истории. Наступала развязка. Все, что сделал король, желая поддержать рушащийся трон, грозило гибелью завоеваниям революции. К границам Франции двигались войска Австрии и Пруссии. Это вторжение было организовано с ведома и согласия Людовика, надеявшегося с помощью иностранных солдат восстановить монархию. Манифест прусского главнокомандующего герцога Фердинанда Брауншвейгского, в котором французам предписывалось под страхом смерти и уничтожения целых городов повиноваться только королевским приказам и, попросту говоря, отказаться от всех побед революции, этот манифест был написан самим Людовиком и отредактирован находившимся за границей Карлом д'Артуа.

Да, начиная с бесславного бегства в Варенн, а может быть, и значительно раньше, король совершал одно преступление против нации за другим, и не было силы, способной спасти пережившую себя монархию. Когда по всей Франции было провозглашено: «Отечество в опасности», все понимали: опасность исходит не только от неприятельских войск, но и от собственного монарха.

И вот теперь Париж поднялся против короля, против самой королевской власти...

Выстрелы, кажется, уже затихают. В залу собрания вошли несколько человек, одежда их изорвана, лица покрыты пороховой копотью. В руках они держали тяжелые пистолеты и сабли. Один из них был в грязном мундире национального гвардейца. Счастливые улыбки на измученных лицах только что вы-

шедших из боя людей лучше всяких слов сказали королю, что дворец взят.

Через некоторое время в зале появилась целая процессия, во главе ее несли знамя с надписью: «Отечество, свобода, равенство!» Коммуна города Парижа явилась в собрание требовать низложения короля. В этот день Людовик XVI и Мария Антуанетта покинули зал заседаний в сопровождении стражи. Хотя решение о низложении Людовика было сформулировано очень неопределенно и вопрос о свержении монархии вообще не был поднят, все понимали: короля во Франции больше нет.

Вскоре король был помещен в Тампль, древнюю тюрьму, где много веков назад томились мятежные рыцари-тамплиеры и которой суждено было стать последним обиталищем Людовика XVI.

VIII

21 сентября, на другой день после счастливого для Франции сражения при Вальми, в зале Тюильрийского манежа собрался только что избранный Национальный конвент. Ему надлежало встать во главе страны, нищей, разоренной, окруженной неприятельскими войсками и раздираемой внутренней смутой. Накануне, на первом заседании, проходившем в Тюильри, были избраны председатель и бюро. Сегодня начиналась практическая работа Конвента.

У стен манежа и в зале на галереях теснился народ, на скамьях же членов Конвента оставалось немало свободных мест: депутаты из провинции еще не успели прибыть в Париж.

Заседание шло бурно, беспорядочно. Могло показаться, что вопрос о королевской власти перестал быть главным вопросом. Только перед концом заседания Колло д'Эрбуа заговорил об этом:

— Существует еще одна потребность, которую вы не можете отложить до завтра, которую вы не можете даже отложить до сегодняшнего вечера, которую вы не можете отсрочить ни на одно мгновение, не изменив желания нации: это уничтожение королев-

ской власти, — сказал он, и зал ответил ему аплодисментами и криками одобрения.

Некоторые стали возражать. Конвент заколебался. Епископ Грегуар — якобинец, пылкий революционер, несмотря на свою митру, поднялся на трибуну.

— Короли в нравственной области — то же самое, что чудовище в физической, — заговорил он. — Дворцы — мастерские преступления, очаги коррупции. История королей — смертельная опухоль наций.

В конце концов споры стихли, на рассмотрение депутатов был представлен такой документ:

«Национальный конвент единодушно декретирует отмену королевской власти во Франции».

И хотя всем было ясно, что неизбежное должно свершиться, хотя исход недолгих прений был заранее предрешен, депутаты Конвента испытывали неподдельное волнение в минуты голосования. Никто не осмелился поднять голос «против». И вместе со всеми голосовал за отмену королевской власти депутат города Парижа от секции Лувр, гражданин Давид, член академии, которая по привычке все еще именовалась Королевской. Вместе со всеми Давид поднялся с места, когда Петион, председатель Конвента, объявил об единогласном вотировании декрета. Давид что-то кричал, сам не разбирая слов: его голос заглушался криками соседей. Шапки летели в воздух: простые суконные и обшитые галунами, черные треуголки священников и роскошные шляпы, украшенные перьями, но все — с непременной трехцветной кокардой.

Кричали, как в театре, «Браво!». «Да здравствует свобода и равенство!» — в этих возгласах в конце концов потонули остальные крики. Все депутаты, старые и молодые, церемонные маркизы и пылкие адвокаты, ремесленники и торговцы, все, кого депутатские мандаты собрали в зале манежа, стояли с поднятыми руками, — в который раз вспомнил Давид своих «Горациев».

Давид стоял бледный, серьезный, крепко сжав рот. Он забыл поднять свою треуголку. Глаза бессознательно с профессиональным вниманием разгляды-

вали зал. Сколько раз бывал он под этими сводами! Здесь заседали и Национальное, и Учредительное, и Законодательное собрания. Давид приходил сюда как наблюдатель и гость. Теперь он полноправный член Конвента, представитель народа.

Заседание кончилось.

Депутаты спускались с трибун, стояли, разговаривая и споря в проходах, секретари складывали бумаги и перья. Давид вглядывался в лица депутатов, стараясь прочесть в них ответ собственным чувствам. Сухое лицо Максимилиана Робеспьера бесстрастно, только скулы чуть порозовели, он превосходно, как древний римлянин, владеет собой.

С жгучим, тревожным любопытством смотрит Давид на человека, который еще недавно был для него легендой. Это доктор Марат, Жан Поль Марат, ославленный врагами как опаснейший бунтовщик. Это он нападал на Национальное собрание, писал памфлеты на Мирабо и генерала Лафайета; это он, скрываясь от полиции, издавал газету «Друг народа»; это он, затравленный сыщиками, должен был проводить ночи в конюшнях или под открытым небом, голодать, терпеть нечеловеческую нужду. И это он, почти не зная Давида, предлагал его кандидатуру в члены Конвента. Чем привлек этого неистового революционера живописец?

Давид испытывал к Марату признательность, смешанную с боязнью. Чего только не рассказывали о Марате, каких только пороков не приписывали ему!

Странное лицо — замученное, с высохшими, словно от постоянной жажды, губами. И исступленные глаза с красными воспаленными веками. Бедный его кафтан, кажется, скоро рассыплется от старости, спутанные волосы перевязаны ветхим фуляром. А рядом — какой контраст! — выхоленное, надменное лицо над жабо из драгоценных кружев, живописные локоны пышных волос: вольнодумный герцог Орлеанский. Неделю назад он принял новую фамилию — Эгалите, взамен не вполне удобного теперь титула принца крови. Этот герцог, на лице которого следы

всех известных миру пороков, видимо, не расстался еще с надеждами на лучшее будущее, ведь королевский трон пустует. Правда, сегодня и ему пришлось голосовать за отмену королевской власти, но мир изменчив... Пока он счастлив, что прошел в Конвент, хотя и собрал на выборах самое малое количество голосов.

Да и что говорить, странное собрание — от самых яростных революционеров до замаскированных роялистов. Все же сегодняшнее воодушевление не было неискренним. Мало кто не чувствовал отважного желания сделать все, чтобы первое в мире свободное государство победило врагов, голод и нищету. Правда, будущее не всем рисовалось одинаково: одни мечтали об идиллическом умиротворении, другие — о суровой Римской республике, третьи просто надеялись захватить почетные места в новом правительстве. Но всех почти объединяло чувство ответственности перед историей: на депутатов смотрел весь мир, смотрел и со злобой, и с восхищением, и со страхом, и с надеждой.

Когда Давид вышел из здания манежа, сентябрьский день близился к концу. Едва ли более двух часов оставалось до начала вечернего заседания. Улица Сент-Оноре была заполнена людьми, экипажи еле могли двигаться среди толпы. Здесь тоже кричали: «Да здравствует равенство!» и «Да здравствует свобода!», но можно было услышать возгласы, которых не было в этот день в Конвенте. «Да здравствует республика! Республику, пусть Конвент провозгласит республику!» — скандировала толпа.

В мастерской Давид вытянулся в кресле, в одном из тех жакобовских кресел, которые старый мебельщик изготовил для работы над «Брутом». Боже милосердный, как давно это было! Сколько великих перемен произошло в мире за минувшие с тех пор годы! Сколько нужно трезвой логики и преданности делу нации, чтобы разобраться в головоломных делах современной политики. Чутким зрением живописца, привыкшего искать сущность явлений за внешним их обличием, Давид старался разглядеть в запутан-

ном клубке страстей, интриг, горячих споров, долгих дискуссий истинный смысл событий. Якобинский клуб, представлявшийся ему вначале обществом самых горячих революционеров, оказался таким же противоречивым, как все в Париже. Был же якобинцем бежавший недавно из Франции Лафайет...

...С первого же дня работы Конвента Давид перестал распоряжаться собой. Каждое утро он отправлялся в Конвент к девяти часам, возвращался в четыре или пять. Вечерние заседания тоже не были редкостью, порой они кончались глубокой ночью. Вечера, свободные от заседаний, Давид проводил в Клубе общества якобинцев, друзей свободы и равенства. как стал теперь называться Клуб друзей конституции. Он был счастлив, если мог провести за мольбертом полчаса в день. Огромный холст стоит в часовне, приспособленной под мастерскую, он приготовлен для «Клятвы». В ателье Давида такое полотно не поместилось бы. Но на холсте лишь несколько фигур, нарисованных углем. Время, время...

Учеников он почти не видел, дома почти не бывал. С женой и тестем он старался встречаться возможно реже, их отношения за последнее время стали напряженными. М-сье Пекуль не мог примириться с мыслью, что зять, до сих пор так блестяще оправдывавший возложенные на него надежды, примкнул к бунтовщикам, посягнувшим на священную особу короля. Чудовищное и греховное вольнодумство! Пекуль был совершенно доволен существующим порядком вещей. Можно было, конечно, пощипать перья знати, но низвергать французский трон, на службе которого Пекуль нажил все свое богатство, это непростительно. Мадам Давид разделяла чувства отца, ей гораздо больше улыбалось быть женой академика, прославленного живописца, чем женой депутата Конвента, который, как говорят, собирается судить Людовика XVI, словно королей можно судить, как воров.

Слушать семейные поучения, состоявшие из роялистских трюизмов и просьб «подумать о детях», было невыносимо, особенно сейчас, когда все происходящее вокруг было таким значительным и серьезным.

25 сентября было декретировано установление республики; текущий год стал называться Первым годом Французской республики. Сразу же после открытия Конвента в нем началась борьба еще более жестокая, чем в Национальном или Законодательном собрании. Борьба эта не была новой, но теперь она стала и его борьбой. Он должен был определить в ней свое место, понять, с кем он и против кого.

Давид знал очень многих депутатов, некоторых из них он писал, когда готовился к работе над «Клятвой в зале для игры в мяч». Немало из тех, кого прежде почитали чуть ли не вождями революции, сейчас принадлежат к весьма умеренной части Конвента. Адвокат Барер, тот самый, который так красноречиво описывал Давиду день клятвы, теперь ближе всего к той части Конвента, которую непочтительно, но вполне заслуженно именуют Болотом: она не имеет ни своего мнения, ни четкой программы и склоняется то на сторону левых, то на сторону правых.

А большинство Конвента, те, кого еще со времен Законодательного собрания именуют жирондистами, способны ли они на все ради свободы и счастья нации? Среди них немало натур поистине выдающихся, ораторов, способных привести в восхищение самых искушенных и придирчивых слушателей; имена многих жирондистов известны любому школьнику. Кто не знает Мерсье, Луве? Кому не знакомо имя Жерома Петиона, первого председателя Конвента, мэра Парижа «короля Петиона», как полушутя называют его в столице? Но даже Давиду, еще не понявшему до конца, как далеки от революции жирондисты, было ясно: тысячу раз прав Робеспьер, изо дня в день ведущий с ними бой. Они философы и недурные политики на словах, но для них революция давно кончилась и даже затянулась; пленение короля в их глазах — ненужная жестокость. Коммуна Парижа — опасное сборище бунтовщиков.

Давиду такие рассуждения были непонятны и чужды. Разве настоящая свобода ищет компромиссы, останавливается на полпути? Брут пожертвовал для нее сыновьями, разве нынешнее время не нуждается

в такой же суровости? Чтобы завоевать свободу, надо сокрушить тиранов. Это требует решительных, порой жестоких поступков, а не долгих дебатов и интриг, в которых жирондисты — великие мастера.

День за днем они травят Робеспьера, Марата. Им предъявляют обвинения, их ошибки называют преступлениями, их твердость — варварской жестокостью, их непримиримость — фанатизмом. Когда 10 октября решался вопрос об исключении жирондистов из Якобинского клуба, Давид без колебания поддержал предложение.

Его увлекала настоящая борьба, а не разговоры о ней. На заседаниях Конвента Давид сидел на верхних скамьях рядом с Робеспьером, Камиллом Демуленом, Сен-Жюстом, Ле Пеллетье. «Монтаньяры» * — называли их в Конвенте. Это были самые непримиримые, самые яростные революционеры. Знакомые Давида по известным салонам, почитатели его таланта, прежние заказчики смотрели на него, как на отступника, многие едва кланялись ему. Подумать только, самый известный живописец Франции примкнул к этим разбойникам, к этим монтаньярам!..

Давид не умел быть равнодушным к мнению друзей, даже просто знакомых, все это больно его задевало. Но о пути назад он не думал. Что толку в сомнениях, ведь уже написав «Брута», он выбрал дорогу. Прямой, как меч, путь лежит перед Давидом. Прежняя жизнь с ее тщеславными помыслами, мелкими заботами, суетой была такой ничтожной!.. Разве часто достается человеку возможность видеть реальную пользу своих дел, понимать, что они неотделимы от хода истории.

И какому живописцу выпадала судьба стать одним из тех, кто правит страной.

IX

Примерно через месяц после открытия Конвента, а именно 26 октября, Давид впервые поднялся на трибуну ораторов.

* От французского «montagne» — гора.

Он собирался говорить о почестях, готовящихся для Лилля и Тионвилля — городов, которые с немногочисленными гарнизонами устояли против австрийской армии. Неделю назад Давид стал членом Комиссии искусств, и доклад поручили ему, поскольку предполагалось возведение в этих городах памятников и обелисков.

Для Давида это выступление было важным вдвойне. Впервые он мог говорить о своих идеях нового искусства, предназначенного для возвеличивания революции. Впервые в истории правительство рассматривало вопросы искусства.

Председательствующий в тот день Эли Гаде предоставил слово депутату Давиду. И вот он стоит на трибуне в тусклом свете октябрьского дня. К счастью, не было принято импровизировать речи, и у Давида в руках был текст выступления. Это спасло его вначале. Он почти не смотрел в зал, казавшийся туманной пропастью, из которой торчали сотни треуголок, круглых шляп, пудреных и непудреных голов.

— Итак, — говорил Давид, — я предлагаю воздвигнуть в этом городе, так же как в городе Тионвилле, большой памятник, или пирамиду, или обелиск из французского гранита каменоломен Ретеля, Шербурга или каменоломен бывшей провинции Бретани.

Я прошу, чтобы по примеру египтян или других древних оба эти памятника были воздвигнуты из гранита, как из камня наиболее прочного, который сможет довести до потомства воспоминания о славе, которой покрыли себя обитатели Лилля и Тионвилля.

Я прошу также, чтобы остатки мрамора от пьедесталов пяти статуй, разрушенных в Париже, равно как и бронза от этих статуй, были употреблены на украшение этих двух памятников, чтобы самое отдаленное потомство знало, что два первых монумента, воздвигнутых новой республикой, были построены из обломков пышности пяти последних французских деспотов...

Речь Давида занимала умы, не затрагивая политических страстей, идея увековечивания доблести

граждан равно волновала всех членов Конвента. Давида слушали с живым интересом, он это почувствовал, стал говорить четче, почти не картавил.

— Я предлагаю также, чтобы по примеру древних Национальный конвент прибавил к именам двух этих городов эпитет, который характеризовал бы славу, заслуженную их защитниками. Я предлагаю далее, чтобы оставить каждому лицу, без различия пола и возраста, неизгладимую память об этих осадах, выбить медали из бронзы с изображением, различным для Лилля и Тионвилля. А эти медали раздать обитателям этих городов. Эта медаль должна быть выбита из бронзы, оставшейся от пяти разрушенных статуй.

...Я хотел бы, чтобы мое предложение выбивать медали осуществлялось при всех славных или счастливых событиях, уже случившихся или которые произойдут в республике, в подражание грекам и римлянам, которые благодаря своим металлическим сюитам познакомили нас не только с замечательными событиями и великими людьми, но и с прогрессом их искусств...

Да, совершалось необыкновенное. На границах республики умирали в неравных боях голодные волонтеры — монархическая Европа наступала на революционную Францию, не хватало хлеба. Неотложные дела, от которых зависела судьба страны, ждали решения депутатов. А Национальный конвент внимательно слушал художника, говорившего о будущих поколениях, которым нужны вычеканенные в бронзе свидетельства нынешних событий, о памятниках и медалях, о подражании древним. И живописец на трибуне Конвента знал: его слова волей этого собрания легко и быстро могут обратиться в явь.

— Позвольте обратить ваше внимание на то обстоятельство, что именно пожару обязан Лондон красотой и правильностью большей части своих улиц, а также удобством своих тротуаров. Не было бы поэтому уместным и полезным заказать составить генеральный план Лилля, так же как и Тионвилля, преж-

де чем заняться восстановлением разрушенных зданий или реставрацией поврежденных?

В этих генеральных планах можно наметить наиболее подходящие места для возведения в этих городах предложенных мною гранитных памятников.

Когда Давид, покидая кафедру, бросил прощальный взгляд в зал, он уже не показался ему туманной пропастью. Он различал лица, узнавал друзей, видел их одобрительные улыбки, слышал аплодисменты с галереи для публики. Думал ли когда-нибудь м-сье Демаль, учивший Давида риторике и не веривший в его способности оратора, что его ученик будет говорить в Национальном конвенте!

Но Конвенту, да и Давиду, разумеется, не часто предоставлялась возможность посвящать свое время изящным искусствам. Близились события, волновавшие всю Францию. Конвент должен был решить судьбу короля.

До сих пор Людовик Капет, как называли короля после низложения, жил со своей семьей в башне Тампль. Тринадцать искусных поваров готовили для пленников отличные кушанья. Людовик проводил дни в праздности и благочестивых размышлениях. Изредка он передавал в Конвент жалобы на недостаточно почтительное к нему отношение привратника Роше или на то, что солдаты стражи отравляют табаком воздух Тампля. Этот нерешительный и быстро старившийся в тюрьме человек сам по себе уже не мог быть опасным, но он был королем. Именно к нему были прикованы взгляды всех, кто боролся за роялистскую Францию. Монархическая Европа будет сражаться за него, спасая самое себя.

Начиная с 7 ноября, когда депутат Мэль доложил Конвенту мнение Законодательного комитета о праве Конвента судить короля, там шли бесконечные споры.

13 ноября с трибуны Конвента говорил Сен-Жюст. Давид любовался его прекрасным матовым лицом, напоминавшим мраморные портреты Антиноя. Недавно Давид писал портрет Сен-Жюста, во время сеансов узнал его ближе — за внешностью юного

бога скрывались душа тираноубийцы, разум законодателя.

— Граждане, — говорил Сен-Жюст, — если народ римский после трехсот лет добродетели, если Англия после смерти Кромвеля, несмотря на энергию этого человека, вновь увидели возрождение монархии, то чего могут опасаться добрые граждане, друзья свободы, если они видят, как даже и теперь в руках народа дрожит топор и он с почтительной робостью подходит к памятнику своего рабства?

Конвент волновался, с Сен-Жюстом не соглашались. Жирондисты боялись и думать о казни короля. Публика на галерее аплодировала Сен-Жюсту. То, что происходило сейчас перед глазами Давида, могло бы показаться величественной сценой классической трагедии, если бы за спорами и речами не стояли судьбы живых людей и всей нации. Да, разумеется, насильственная смерть — страшная вещь; но испокон века тиран, выступавший против народа, подписывал себе смертный приговор. Можно ли отделять свои взгляды на историю от взглядов на нынешнюю действительность?

Прежние идеалы воплощаются в жестокую реальность: надо найти в себе мужество смотреть в лицо событиям. И вот Давид, стоя рядом со своими товарищами монтаньярами, аплодирует Сен-Жюсту. Тиран должен пасть.

Пусть монтаньяры непримиримы, порой жестоки, пусть не они составляют в Конвенте большинство. Но Давид знал: правда не терпит компромиссов; любая идея должна быть реализована до конца, иначе она погубит, убьет самое себя. А кто, кроме монтаньяров, кроме Робеспьера и его сподвижников, последовательно и искренне борется за торжество справедливости?

Для Давида никакая политическая программа не существовала без живых людей, а это были люди поистине исключительные. Они сродни республиканцам древнего Рима, их логика безжалостна и точна. Вместе с тем «ничто человеческое им не чуждо»: они умели и ошибаться, и спорить, и страдать...

Недавно Давид набросал голову Дантона. Что за лицо! — рябое, неправильное, но озаренное могучим умом, постоянным напряжением воли. Когда он говорит, кажется, дрожат стены. Люди невольно покоряются его речам, вдохновенным и неистовым. Рисовал Давид и Ле Пеллетье де Сен-Фаржо, депутата от Ионны. Писатель, политик, оратор, ученый, интереснейший человек, но голова его будто специально для карикатуры — огромный нос, срезанный подбородок, губы как у фавна. Рисунок Давида получился не слишком лестным, но Ле Пеллетье не обижался, он сам смеялся над своей наружностью.

...Теперь на трибуне Робеспьер. В его речи нет ни пылкости Сен-Жюста, ни необузданной страсти Дантона. Жесты уверенны и сдержанны. Но от него трудно оторвать глаза — и не только Давиду, давно покоренному его речами. В словах Робеспьера спокойная убедительность; за каждой фразой — неуязвимая логика, уверенность в правоте своего дела, сознание силы — он знает: за ним народ.

— Развенчанный король годен лишь на два дела: потрясать своей жизнью спокойствие и свободу государства или укрепить их своей смертью. В одном этом положении заключается все решение вопроса, занимающего нас; Людовик уже заранее осужден, или же республика не оправдывает своего существования!

Слова Робеспьера вызвали взрыв негодования на правых скамьях, но прерывать его не осмеливались. Он продолжал говорить. Это была та знаменитая речь Робеспьера, которая практически положила начало процессу короля, речь, после которой самые усердные защитники Людовика уже не могли возражать против суда.

Короля должен был судить Конвент. Одним из судей Людовика XVI стал, следовательно, Луи Давид. Кажется, он становился больше политиком, нежели живописцем.

11 декабря низложенного короля привезли в здание Тюильрийского манежа, который он так бесславно покинул четыре месяца тому назад. Барер, быв-

ший в тот день председателем, объявил Людовику, что сейчас будет оглашен обвинительный акт.

Давид с любопытством портретиста всматривался в лицо человека, сидящего в кресле, ставшем сегодня королевской скамьей подсудимых. Даже нависшая над Людовиком опасность близкой смерти не придала его чертам той значительности, которая отмечает человека, стоящего на пороге гибели. Его оправдания смехотворны, он отрицает очевидное, говорит заведомую ложь. Жалкий фарс, способный оттолкнуть от бывшего монарха самых яростных роялистов. Насколько сама идея королевской власти опаснее ее носителя!

Все, что происходило в Конвенте и во всем Париже в дни, последовавшие за первым допросом короля, не могло отвлечь внимания людей от главного: что будет с Людовиком? Дело было не в личной участи тампльского узника, здесь решалась участь нации: кто поведет ее за собой, кто одержит победу — защитники монархии или ее противники? Сумеют ли якобинцы добиться, чтобы нож гильотины рассек вековой предрассудок о незыблемости королевской власти? Сумеет ли республика не побояться натиска всей монархической Европы и противопоставить свою решимость угрозам иноземных королей и императоров? Дерзнет ли Франция довести до конца свою революцию?..

Давид вместе со всеми жил волнениями и спорами Конвента, но не забывал о делах художественных.

С академией он окончательно порвал. Недавно он получил приглашение приступить к исполнению обязанностей профессора. Академия теперь в нем заискивала и старалась привлечь на свою сторону живописца, ставшего членом Конвента. Давид послал холодный отказ:

«Я был когда-то в академии.

Давид, депутат Национального конвента».

Художники искали у него помощи и защиты. Вскоре после первого допроса Людовика Давид получил письмо из Рима от своего ученика Топино Леб-

рена. Оказывается, римские и особенно ватиканские власти по-своему сводили счеты с французской революцией: два художника-француза были арестованы в Риме, их работы конфискованы, и все это только потому, что они служили в лионской Национальной гвардии, носили (правда, только дома) трехцветную кокарду, а один из них сделал скульптурную группу «Юпитер, поражающий молнией аристократию».

Давид прочитал письмо в Конвенте, он добился, чтобы представители республики в Риме настояли на освобождении художников. Как раз в это время в Италию собирался уезжать вновь назначенный директор римского отделения Академии художеств Сюве, тот самый Сюве, который был когда-то соперником Давида в борьбе за Римскую премию. Давид понимал, что назначение Сюве не случайно. Академия намеренно выбрала аристократа и роялиста, чтобы хоть за пределами Франции сохранить влияние старой академии на учеников. Давид снова резко выступил в Конвенте, на этот раз против кандидатуры Сюве. Кампания закончилась триумфом Давида. Несмотря на обилие серьезных и сложных дел, Конвент нашел время на обсуждение академических проблем.

25 декабря Давид писал Топино Лебрену в Рим:

«...Конвент декретировал, что место директора в Риме уничтожается, что агенту Франции в этом городе поручается управление этим учреждением...

Все это прошло согласно моим желаниям, к большому неудовольствию академии и в особенности этого ханжи Сюве, который начал было укладывать свой багаж, окончил все свои визиты и готов был распроститься с пределами Парижа. Официальные документы сообщат вам об этом...

Кроме того, я предложил поручить агенту Франции в Риме произвести публичное сожжение всех портретов, всех изображений королей, принцев и принцесс, которые находятся во Французской академии, сломать трон и устроить отныне мастерские для пенсионеров в прекрасных апартаментах директора...»

...Вскоре король снова был приведен в Конвент. На этот раз начался настоящий суд. Защитник де Сэз выступил с речью, она была плохо составлена и еще хуже произнесена. На Конвент она произвела невыгодное впечатление. Но и без этого вина короля не вызывала сомнений. Предстояло решить вопрос о наказании.

В этих заботах среди тревоги за будущее и неуверенности в настоящем кончалась голодная зима 1792 года. Наступал новый год. 1793-й.

X

Мокрый снег садился на поля круглой шляпы Луи Давида, таял на мостовой, кружился в тусклом свете масляных фонарей. В толпе депутатов Давид подходил к дверям Тюильрийского манежа.

Густая масса народа темнела вдоль улицы, усиленные караулы Национальной гвардии и жандармов охраняли двери Конвента. Было 16 января, последний день голосования, решавшего участь короля.

Поименным голосованием Людовика признали виновным «в заговоре против свободы нации и в покушении на общественную безопасность государства». Сегодня должен был решиться вопрос о мере наказания.

Толпа гудела за стенами Конвента. Галереи для публики, казалось, дрожали под тяжестью невиданной массы зрителей.

Давид всеми нервами ощущал неповторимость происходящего: с нетерпением ждал развития событий и одновременно хотел во всех подробностях запомнить каждое мгновение этого дня. Он во все минуты оставался живописцем: глаза жадно впитывали привычную картину заседания, ставшую сегодня по-новому значительной. Серьезные лица депутатов, поблекшие полосы сине-бело-красного флага над трибуной. Голос Пьера Верньо, обычно такого спокойного и выдержанного оратора, выдавал волнение. Да и не было в этот день ни одного депутата, кто сохранил бы спокойствие. Каждый знал: сегодня он дол-

жен подняться на трибуну и произнести свой приговор Людовику: голосование предполагалось поименным и тщательно аргументированным.

Недолгий январский день осветил на несколько часов зал манежа и померк за окнами. Зажгли свечи. Несколько раз сменились часовые у подъезда. А голосование все продолжалось, и народ не уходил с галереи.

Через небольшие промежутки времени в зале раздавалась короткая фраза, которой завершал свою речь каждый депутат. Это был приговор: смерть, ссылка, вечное заточение или каторга. Тогда зал переводил дыхание, словно один человек, а толпа на галерее аплодировала, кричала, свистела, бранилась, вознаграждая себя за сдержанность депутатов и медлительность процедуры.

Была глубокая ночь, улицы опустели, слышались шаги патрулей. У здания манежа по-прежнему стояла толпа.

За немедленную казнь высказалась примерно половина уже выступивших депутатов; те, кому еще предстояло выступить, понимали, что слово каждого из них может стать решающим. Чем дальше шло голосование, тем больше волновался Конвент.

Давид поднялся на трибуну быстрыми шагами. Увидел смотрящие на него сотни глаз, вопросительный взгляд Верньо, озабоченные, усталые лица секретарей, их неподвижные перья, замершие в ожидании его, Давида, слов. Подумал о доме, о том, что теперь ему не придется ждать добрых чувств от семьи, что сегодняшних слов ему не простят не только родные, но и многие из тех, кто считался друзьями. Увидел в глубине зала неподвижное лицо Робеспьера, его глаза, внимательно смотрящие сквозь очки. Коротко, мучительно досадуя на свою картавость, сказал, что не считает выдвинутые защитниками смягчающие обстоятельства заслуживающими внимания, что наказанием королю должна быть немедленная смерть. Галерея хлопала, женщины размахивали платками. Скрипели перья секретарей, записывавших в протокол, что депутат от секции Лувр

Жак Луи Давид высказался за смертную казнь без отсрочки.

Только поздно ночью на следующие сутки, то есть в ночь на 18 января, были окончательно подсчитаны голоса, и Верньо, держа в руке протокол, со шляпой на голове поднялся на трибуну. Он сообщил: Людовик Капет приговорен к смертной казни. Вместе с Робеспьером, Сен-Жюстом, Ле Пеллетье Давид вышел на улицу. После тяжкого воздуха манежа, отравленного копотью свечей и жаровен, дыхание зимней ночи опьяняло. Давид вытащил часы, нажал кнопку репетира. Брегет нежно прозвонил три раза. Кончился самый длинный день в жизни Давида, продолжавшийся почти полтора суток. Через два дня Людовик должен взойти на эшафот, чтобы сама королевская власть раз и навсегда погибла под ножом гильотины.

XI

20 января афиши Временного исполнительного совета сообщали, что «казнь Людовика Капета будет совершена в понедельник 21-го числа», что «местом казни будет площадь Революции, бывшая Людовика XV», что «Людовик Капет покинет Тампль в девять часов утра» и прочие подробности казни.

В 5 часов вечера этого же дня, в зале известного ресторатора Феврие в Пале-Руаяле был убит Мишель Ле Пеллетье де Сен-Фаржо. Бывший гвардеец короля Ле Пари убил Ле Пеллетье ударом сабли в бок. Ле Пари намеревался убить герцога Орлеанского, но, не найдя его, решил отомстить любому, кто голосовал за смерть короля.

Давид узнал об этом поздно вечером. Еще совсем недавно он рисовал Ле Пеллетье, запомнил каждую морщинку на его лбу, резкий разрез крупных полных губ, взлохмаченные, плохо напудренные волосы. Давид отправился на Вандомскую площадь в дом Феликса Ле Пеллетье, брата Мишеля. Раненого перенесли сюда из ресторана Феврие. Он уже перестал дышать, лекари даже не пытались спорить со

смертью — рана была ужасна. Он умер раньше, чем осужденный им тиран. Давиду передали последние слова Ле Пеллетье: «Я удовлетворен, что моя кровь пролилась за отечество. Надеюсь, что она послужит к укреплению свободы и равенства и к выявлению их врагов».

Разве это не достойно пера Плутарха?

Этот веселый, отважный человек заслуживает памятника не менее, чем прославленные греки.

И вот Давид снова рисует Ле Пеллетье, его рука не забыла эти черты, теперь измененные смертью. Он быстро заканчивает набросок заострившегося бледного профиля, ему неловко рисовать здесь среди горя, слез, перед лицом смерти.

Когда Давид возвращался в Лувр с Вандомской площади, Париж был полон глухого неясного шума. Сомкнутыми рядами проходили отряды Национальной гвардии. К центру города стягивались войска из разных районов столицы. На площади Революции стучали молотки, звенели пилы, там возводили эшафот, устанавливали гильотину. Холодная ночь спустилась на истерзанный голодом и тревогами, гордый своей победой над самодержавием Париж. В эту ночь, когда Людовик в башне Тампль готовился к смерти, когда в доме на Вандомской площади стыло тело Мишеля Ле Пеллетье, живописец Давид прощался со своими прежними наивными представлениями о революции. Пафос клятвы в зале для игры в мяч, блистательные речи Мирабо — все это только пролог к начинающейся драме. События легли тяжким грузом на плечи тех, кто посвятил себя служению свободе.

Приходится жертвовать многим. Вчера мадам Давид уехала к отцу, заявив, что не может оставаться под одной кровлей с убийцей короля, уехала, забрав с собой Эмилию и Полину, двух милых девочек-близнецов. Надо иметь в себе силы отвернуться от всего, что мешает делу, забыть даже о детях, забыть о нерешительности и слабости. Он напишет Ле Пеллетье, настоящего, невымышленного героя, человека, который не речами, а жизнью утвердил свое мужество.

Что бы ни происходило, он должен писать, пусть потомки хоть в какой-то доле представят себе торжественное и страшное обличие этих дней, когда свобода рождается среди крови и страданий.

На следующий день совершилась казнь Людовика. Париж был удивительно спокоен: по сути дела, король умер задолго до казни. Вечером мало кто вспоминал о короле. На Новом мосту плясали, пели. В городе не произошло никаких беспорядков.

В этот же день на заседании Конвента было объявлено о смерти Ле Пеллетье. Выступил Жозеф Шенье, он просил для убитого почестей Пантеона, предложил, чтобы церемонией руководили Давид и композитор Госсек. Конвент декретировал: похороны состоятся в четверг 24 января на средства нации в присутствии всех депутатов. Давид сразу же принялся за работу. У него оставалось всего два дня.

...Церемониал начался, когда солнце еще не встало. Пламя жертвенников, установленных у лестниц, ведущих к катафалку, где покоилось тело Ле Пеллетье, резко выделялось в предутренней полутьме. Люди несли факелы, фонари. Катафалк стоял посреди Вандомской площади на высоком пьедестале, где прежде находилась статуя Людовика XIV. Белое обнаженное тело убитого казалось мраморным в морозном воздухе; только почерневшая огромная рана и пятна застывшей крови неожиданно и резко напоминали о том, что это не статуя, а человек, умерший жестокой, насильственной смертью. Бледно-красные отблески факелов порой мелькали на бесстрастном лице Ле Пеллетье, поднятом к небу.

Председатель Конвента поднялся по широкой лестнице к катафалку и возложил венок на ледяной лоб убитого. Вслед за тем началось шествие. Катафалк поставили на колесницу, процессия двинулась. Несли национальные знамена, траурные флаги, на высоких пиках — окровавленную одежду убитого. Звучала мерная, печальная музыка, специально написанная Госсеком, шли люди в античных одеждах, дети, юные девушки. Шли все члены Конвента и среди них Давид. Каждый, кто несколько дней назад

голосовал за казнь короля, мог пасть от ножа убийцы, разделить участь Ле Пеллетье. Похороны Ле Пеллетье должны показать народу — враг жесток, он не даст нам пощады, если мы пощадим его.

Было совершенно светло, когда процессия подошла к Пантеону. Несметная толпа народа смотрела на приближающееся к храму шествие, на обнаженное тело, отливавшее голубизной под бесцветным январским небом. Зрелище было красноречивым, всем понятным: хоронили человека, погибшего за свободу нации, и смерть эта, окруженная ореолом всеобщего поклонения, казалась высочайшим уделом, доступным патриоту.

На следующий день Конвент удочерил дочь Ле Пеллетье:

— Вот твое дитя! — воскликнул, обращаясь ко всему залу, Феликс Ле Пеллетье, подняв на руки ребенка, и несколько сот нечеловечески усталых, занятых и озабоченных делами государства людей стоя аплодировали семилетней девочке с заплаканными глазами.

Давид обратился к Конвенту:

— Проникнутый еще скорбью, испытанной нами вчера во время похоронной процессии, которой мы почтили останки нашего товарища, я прошу, чтобы был исполнен мраморный памятник, который передал бы фигуру Ле Пеллетье, как мы его видели вчера, когда его переносили в Пантеон. Я прошу, чтобы на это произведение был назначен конкурс.

Предложение было принято. Давид, однако, не чувствовал удовлетворения. Памятник, о котором он говорил, был, в сущности, идеей картины, зародившейся в воображении Давида в ту ночь, когда он возвращался из дома Ле Пеллетье на Вандомской площади.

Назавтра Давид заперся в мастерской. С помощью Жерара и Гро он начал писать Ле Пеллетье. Из памяти его не выходило тело на высоком катафалке, черная рана в боку, равнодушное запрокинутое лицо, недавно такое живое, насмешливое, умное.

Не хотелось показывать умершего некрасивым на

смертном ложе. Черты его лица смягчились, стали строже, спокойнее. Давид решил изобразить голову в таком повороте, в котором лицо казалось более правильным: надо, чтобы люди думали не о внешности, а о величии его подвига и гибели. Но Ле Пелletье легко было узнать.

Давид написал его на том самом ложе, на котором он совершал свой путь в Пантеон. Написал застывший, обнаженный торс с глубокой раной, со струйками засохшей крови на белой коже. Складки подушек и покрывала были более подвижными, чем тело. Они окружали его беспокойной, сложной рамой, в которой оно казалось особенно мертвым, каменным.

Меньше всего Давид размышлял о стилевом единстве, он просто вкладывал в картину все, что ощущал и думал: живое воспоминание и философское размышление. Он не побоялся и аллегории, которая могла показаться наивной, если бы не была порождена желанием превратить холст в живописный памятник: над телом Ле Пеллетье. Давид изобразил лист бумаги с надписью «Я голосую за смерть тирана» и прокалывающую этот лист шпагу с королевской лилией на эфесе. То, что показалось бы чудовищным смешением возвышенного и низменного два года назад, сейчас не представлялось удивительным — аллегория и иллюзорно изображенные пятна крови сочетались в картине в странной гармонии. Впрочем, и в реальной жизни вокруг разве не сталкивались образы античного эпоса, возвышенные размышления с кровью и гибелью людей?

Картина была окончена за два месяца. Сейчас, тратя бездну времени на заседания в Конвенте и политические заботы, уставая порой до головокружения и полного упадка сил, художник работал быстрее и больше, чем в те времена, когда не занимался ничем, кроме искусства.

29 марта картина была доставлена в Конвент. Де Бри, председатель, предоставил слово Давиду. Давид поднялся на трибуну, перед которой стояли теперь два бюста — Брута и Ле Пеллетье с потемневшим венком на голове. Бюст Ле Пеллетье был

исполнен молодым скульптором, по имени Флерио. Давид недавно ходатайствовал за установку этой его работы в Конвенте. Молодые художники, работавшие для революции, тянулись к Давиду, и он всегда помогал им.

Две мраморные головы странно связывали сегодняшний день Конвента с живописью Давида: Брут был героем одной картины Давида, а Ле Пеллетье — другой, законченной только вчера.

— Граждане депутаты, — начал Давид свою речь, — граждане депутаты! Каждый из нас должен дать отечеству отчет в талантах, которые он получил от природы. Если форма различна, то цель должна быть общей для всех. Истинный патриот должен со всем старанием пользоваться всеми средствами для просвещения своих соотечественников и постоянно показывать им проявление высокого героизма и добродетели. Это я попытался сделать в подносимой сейчас Конвенту картине, изображающей Мишеля Ле Пеллетье, подло убитого за то, что он голосовал за смерть тирана.

Граждане, небо, распределяющее свои дары между всеми своими детьми, пожелало, чтобы я выразил свою душу и свою мысль через посредство живописи, а не возвышенными средствами убедительного красноречия, которым пользуются среди вас энергичные сыны свободы.

Тут надо признаться, что речь Давида совсем не чуждалась «возвышенных средств убедительного красноречия». Но в ту пору возвышенный стиль был обычным, Давид ничем не отличался от своих сограждан и даже не представлял себе, что с трибуны Конвента можно говорить иначе.

— Я счел бы свою задачу выполненной, — продолжал он, — если бы заставил однажды сказать старика отца, окруженного многочисленным семейством: «Приходите, дети мои, приходите посмотреть на того из ваших представителей, кто первый умер, чтобы дать вам свободу. Вы видите, как ясны его черты. Кто умирает за отечество, тому не в чем себя упрекнуть...

Видите ли вы эту глубокую рану? Вы плачете, дети мои, вы отворачиваете взоры, но обратите также внимание на этот венок, на венок бессмертия. Отечество держит его наготове для каждого из своих детей. Сумейте же его заслужить. Для великих душ поводов к этому достаточно. Если, например, когда-либо какой-либо честолюбец станет говорить о диктаторе, о трибуне или попытается захватить малейшую долю суверенной власти народа или если какой-нибудь подлец предложит вам короля, бейтесь или умрите, как Мишель Ле Пеллетье, но никогда не соглашайтесь на это. И тогда, дети мои, венок бессмертия будет вашей наградой».

Я прошу Национальный конвент принять дар моего слабого таланта.

Я буду с избытком вознагражден, если мой дар удостоится принятия.

Депутаты дружно аплодировали Давиду. В ту пору еще не встречалось столь откровенного, почти жестокого изображения современных событий, смерти, и вместе с тем было в образе умершего высокое благородство древности: «Кто умирает за отечество, тому не в чем себя упрекнуть». Каждому члену Конвента картина предсказывала опасность и славу, смерть и бессмертие.

Депутат гравер Сержан поднялся на трибуну вслед за Давидом. Это был один из тех художников, которые, подобно Давиду, сразу же встали на сторону революции. Он не успел еще завоевать себе славу в искусстве, но горячо болел за дела своих собратьев. Он с не меньшей пылкостью, чем Давид, отстаивал в Конвенте интересы художников, раздумывал над созданием новой организации, способной заменить академию. На такого человека, как Сержан, можно было положиться. Давид уже давно видел в нем сильного и доброжелательного союзника, верного товарища в борьбе с академией. Тем с большим волнением ожидал Давид слова Сержана.

Гравер заговорил энергично и громко:

— Я прошу, чтобы картина, которой Давид оказал честь Конвенту, была гравирована за счет рес-

публики и предоставлена ищущим поддержки и братства у французской нации.

Предложение Сержана было немедленно декретировано. Конвент волновался. Депутат Жениссье настаивал, чтобы Давиду оплатили «Брута» и «Горациев».

— Нельзя, — говорил он, — давать основания думать, что республиканцы менее благородны, чем король.

Давид пытался спорить: зачем омрачать сегодняшний день давно забытыми счетами? Он совсем не хотел, чтобы республика принимала на себя долги короля. Но председатель не дал ему слова. Депутат Матье стал возражать.

— Не время, — говорил он, — в ту минуту, когда Давид подносит картину, посвященную патриотизму депутата, заниматься оплатой его других работ. Если до революции Давид воссоздал для вас священные образы Брута и Горация — превосходно: удовлетворение он носит в своем сердце. Впрочем, если родина у него в долгу, есть министр, в чьи обязанности входит присуждать гражданские венки талантам, уже созревшим для бессмертия; министру следует заняться этим делом.

Общие рукоплескания покрыли слова Матье. Это была высшая награда гражданину в ту пору, когда все ордена и медали уже перестали существовать, это была награда, взятая из обычаев древнего Рима, которой сейчас удостаивались немногие.

От всяких гонораров Давид отказался наотрез. Он сказал, что если нация считает, что должна ему какие-либо суммы, то их следует передать для вдов и детей тех, кто погиб, защищая свободу.

Картина была повешена в зале заседаний Конвента.

Мертвый Ле Пеллетье остался в зале, где он столько раз выступал, где поднял голос за казнь короля, что принесло смерть ему самому. Так замкнулся этот печальный и глубоко символический круг, в котором сплелись воедино смерть, искусство, поли-

тическая борьба и новая жизнь Мишеля Ле Пеллетье, дважды обретенная им волею Давида: сначала на Вандомской площади, а потом на холсте.

XII

Над ратушей развевалось черное знамя тревоги.

Закрылись все парижские театры.

Триста тысяч волонтеров были призваны во французскую армию. Армии республики отступали на севере и на востоке. Враг снова приближался к границам. В Вандее разгоралось роялистское восстание. Скоро оно захватило Нормандию и Бретань.

Конвент лихорадило.

Изменил генерал Дюмурье. Его действия давно внушали опасения монтаньярам: он почти открыто выступал в защиту монархии, держался весьма правых политических убеждений; подозревали, что он ведет тайные переговоры с неприятелем. Но ореол победителя при Жемаппе защищал Дюмурье если не от подозрений, то, во всяком случае, от опалы. Теперь же стало известно, что генерал просто перешел на сторону врага, арестовав комиссаров Конвента в армии. Измена Дюмурье подтвердила старые опасения Марата и многих других монтаньяров: Дюмурье пользовался поддержкой большого числа депутатов жирондистов и, возможно, действовал с их одобрения и по их указанию.

Монтаньяры добились учреждения революционного трибунала. После измены Дюмурье жирондисты не осмелились противоречить. Трибуналу надлежало повести жестокую борьбу с контрреволюцией. Его решения не могли быть ни отменены, ни кассированы. Он либо оправдывал подсудимого, либо присуждал его к смерти.

Был организован Комитет общественного спасения во главе с Дантоном.

Шла весна 1793 года.

Давид не замечал ее, не видел красоты природы. Он выходил из здания манежа с красными от усталости глазами, опустошенным до изнеможения. Пос-

ле «Ле Пеллетье» он редко брался за кисти. Все его силы уходили на политические дела.

...В Конвенте начиналась бешеная травля Марата.

Марат, ставший одним из вождей Горы, был самым опасным врагом жирондистов. Они ненавидели и боялись его. Резче всех и раньше всех он заговорил об их измене; даже многие единомышленники его опасались, и настоящих друзей в Конвенте у него было немного. Но Марата любил народ.

Таинственный издатель «Друга народа», обличитель предательства и лжи, уже в дни первых заседаний Конвента предстал Давиду в ореоле борца и подвижника. Художника не пугал трудный нрав Марата, хотя порой поступки его казались чрезмерно резкими, его подозрительность — неоправданной. Давид помнил праздник в доме Жюли Каро — жены его друга Тальма. На празднике был Дюмурье, тогда его все считали героем. Неожиданно появился Марат — он искал Дюмурье, чтоб потребовать отчета о некоторых неблаговидных поступках генерала. Марат давно не доверял ему. Появление Марата, одетого в старую карманьолу, мрачного и серьезного, напугало гостей. Генерал, однако, смешался. Между ним и Маратом произошел короткий и резкий разговор. Тальма стал успокаивать Марата. Марат ушел. «Этот дом — очаг контрреволюционеров!» — воскликнул он на пороге. Гости нашли, что Марат «ужасен». Даже Давиду показалось, что Марат потерял чувство меры. А теперь ясно, что он был прав, и если бы своевременно поняли, что Дюмурье — предатель, сколько жизней можно было бы спасти.

Марат совершенно не заботился о себе, только дело его занимало. Меньше всего он думал о том, чтобы понравиться слушателям или читателям, вызвать аплодисменты. Не боясь никого, он говорил о своих подозрениях, требовал жестокого наказания врагам революции; в поклонниках он не нуждался, искал только единомышленников. Даже Робеспьер недолюбливал Марата. Он не понимал страстности, горячности Друга народа, его равнодушия к мнению

окружающих. Он, Робеспьер, тоже умел забывать о себе, но всегда действовал обдуманно, не позволял чувствам возобладать над разумом, контролировал каждый свой шаг. Он оставался юристом. Порой Давиду казалось, что теория, отвлеченное понятие заслоняют от Робеспьера людей, их судьбы, желания, помыслы. А Марат, с молодых лет знавший страдания людей, никогда не забывал о них. Профессия врача и пылкая душа революционера помогали ему во все времена понимать бедняков. Он был прост и резок, говорил с народом искренне, честно, его понимали в народе лучше, чем Робеспьера, и, видимо, любили больше.

Этот издерганный, усталый, вечно больной человек казался в Конвенте чужим. Среди аккуратных кафтанов, модных полосатых жилетов и карриков с огромными воротниками более чем скромный костюм Марата, его вытертый зеленый сюртук, старые кожаные штаны, красная повязка на голове выглядели нелепо. Даже рядом со своими товарищами монтаньярами, одетыми скромно и чаще всего небогато, он казался бедняком. Борьба и болезнь сжигали его, но страсть к борьбе в нем никогда не затихала, глаза оставались молодыми и даже веселыми, если не пылали гневом. Марат не терпел компромиссов, мог ошибаться, но не лицемерить. Это и привлекало к нему Давида. В Марате были обнаженная и беспощадная правдивость, энергия и честность, все больше восхищавшие Давида.

Именно эти качества, так нравившиеся Давиду, вызывали злобу врагов Марата. Жирондистам, особенно после разоблачения Дюмурье, он внушал ужас. А настороженное отношение к Марату даже его товарищей монтаньяров давало надежду на то, что защищать его почти никто не станет.

Марат делал все возможное, чтобы разоблачить жирондистов. Это по его настоянию, еще до того, как стало известно об измене Дюмурье, в Конвенте выступил Дантон, прямо говоривший о связи Дюмурье с жирондистами, о необходимости расследовать деятельность депутатов правой. Этой речью на-

чиналась открытая и беспощадная война с Жирондой.

5 апреля, на другой день после того, как стало известно об измене Дюмурье, Марат стал председателем Якобинского клуба.

10 апреля Петион заявил в Конвенте, что с монтаньяров «пора сорвать маску ложной популярности». Он назвал Марата «проповедником деспотизма» и, не скупясь на бранные слова, дал понять, что скоро будет покончено с разбойниками монтаньярами.

12 апреля Петион снова выступил против Марата и монтаньяров. Затем Гаде прочел Конвенту циркуляр Якобинского клуба с призывом к борьбе против сообщников Дюмурье, с призывом к восстанию и истреблению врагов революции. Жирондисты потребовали суда над Маратом и его немедленного ареста.

Казалось, государственные дела отошли на второй план. Все сосредоточилось на решении одного вопроса: судьбы Марата. На этом должно было решиться и нечто большее, чем судьба одного человека, — исход борьбы между Горой и Жирондой.

Зал манежа был полупустым. Многие депутаты монтаньяры уехали с поручением Конвента в армию и в отдаленные департаменты страны. Жирондисты имели решающее большинство и воспользовались этим. То, что происходило сейчас в Конвенте, уже не было похоже на политическую борьбу, столкновение мнений. Это была самая откровенная травля человека, виновного только в том, что он честнее и беспощаднее других боролся за дело патриотов. Лоск и выдержка начисто покинули жирондистов. Перепуганные, озлобленные, они в самом деле походили на разоблаченных изменников, думающих лишь о том, чтобы свести счеты с тем, кто осмелился сказать о них правду. Давид видел поднятые кулаки, трясущиеся от злобы подбородки, слышал проклятия. И это Конвент, бывший в воображении Давида живым подобием античных ареопагов и сенатов! Сидящие рядом с Давидом монтаньяры были бессиль-

ны остановить разбушевавшуюся бурю, их было так мало сегодня. Давид чувствовал, что перестает владеть собой. Воспользоваться отсутствием лучших людей Конвента и устроить это наглое судилище, которое может привести Марата к смерти, это ли не предательство, перед которым меркнет предательство сыновей Брута!

Петион, с налитым кровью лицом, гремел с трибуны, указывая пальцем на Марата:

— Пришло время изгнать из наших стен этих наглецов и извергов, позорящих нас и угрожающих нам кинжалами убийц!..

— Это вы, это вы убийцы, — неожиданно раздался хриплый пронзительный голос Марата. Он встал во весь свой небольшой рост, озираясь, как затравленный зверь, и вцепившись в рукоять торчавшего у него за поясом кинжала.

Слепящая ярость ударила в голову Давида, последние остатки самообладания его покинули. Цепляясь каблуками за ножки скамеек, он бросился вниз к трибуне; как сквозь мглу, видел удивленные лица депутатов. Распорядитель с металлическим знаком на груди загородил дорогу. Давид оттолкнул его плечом. Давиду казалось, сейчас он скажет какие-то убийственные слова Петиону, бросит ему в лицо резкие и убедительные обвинения, но с дрожащих губ срывались лишь бессвязные, гневные фразы:

— Я требую, чтобы вы убили меня... Свобода восторжествует!.. — Он захлебнулся, увидев прямо перед собой холодные, насмешливые глаза Петиона.

Видимо, тот понял, что может извлечь выгоду из горячности Давида, и решил сохранить спокойствие. Петион демонстративно пожал плечами.

— О чем свидетельствует поступок Давида? — обратился он к Конвенту, стараясь придать голосу оттенок сочувствия. — Ни о чем! О преданности порядочного человека, впавшего в исступление и обманутого преступниками. Ты сам увидишь это, Давид.

Это подчеркнуто республиканское обращение на «ты» и этот тон дружеского участия были, разумеет-

ся, не более чем ораторским приемом, но Давид уже овладел собой. Громко и отчетливо он ответил, глядя в глаза Петиона:

— Никогда!

И, круто повернувшись, вернулся на свое место.

Короткое замешательство, вызванное Давидом, ничему не смогло помешать. Под дружное одобрение жирондистов было декретировано постановление об аресте Марата и немедленном заключении его в тюрьму аббатства.

Марат заявил, что отказывается повиноваться приказу. Его друзья из числа депутатов и присутствующих зрителей окружили его плотным кольцом. У кого-то в руках уже блеснул вытащенный из трости кинжал, сухо щелкнул курок пистолета. Марат направился к выходу. Стража не смогла или побоялась ему помешать. Вместе со своими сторонниками он покинул манеж.

13 апреля на утреннем заседании было прочитано письмо Марата Конвенту.

«Я до тех пор буду разоблачать изменников, ведущих за собой Конвент, пока народ не покарает их достойным образом», — писал в нем Марат.

На вечернем заседании был окончательно решен вопрос о предании Марата суду. Главным пунктом обвинения был призыв Якобинского клуба к восстанию, подписанный Маратом.

Монтаньяры заявили, что они тоже готовы подписаться под этим документом. Несколько десятков человек бросились вниз по ступенькам к столу председателя. Давид был первым. Царапая бумагу, торопливо расписался, вслед за ним подошли Демулен, Дюбуа Крансе, сзади выстроилась целая очередь.

Но, отойдя от стола, Давид увидел — далеко не все монтаньяры поддались порыву. Дантон сидит неподвижно, мрачно глядя прямо перед собой. Робеспьер вернулся на свое место, не подписавшись. Быть может, поступок Давида неразумен? Нет, он менее всего дипломат, он не может устоять перед властным желанием хоть как-то защитить Марата.

Даже если это противоречит холодной политической логике.

Но и эта демонстрация монтаньяров ничего не смогла изменить.

Перешли к голосованию вопроса о предании Марата суду. Голосовали поименно. Давид, памятуя вчерашний день, решил твердо держать себя в руках. Когда подошла его очередь, он размеренными шагами поднялся на трибуну и спокойно произнес:

— Дюмурье сказал бы «да», республиканец говорит «нет».

Имя Дюмурье было в те дни синонимом слова «предатель».

Все же декрет вотировали, жирондистов было неизмеримо больше, чем монтаньяров, да и среди монтаньяров некоторые боялись и не любили Марата.

Но и те, кто радовался предстоящему суду, и те, кто боялся суда, были равно ослеплены могуществом Конвента и забывали о народе, другом которого недаром называл себя Марат и который, в свою очередь, оставался другом Марата.

Секции Парижа присылали своих представителей для защиты Марата, толпы народа стояли у дверей трибунала в дни, предшествовавшие суду. И жирондисты, торжествовавшие победу в Конвенте, оказались в ничтожном и неожиданном меньшинстве. До суда Марат был менее опасен, чем теперь. Весь Париж, встревоженный и грозный, ждал решения суда, готовый незамедлительно расправиться с врагами Марата, если они посягнут на его свободу или жизнь. То, чего не смогли сделать монтаньяры, сделал народ.

Революционный трибунал не мог не оправдать Марата. Многие из его членов не любили жирондистов и сочувствовали Марату. Но даже если бы это было не так, исход процесса был решен народом.

Марата вынесли из дворца Правосудия на руках. На спутанные его волосы надели венок из живых роз, и странно выглядело измученное, обескровленное лицо Марата под яркими бутонами и цветами. В этой радостной процессии, что медленно двигалась

от дворца Правосудия к Тюильри, Марат, казалось, один не разделял всеобщего ликования. Он понимал: от его оправдания до победы монтаньяров лежит далекий, трудный путь, и боялся, что радость друзей может ослепить их, заставить забыть о грозящих революции опасностях...

XIII

«Национальный Конвент постановляет подвергнуть нижепоименованных депутатов домашнему аресту, причем они остаются под покровительством французского народа, Национального конвента и под охраной честности граждан Парижа. Депутаты эти следующие: Жансонне, Гаде, Бриссо, Гара, Петион, Верньо, Салль, Барбару, Шамбон, Бюзо, Бирото, Лидон, Рабо, Сент-Этьен, Ласурс, Ланжьюне, Гранжнев, Легарди, Лесаж, Луве, Валазе, Корвельган, Гардьен, Буало, Бертран, Биже, Мольво, Ларивьер, Гомер, Бергоен. Равным образом отдаются под домашний арест: гражданин Клавьер, министр государственных налогов, и Лебрен, министр иностранных дел».

Такой декрет был прочитан председателем Конвента депутатом Малларме 2 июня 1793 года. Вожди жирондистов сошли в этот день с политической арены. Закончилась долгая борьба Горы и Жиронды, жестокая и трудная борьба. За время, минувшее со дня оправдания Марата, жирондисты вели яростную откровенную борьбу с революцией. Они сблизились с роялистами, готовившими заговор против республики, они настаивали на созыве нового правительства и разгоне нынешнего Национального конвента; они организовали «комиссию двенадцати», которая должна была расследовать деятельность монтаньяров против Жиронды. Комиссия арестовала нескольких видных революционеров, в том числе и знаменитого Гебера, прокурора Коммуны, издателя любимой парижанами газеты «Пер Дюшен».

31 мая в Париже началось восстание, руководимое якобинцами и Коммуной. 2 июня Гора торжествовала победу. Жирондисты навсегда покидали зал Кон-

вента. Они так и не захотели понять: революция беспощадно расправляется с теми, кто предает ее во имя интересов крупных буржуа и замаскированных роялистов.

Монтаньярам, захватившим власть, досталось страшное наследство. Шестьдесят департаментов Франции еще находились под влиянием жирондистов. Вандея вся была охвачена роялистским восстанием, три ее армии готовились к войне. Испанские и английские фрегаты крейсировали у берегов страны, подстерегая каждый корабль, идущий во французские порты. Австрийские, испанские, прусские армии наступали. Бумажные деньги почти ничего не стоили. Не было хлеба. Не было ничего, на чем основывается существование государства, и было все, что приносит государству гибель.

И тем не менее Французская республика продолжала существовать, сражаться, жить. Была издана новая конституция, радостно принятая народом даже в тех департаментах, которые находились в руках жирондистов. Новые добровольцы шли под знамена Конвента. Голодный, нищий Париж хранил гордое спокойствие, готовый в самом прямом смысле либо победить, либо умереть. Так обстояли дела летом 1793 года.

Давид стал теперь членом правящей партии. После 2 июня он увидел новый Конвент, превратившийся из места постоянных споров и напряженной внутренней борьбы в действительного руководителя нации. Робеспьер внушал Давиду благоговение. Разговаривая с ним или просто находясь рядом, художник волновался: вот сидит на деревянной скамье маленький утомленный человек в свежем фраке, с аккуратным жабо; волосы припудрены, переносица натерта дужкой двойных очков. И при всех своих обыденных чертах это великий человек. На узких его плечах лежит неслыханная тяжесть, он во главе самых важных дел Конвента, он занимается войной, дипломатией, составлением конституции, снабжением Парижа и армий хлебом, распутыванием заговоров против республики. В окружении тайных и явных

врагов, каждый час ожидая самых печальных новостей из армий и охваченных восстанием провинций, буквально на краю пропасти, Робеспьер сохранял видимую бесстрастность, помнил тысячи мелочей, не суетился, не спешил. Только опытный взгляд портретиста подсказывал Давиду, чего стоят эти дни Робеспьеру; едва уловимая морщинка у глаз, болезненный изгиб бледных губ раскрывали Давиду чудовищное напряжение воли, нечеловеческую усталость.

Марат редко появлялся в Конвенте. Последние события окончательно лишили его сил, болезнь заставляла подолгу оставаться дома. Он страдал изнурительной экземой, причинявшей ему непрерывные мучения. Но дома он не прекращал работы: писал и редактировал статьи для «Друга народа», составлял письма в Конвент, требовал решительной расправы с предателями, энергичных действий — всего, что делал бы сам, если бы мог двигаться.

12 июля Давид вместе с членом Конвента Сильвестром Мором по поручению Якобинского клуба отправился к Марату осведомиться о его здоровье. Погода была пленительная, люди на улицах как будто повеселели; за вынесенными на улицы столами шумели участники общественных трапез; даже стоявшие в очередях к булочнику женщины были немного принаряжены и казались менее измученными, чем обычно. Трудно представить себе, что в Париже так много голода, страданий, болезней, что за стенами стольких домов готовятся заговоры против патриотов, что сейчас на границах страны умирают тысячи солдат...

Марат жил поблизости от фабрики гобеленов на улице Кордельеров — иными словами, на самом краю города. Симона Эврар, жена Марата, просила их не утомлять больного, он плохо себя чувствовал сегодня, а посетителей много, все хотят видеть Друга народа.

Симона провела Мора и Давида в комнату, показавшуюся сумрачной после солнечной улицы. Марат сидел в ванне, голова его была обвязана полотенцем. Экзема его мучила непрерывно, только в теплой воде

ему становилось легче, и он проводил так нередко много часов подряд.

Марат работал. Посреди ванны лежала доска, служившая пюпитром. На деревянном чурбаке — чернильница, несколько очиненных перьев, рукописи, гранки.

Он встретил гостей приветливо, сказал, что рад вниманию граждан, расспрашивал о последних новостях, говорил, что пишет статью с резкой критикой Комитета общественного спасения и особенно Барера, которого считал способным на самое низкое предательство. Словом, и здесь, дома, больной, истерзанный отвратительным недугом, бессильный даже встать, он оставался прежним Маратом.

Как не подходят к нему традиционные представления о героях и вождях! Худые голые плечи, бледная кожа в красных пятнах, нервные движения чуть дрожащих рук. Вместо ростры — нелепая ванна в форме сабо, вместо тоги — дырявая купальная простыня и вместо плавных размеренных фраз — горячая сбивчивая речь. Давид слушал Марата, рассказывал новости, но все время думал об одном: какой чудовищной волей надо обладать, чтобы преодолеть страдания, смертельную усталость, чтобы заставить себя работать, мыслить, забыть о мучениях плоти... Не удивительно, что последний поденщик знает его и любит — люди всегда доверяют тем, кому знакомы их невзгоды.

Да, это, без сомнения, человек столь же великий, как и Робеспьер, но более простой, более человечный. В Робеспьере было что-то пугающее, он обладал холодным величием небожителя, находящегося на высших ступенях познания и власти. А Марат энергичен и пылок, и, главное, он подобен другим смертным, может, как они, страдать, ошибаться. Давида потрясло именно это — контраст жалкого, больного тела, убогой обстановки с мощью и стойкостью духа, ясностью мысли.

На прощание Марат крепко пожал руку Давида. Это пожатие влажной горячей, но еще сильной руки было последним впечатлением от встречи.

На следующий вечер Давид председательствовал в Якобинском клубе. На исходе девятого часа в капелле монастыря, где происходило заседание, неожиданно и резко хлопнула входная дверь. Несколько вооруженных людей почти ворвались в зал. Присутствующие встали, некоторые схватились за оружие, ожидая нападения.

Давид потрясал колокольчиком, пытаясь восстановить порядок. Но первые же слова вошедших все объяснили: только что убит Марат. Неизвестная женщина обманом проникла в комнату и ударила его ножом. Марат умер через несколько мгновений.

Один из тех, кто задержал убийцу, был среди пришедших. Его бурно приветствовали. Давид расцеловал его. Заседание прервалось. Давид поспешил на улицу Кордельеров.

Марат убит. Еще вчера он разговаривал с Давидом, еще вчера пожимал ему руку. Невозможно представить его неподвижным, ледяным, безмолвным. Вспомнилась недавняя смерть Ле Пеллетье. Враги не теряют времени. Вот печальные последствия нерешительности, от которой так предостерегал Марат. Мы рассуждаем, неприятель действует. Они не знают сомнений и точно направляют оружие. На месте Ле Пеллетье мог оказаться любой депутат, но убийство Марата не может быть случайностью. Удар нанесен в самое сердце революции.

У дома Марата улица была запружена людьми. Национальные гвардейцы с трудом проложили дорогу Давиду и его спутникам из Якобинского клуба. Они поднялись по знакомой лестнице, смутно освещенной факелами жандармов. Офицер рассказывал подробности преступления: убийцей была совсем молодая девушка — Шарлотта Корде, по всей видимости, агент роялистов или опальных вожаков Жиронды. Она специально для этой цели приехала в Париж. Преступница не пыталась скрыться. Ее сразу же схватили и отправили в тюрьму. Народ чуть не растерзал ее по дороге...

Приглушенные встревоженные голоса, звон оружия наполняют квартиру Марата; сквозняки, вры-

вающиеся сквозь открытые настежь окна и двери, колеблют пламя свечей. Комнаты стали нежилыми и страшными.

В комнате, где работал Марат, еще стоит ванна. На ее краю темные потеки: что это — непросохшая вода, застывшая кровь? Ржавые пятна на лежащей рядом скомканной простыне. На деревянном чурбаке бумаги и старый номер газеты. Давид взял в руки пожелтевший листок: «Друг народа», вышедший в августе 1792 года. И здесь на бумаге темные, еще влажные пятна: кровь Марата...

Марат лежал на постели все с той же повязкой на спутанных волосах. Торс был обнажен. Глубокая рана под правой ключицей в ярком свете близко поставленного шандала была видна с тягостной, неприятной отчетливостью. Веки остались приоткрытыми, помутневшие глаза равнодушно смотрели вдаль. В лице убитого сохранилась усталость: даже смерть не смогла ее облегчить.

Они добились, чего хотели, все эти златоусты и философы, травившие Марата еще задолго до того, как он появился в Конвенте, эти депутаты, сначала отправившие Марата на скамью подсудимых, а теперь вложившие нож в руку ослепленной ненавистью женщины.

Давиду показали этот нож, совершенно новый, остро отточенный. Шарлотта Корде купила его только сегодня. Вздрагивающими, непослушными пальцами Давид дотронулся до лезвия, коснувшегося сердца Марата.

Потом заставил себя собраться с силами, достал лист бумаги. Он даже не думал, откуда взялось у него убеждение, что надо нарисовать мертвое лицо Марата, просто он был обязан это сделать. Линии точно и сухо ложились на бумагу. Давид не видел ничего вокруг. Время остановилось. Кончив рисунок, Давид написал на нем: «Марату — Другу народа. Давид».

Назавтра в Конвенте было оглашено официальное сообщение о смерти Марата. Один из следователей, допрашивавших Корде, депутат Шабо, заявил,

что связь убийцы с жирондистами не вызывает сомнений и не отрицается ею. В зал Конвента одна за другой приходили депутации секций с требованием казни убийцы и торжественных похорон Марата. Гиро, глава одной из депутаций, поднялся на трибуну.

— Марата нет... — говорил он. — Мы не будем петь тебе хвалы, бессмертный законодатель! Мы будем тебя оплакивать, мы воздадим должное прекрасным действиям твоей жизни. Свобода была начертана в твоем сердце неизгладимыми письменами. О преступление! Предательская рука похитила у нас самого отважного защитника народа. Он посвятил себя свободе — вот его преступление. Наши глаза еще ищут его среди вас. О, ужасное зрелище! Он на ложе смерти. Где ты, Давид?

Давид вскинул голову, с недоумением глядя на оратора, так внезапно обратившегося к нему.

— Где ты, Давид? Ты передал потомкам образ Ле Пеллетье, умершего за отчизну, тебе осталось написать еще одну картину!

— Да, — ответил Давид так громко и решительно, что депутаты повернулись к нему. — Да! Я напишу ее!

Этот почти неизвестный Давиду человек сказал о том, о чем он еще не успел и подумать, но что уже остро тревожило его воображение. События последних дней забились в его сознании, требуя от него каких-то поступков, решений, действий. Что может сделать живописец, когда страшное событие рождает в нем сухую и горькую жажду творчества? Только писать...

Робеспьер говорил, что не пристало хоронить Марата в Пантеоне, где находится прах Мирабо — «интригана и преступника», человека, прославившегося только глубочайшей продажностью. Решили похоронить Марата в саду Кордельеров. Давиду поручили организацию похорон.

Два дня, последовавшие за смертью Марата, Давид провел в напряженных заботах, заглушивших отчасти горечь событий. По его указаниям с Марата

была снята маска. Тело бальзамировал искусный хирург. Накануне похорон, в тот день, когда Шарлотта Корде умерла под ножом гильотины, Давид сообщил в Конвенте о своем замысле выставить тело Марата в той самой позе, в какой он нашел его недавно «пишущим о счастье народа». Давид настаивал на простоте похорон и утверждал, что они должны отличаться скромностью, «приличествующей гражданину, скончавшемуся в почетной бедности».

Весь день 16 июля к церкви Кордельеров, что на левом берегу близ Люксембурга, шли парижане и приехавшие в столицу патриоты других городов. Секции шли почти в полном составе, Давид узнавал их эмблемы на знаменах. Вот крестьянин с косой на знамени секции Сен-Марсель, вот широкий крест на флаге секции Попинкур... Кто может сосчитать, сколько людей прошло сегодня перед телом Марата?

Давид провел здесь целые сутки, он смертельно устал, чувствовал пустоту в душе. Тяжелый воздух церкви был неподвижен; душно пахло благовониями, которые жгли в высоких, на античный манер сделанных курильницах. Четыре гигантских канделябра со множеством свечей стояли по сторонам высокого, с трехэтажный дом, катафалка и ярко озаряли тело Марата. Вознесенное на сорокафутовую высоту, окруженное траурными покрывалами, трехцветными лентами, оно будто царило над толпой, единственно неподвижное в людском водовороте. Люди проходили, подняв глаза на своего мертвого друга, окруженного торжественной и скорбной пышностью, которой он никогда не знал при жизни. Только стоящая здесь же на помосте ванна Марата и его окровавленная рубаха напоминали о реальной обстановке жизни и смерти Друга народа. Давид недаром настоял, чтобы эти прозаичные предметы находились здесь: нельзя было допустить, чтобы такой простой и пылкий человек превратился в идола, лишенного всего земного.

В чаду свечей, наверху, Марат был плохо различим, но Давид ясно видел его своим внутренним взором, видел его обострившиеся, словно проведен-

ные граверным резцом черты, ставшее почти бесплотным легкое тело. Как мало похож человек на дела свои! Он вспомнил слова Гиро, обращенные к нему в Конвенте. Конечно, он должен написать картину, и не только потому, что сам хочет этого всей душой, но и ради воссоздания истинного образа Марата. Марат должен остаться в глазах потомков не жалким больным мучеником и не полубогом, а таким, каким он был на самом деле: великим и человечным.

Люди шли и шли. Проходили иссушенные болотной лихорадкой герои вандейских битв, розоволицые мальчики, быть может только сегодня записавшиеся в волонтеры, суровые санкюлоты во фригийских колпаках, с длинными саблями на боку, ученики недавно созданной школы Марса, рабочие из предместий, матери с грудными детьми, юные девушки. Все больше становилось цветов у подножия катафалка: большие венки, свежие охапки полевых цветов, дешевые пучки, купленные у цветочниц и наскоро перевязанные трехцветными лентами. Горячий воск свечей падал на букеты. Шествие могло бы продолжаться до бесконечности, если бы не настал час погребения.

Не было белых коней, торжественной колесницы; гроб Марата несли двенадцать человек, постоянно сменявшиеся другими. Гроб медленно плыл на поднятых руках. Его несли через весь Париж, хотя место погребения было рядом с церковью Кордельеров. В медлительных летних сумерках процессия прошла через центр города, где еще так недавно парижане рукоплескали оправданному Марату, мимо Тюильри — нынешнего помещения Конвента, мимо Якобинского клуба. Вслед за гробом шли батальоны с опущенными ружьями, везли тяжелые пушки; шли революционные клубы, члены Конвента, трибунала, комитетов. Было совсем темно, когда шествие возвратилось к саду Кордельеров. Гроб опустили в могилу, в глубине гранитного грота. Народ не расходился, огромная толпа заполняла весь сад; и далеко за его оградой, куда уже не достигал свет факелов и фонарей, тоже стояли тысячи людей. И потом до

самого рассвета шел народ мимо могилы Марата, и казалось, не будет конца этому мрачному потоку.

Ранним утром Давид бросил последний взгляд на окруженный зелеными деревьями памятник, на вершине которого стояла урна с сердцем Друга народа. Ну вот, он, кажется, сделал все, что мог, чтобы похороны Марата были достойны его жизни. А теперь надо скорее приниматься за работу, писать, во что бы то ни стало писать. Неужели все передуманное за последние дни останется только с ним?

XIV

10 августа, меньше чем через месяц после похорон Марата, огромная процессия двигалась по улицам Парижа. Ранним утром она вышла с площади Бастилии и теперь направлялась бульварами к площади Революции.

Париж праздновал первую годовщину взятия Тюильри.

Торжество, подобного которому еще не знала столица, было организовано Луи Давидом. Он сам шел в начале процессии, в окружении членов Конвента, держа в руке букет из хлебных колосьев и живых цветов.

«Вот она, тяжкая и неуклонная поступь времени», — думал Давид. Гибель Друга народа была свежа в памяти парижан, но она не может и не должна омрачать высокой радости празднества: разве не во имя торжества народа отдал свою жизнь Марат? Удивительное время! Победы окрашены горечью потерь, потери становятся жертвами во имя победы. Из мира исчезли полутона: рядом стоят радость и отчаяние, зло и добро. После смерти Марата ожесточилась борьба: политические противники стали врагами, сомнения — изменой, промедление — предательством. Наступает апофеоз революции, и величественный и мрачный.

Запутанные узлы старых привилегий и интриг разрубает меч свободы. Позавчера, 8 августа, были, наконец, запечатаны двери Академии художеств.

Длительная борьба завершилась победой Давида и его единомышленников, более ничто не довлеет над волей живописцев и скульпторов, никто не ущемляет их прав и свобод. Еще несколькими днями раньше Конвент по настоянию Давида принял декрет об открытии в Лувре Музея искусств. Скоро парижане увидят картины и статуи, которыми прежде могли любоваться только короли и придворные. За два месяца, прошедших со дня, когда якобинцы захватили власть, искусство добилось большего, чем за все предшествующие годы революции. А сегодня на Марсовом поле будет торжественно провозглашена конституция, первая конституция, дающая патриотам истинную свободу.

Это шествие, над которым Давид уже давно и подолгу размышлял, должно стать живым подобием той многоликой и сложной реальности, которую так трудно, почти невозможно охватить взглядом. События последних лет, идеалы революции, радость свободы и пафос борьбы — выразить все это в процессии, в понятных и ярких символах; для этого нужен был человек, соединяющий в себе таланты полководца, декоратора, костюмера, живописца, актера и более всего человека, название профессии которого еще не существовало в ту пору — режиссера.

Как ни велики и значительны были события последних лет, мало кто мог представить в едином образе их размах и смысл. Все это легло на плечи Давида. Сегодня он мог созерцать плоды своей фантазии и чистосердечного увлечения делом.

Шествие растянулось почти на лье. Впереди колыхалось тяжелое знамя с изображением «всевидящего ока», глядящего сквозь облако, — символ конституции. Его держали представители народных обществ. Рядом с Давидом депутаты несли ковчег с досками, на которых был написан текст «Прав человека» и конституции. Следом шли комиссары восьмидесяти шести департаментов с пиками, вымпелами и оливковыми ветвями в руках.

За ними в нарочитом смешении двигалась огромная толпа людей различных профессий. Рядом шли

высшие чиновники правительственных комитетов, ремесленники, торговцы, судьи, представители колоний, каменщики, студенты — все с орудиями своих ремесел или знаками своего положения. Дети везли повозку в виде плуга, на которой восседали старик и старуха — живой символ любви и почтения к старости. Везли слепцов, несли младенцев из дома подкинутых детей. Квадрига белоснежных коней влекла за собой колесницу с урной, где был заключен прах героев борьбы за свободу, ее окружали родные погибших с цветами в руках. В самом конце процессии везли телегу с наваленными на ней атрибутами монархии, коврами, расшитыми лилиями, с обломками утвари из дворцов знати. На огромном знамени, рядом с повозкой, можно было прочесть слова: «Народ, посмотри на то, что всегда составляло несчастье общества». Развевались флаги, ароматный дым курильниц поднимался в ясное летнее небо, военный оркестр играл торжественные строгие мелодии, народ на бульварах встречал шествие овациями, радостными возгласами.

Солнце стояло высоко, когда процессия достигла площади Революции. Пушечные выстрелы возвестили ее приближение. Зазвучали устремленные в небо трубы установленного на площади органа, на нем играл Меро — лучший органист Парижа. К подножию статуи Свободы, установленной на пьедестале давно уничтоженного памятника Людовику XV, сложили символические подношения: тексты патриотических стихов и песен, трехцветные ленты, картины. Ниже под пьедесталом был разложен гигантский костер. На него бросили привезенные на телеге атрибуты монархии. Восемьдесят шесть комиссаров департаментов с разных сторон подошли к костру и в один и тот же миг поднесли к нему факелы. Яркие, заметные даже при солнечном свете языки пламени забились над дровами, темный дым пополз к небу. Радостные крики заглушили орган, шапки и чепцы полетели в воздух. Множество птиц, выпущенных одновременно, поднялись вверх, к солнцу, воплощая своим вольным полетом восторжествовавшую на земле свободу.



Вид Люксембургского сада. Масло. 1794.



Автопортрет. Масло. 1794.



Зеленщица. Масло. Около 1795.



Портрет мадам Серизиа. Масло. 1795.



Портрет Серизиа. Масло. 1795.



Генерал Бонапарт. Рисунок. 1797.



Генерал Бонапарт. Масло. 1798.



Бонапарт при переходе через Сен-Бернар. Масло. 1800.



Бонапарт при переходе через Сен-Бернар. Деталь.



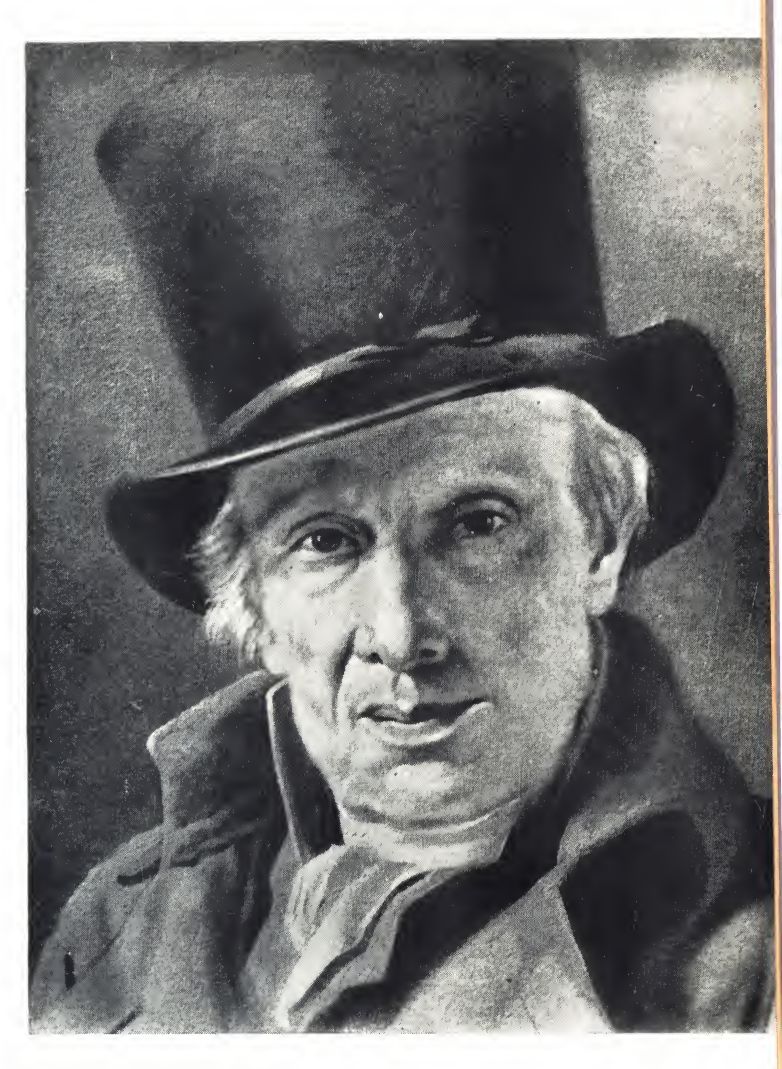
Портрет мадам Рекамье. Деталь.



Портрет мадам Рекамье. Масло. 1800.



Сабинянки. Масло. 1799.



Портрет старика. Масло.





Императрица Жозефина.
Рисунок. 1804.



Портрет папы Пия VII.
Масло. 1805.



Коронация. Масло. 1807.



Автопортрет. Масло. 1813.

На шее каждой птицы пестрела трехцветная лента с надписью: «Мы свободны, будьте, как мы». Крылатые посланцы несли во все концы Европы призыв французских патриотов.

На склоне дня шествие достигло Марсова поля — конечной своей цели. У Алтаря Отечества люди складывали инструменты, орудия своего ремесла, скоро целая гора серпов, лопат, клещей, топоров, молотков, самых разнообразных предметов вплоть до поварских ложек и скульптурных резцов выросла у алтаря. Эро де Сешелль, председатель Конвента, в трехцветном шарфе и украшенной перьями шляпе, объявил, что французским народом одобрена конституция 1793 года. Прозвучала клятва верности конституции, произнесенная многими тысячами голосов, эхо ее далеко прокатилось вокруг. Затем каждый комиссар поднес председателю прут, и де Сешелль, соединив их в один пучок, перевязал его трехцветной лентой: это был символ единения Франции.

Играл оркестр, играл орган, установленный и здесь, на Марсовом поле. Огромный хор запел специально написанный на мотив марша марсельских волонтеров гимн. Многие тысячи людей подхватили песню Руже де Лилля, которой суждено было вскоре стать гимном нации.

Празднество растекалось по разным концам Марсова поля. Плясали, пели, любовались пантомимой, представляющей различные эпизоды революции. Прямо на траве под навесами устраивались импровизированные обеды. Люди сегодня воочию видели завоеванную ими свободу. Она явилась им не только в символах, величественных и порой наивных, но более всего в радостном чувстве единения и братства. Ведь никогда и нигде, исключая далекую древность, не устраивались празднества, прославлявшие деяния народа.

Давид вернулся домой совершенно разбитым. Им владело чувство счастливого удовлетворения, необыкновенной полноты жизни. Редко кому выпадает на долю возможность создавать произведения неведомого прежде искусства с помощью многих тысяч

людей и воплощать в своих созданиях события, потрясающие целый мир.

Несмотря на усталость, он зашел в мастерскую, сунул в камин серную палочку, зажег свечи. Сел перед едва тронутым красками полотном. Это была картина, которая поглощала теперь все его дни и часы, свободные от общественных дел. Он работал над ней не только днем, но и при свечах и, засыпая, видел ее во сне.

Давид начал «Смерть Марата».

XV

Порой, стоя перед начатым холстом, Давид готов был поверить, что в пустой мастерской присутствует Марат. Он запечатлелся в памяти с такой ясностью, что рисунок, сделанный 13 июля, почти не понадобился Давиду.

Было страшно хоть на миг прервать работу. Он боялся, что память не выдержит напряжения, что начнет стираться жившая в его сознании отчетливая картина последних дней и смерти Марата. Но, напротив, воспоминание делалось все острее, временами становилось нестерпимым до боли.

Наступил тот период жизни Давида, когда все прежние мечты, надежды, размышления, представления о красоте и правде, весь накопленный за прежние годы опыт сконцентрировались в одной задаче, в одной точке. Он словно собирал посеянный в течение многих лет урожай своих замыслов и дел; даже прошлые ошибки теперь услужливо напоминали о себе, помогая не совершить их снова. Это не было внезапным озарением. Гибель Марата, потрясшая художника, затронула все лучшее, что жило в нем, дожидаясь своего часа. Наступило время высшей человеческой и творческой зрелости в жизни Давида.

Прежние картины были полны условностей, их оставалось много даже в «Ле Пеллетье». Они мешали видеть главное, подобно тому, как античные реминисценции порой скрывали от самого живописца суровую правду событий. Теперь надлежит забыть

все внешнее и показное, найти линии и краски, единственно достойные происшедшей трагедии. Надо отлить гнев и горе в такие формы, в которых и много веков спустя останутся и величие дел Марата и печаль, принесенная его смертью.

Давид начал работать с легкостью, удивившей его самого: картина настолько сложилась в его воображении, что казалось, дай руке волю и изображение само появится на холсте, как оттиск гравюры на бумаге. Он мгновенно улавливал любую фальшь линии, расположения предметов на полотне, он неуклонно следовал не видимому никому, кроме него, образцу готового произведения. Давид решил написать Марата в ванне в мгновение, сразу же последовавшее за смертью, слить воедино воспоминания о живом Марате и о его гибели.

Холст покрывался первой паутиной точных линий, в переплетении которых рождался единственно правильный окончательный контур. Давид не замечал времени, только резкая, подобная обмороку усталость заставляла его отходить от холста.

Он не успевал думать о себе, о своих делах. Своих мальчиков, отданных в пансион после отъезда мадам Давид, он почти не видел и очень страдал от этого. Но время, время! Где его взять, где взять две жизни, чтобы сделать все, чего требует от него нынешняя действительность?

Каждый раз, возвращаясь к холсту после проведенных в Конвенте или в Якобинском клубе часов, Давид приносил с собою груз сложных и противоречивых мыслей: он не только писал картину о прошлом, ею встречал он настоящее, полное событий, порой высоких, порой тягостных, а нередко и тех и других одновременно.

В середине сентября Давида избрали членом Комитета общественной безопасности.

Это была напряженная, тяжкая работа. Комитет должен был давать санкции на арест граждан, заподозренных в заговоре против республики, в связи с роялистами или неприятелем. Сотни писем, среди которых были и правдивые сообщения и доносы,

множество людей самых разных: честных и способных на любое предательство, — проходили перед глазами Давида. Впервые лицом к лицу встретился он с настоящими врагами, с людьми, замышлявшими против свободы, с теми, кто, как Шарлотта Корде, был готов на преступление.

Окончательное решение участи заподозренных в измене было в ведении трибуналов, но Давид понимал — от его подписи, внимания, проницательности зависит многое. Круглый значок в жилетном кармане был огромной силой, властной изменить в одно мгновение судьбу человека. Давид ловил на себе взгляды почтительно боязливые. Депутаты, чья совесть была нечиста, старались избегать общения с ним. Робеспьер теперь часто беседовал с Давидом, делился подозрениями, советовался, но чаще сам давал советы. Нередко, давая распоряжения начальнику полиции, разбирая секретную почту, Давид думал о том, как мало похож он на живописца. Да и люди, с которыми сейчас приходилось иметь дело, вряд ли помнили, что перед ними прославленный художник. В такие минуты Давид способен был удивиться, заметив пятно синего кобальта на манжетке. Неужели эта рука, только что подписавшая приказ об аресте, еще сегодня утром держала кисть? И все же эта работа, так бесконечно далекая от искусства, тысячей нитей связана с его живописью, ибо писал он Марата, человека сегодняшнего дня, жившего революцией и для революции. Он думал о «Марате», выступая в Конвенте, а речи свои обдумывал перед холстом.

Он был в самой гуще политики, картина его становилась борьбой, утверждением вечной жизни Марата, погибшего за свободу, обвинительным актом ее врагам. Он думал не только об окровавленном кинжале Корде, но и о людях, направивших этот нож. Не только воспоминания о Друге народа водили его кистью, но и события нынешних дней.

Он все приносил «Марату». Гнев, порожденный предательством, восхищение доблестью, надежды на скорую победу, горечь сомнений и счастливую уверенность. Давид оставался живописцем, революция

была для него не только системой государственных преобразований, но и живым действием, подвигом людей. Все это он воспринимал более всего зрительно, и зрительным выражением революции был Марат на его еще не написанной картине.

Не только в искусстве, во всей жизни Луи Давида настало мгновение полного дыхания, высшего напряжения чувств и способностей, когда человек в состоянии сделать за один год то, на что в другое время ему понадобилось бы много лет.

Каждый день Давид бывал на заседаниях Конвента. Почти каждый вечер — на собраниях Якобинского клуба. Много часов проводил в Комитете общественной безопасности. Занимался с учениками, составлял программы празднеств, проекты медалей, организовывал экспозицию в новом Луврском музее. Работал над большим эскизом нового занавеса для национального театра. И, наконец, писал «Марата», который, кажется, станет его шедевром.

...Наступила осень. Рано смеркалось; туманы цеплялись за кровли Лувра, мастерская скудно освещалась отблесками хмурого неба. Приходилось много работать при свечах, тем более что самые светлые дневные часы Давид обычно проводил в Конвенте.

И в большом, и в малом, и в хорошем, и в дурном Давид был свободен от мелких чувств, суетных забот.

Слишком близко друг к другу стояли доблесть и предательство, смерть и торжество свободы, чтобы замечать рядом с ними обычные радости и печали. Жизнь для него уподоблялась античной трагедии, где царствовали могучие добродетели, великие пороки, где герои в мгновение ока возносились на Олимп или проваливались в мрачное царство Аида. Надо было научиться управлять своим сердцем, не давать чувству возобладать над разумом; чтобы победить врагов революции, надо было забыть о личных симпатиях, о былой дружбе.

Начинался процесс над руководителями Жиронды. Еще до этого должны были судить королеву Марию Антуанетту. Нож гильотины поднимался над те-

ми, кто дал нож в руку Корде. Приходилось бороться с расхитителями хлеба, с изменниками генералами.

Действительность становилась день ото дня суровее. Суд над Марией Антуанеттой закончился в три дня. 16 октября Давид из окна квартиры одного депутата наблюдал процессию, совершавшую короткий путь из Консьержери к площади Революции, на место казни. Давид не был жесток, зрелище человеческой смерти не могло его радовать. Но это больше чем смерть — это один из последних актов уничтожения монархии, он необходим, неизбежен.

В телеге на куче соломы сидела женщина, чье имя олицетворяло бесстыдное мотовство и коварнейшие заговоры двора. У революции не было, пожалуй, более последовательного и злобного врага, чем бывшая королева Франции. Ей всего 38 лет, но сейчас она походила на старуху. Седые, неряшливо и торопливо обрезанные волосы торчали из-под чепца, оплывшее тело покачивалось в такт движению повозки. На лице Марии Антуанетты застыло выражение такой бесконечной ненависти, что королева могла бы показаться страшной, если б не была жалка.

В мгновение, когда повозка поравнялась с окном Давида, он до боли напряг взгляд. В память остро впечаталось лицо с брезгливо опущенной нижней губой, лицо, не выражавшее ничего, кроме ледяной, всепоглощающей злобы. Несколькими штрихами пера Давид набросал портрет королевы со связанными за спиной руками. Она была похожа на всю французскую монархию, обреченную, потерявшую блеск, но непримиримую в ненависти к революционному народу.

Невольно Давид вспомнил день своей молодости, дорогу в Неаполь и встречу с неаполитанской королевой Марией Каролиной, родной сестрой Антуанетты. Знала бы тогда эта надменная королева, что она разговаривает с живописцем, кто четырнадцать лет спустя будет рисовать Марию Антуанетту в телеге палача!

Под рисунком Давид написал, побуждаемый внезапным желанием засвидетельствовать подлинность

наброска и придать ему право документа: «Портрет Марии Антуанетты, королевы Франции, препровождаемой на казнь, нарисованный пером Давида, зрителя, видевшего процессию, находившегося у окна гражданки Жюльен, супруги депутата Жюльена».

Неясный и грозный шум, эхо барабанов, донесшиеся с площади Революции, возвестили о том, что нож гильотины упал. Давид вернулся в мастерскую, недовольно разглядывал полотно. Многого в нем еще не хватало. Как передать эту неповторимость времени, смутного, великого, полного гордых побед, смертей, надежд, и эту ожившую в суровых сегодняшних буднях чистоту античной борьбы против тиранов?

Через две недели после казни королевы были казнены главари жирондистов и в их числе Бриссо, Верньо, Кара.

6 ноября казнили герцога Орлеанского — Филиппа Эгалите. В Бордо казнили Барбару.

Якобинский Конвент не имел иного выхода. Врагов и изменников можно было устрашить только смертью. Железное кольцо сжималось вокруг республики: заговоры роялистов и других противников Горы грозили гибелью революции и всем ее завоеваниям. Надо было удержать все завоеванное любой ценой, и во имя этой цели революционные комитеты и трибуналы приняли на себя нелегкую долю осуществления террора.

Шел брюмер — самый унылый, сырой месяц нового календаря. Во дворце правосудия непрерывно заседал революционный трибунал. Тюремные повозки — «корзины для салата», как называли их в Париже, — доставляли все новых арестованных в Консьержери.

Давид продолжал работать яростно, страстно. Подобно тому как борьба революции подходила к своему апогею, картина Давида обретала все большую ясность мысли, мужественную чистоту контуров, спартанскую скупость цвета. Сегодня, чтобы показать великое, нет нужды становиться на котурны, достаточно быть правдивым.

Но вот настал миг, когда, подняв кисть, Давид

не положил мазка на холст. Он отошел в глубь мастерской, прищурил усталые глаза, чтобы охватить взглядом всю картину целиком. Он был один в мастерской. Стояла тишина. Только потрескивало в камине большое догорающее полено. Да, картина окончена. Давид знал это не только потому, что видел вполне завершенное, отделанное до мелочей полотно. Он знал это по потрясающей пустоте в душе — все, что томило и тревожило его воображение в последние месяцы, все, что торопило кисть, лишало сна и спокойствия, осталось теперь на холсте.

Много раз в своей жизни приходилось Давиду испытывать это тревожное чувство радости и пустоты, чувство оконченной работы. Но никогда прежде не приходило к Давиду ощущение, что ему удалось остановить само время. А сейчас с холста смотрел суровый облик эпохи: событие, потрясшее сердца людей, навсегда осталось в картине. Долгие часы в римских галереях, рисовальных классах, сомнения и поиски, и «Горации», и «Брут» — все это были ступени, приведшие его сегодня к созданию «Марата». Здесь жестокая реальность соприкоснулась с высокой героикой, достойной древних, и воплотилась в образ равно сегодняшний и вечный. Только искусство, которое до конца воплотило современность, может надеяться на признание потомков.

XVI

25 брюмера второго года республики новая картина Луи Давида была доставлена в Конвент.

Депутаты молча смотрели на холст, неожиданно простой, холодный. Скептики, знатоки искусства, тонкие ценители — а таких было немало в Конвенте — не нашли что сказать. Это уже выходило за грань искусства, это была смерть во всей своей потрясающей простоте. Что можно сказать о такой картине? Искусство исчезло за внезапно воскрешенным всем памятным событием. Никто еще не видел такого Марата: мертвого и одновременно живого, ибо ни разу со дня его убийства он не казался таким живым, как

сегодня; Марата, некрасивого — картина была правдива, прекрасного — ибо все лучшее, что было в нем, жило в холсте. Словом, это полотно, как и герой его, не укладывалось ни в какие привычные понятия. Депутаты были восхищены, встревожены.

Давид понял это, волнение зала передалось ему. Он поднялся на трибуну.

— Народ призывал своего друга, слышался его скорбный глас. Народ обращался к моему искусству, желая вновь увидеть черты своего друга. «Давид! Возьмись за свою кисть! — вскричал он, — отмсти за нашего друга, отмсти за Марата! Пусть его побежденные враги побледнеют, увидев вновь его изменившиеся черты! Заставь их завидовать участи того, кого они, не будучи в состоянии подкупить, имели низость приказать умертвить».

Я услышал голос народа, я повиновался ему.

Спешите все! Мать, вдова, сирота, угнетенный солдат, все вы, кого Марат защищал до погибели своей жизни, приблизьтесь! И посмотрите на своего друга; того, кто стоял на страже, уже нет. Его перо, ужас изменников, выпадает из его рук. О горе! Ваш неутомимый друг мертв!..

...В ином случае слова Давида могли бы показаться высокопарными, но запрокинутое лицо мертвого Марата смотрело с холста, и не одному депутату казалось в эту минуту, что Марат вернулся в Конвент.

— Я вызываю тебя, отвратительная клевета! — продолжал Давид. — Да, я тебя увижу когда-нибудь, — и этот день недалек, — душащей своими собственными руками твоих высохших змей, умирающей от бешенства, отравленной собственным ядом. Мы увидим аристократию исчерпавшей себя, растерявшейся, не смеющей больше показаться. И возрадуется тогда твой прах, Марат, во глубине могилы. Ты уже не будешь жалеть о своей смертной оболочке, твоя славная задача будет выполнена. И народ, во второй раз увенчивая твои труды, понесет тебя на руках в Пантеон.

Вам, мои коллеги, предлагаю я приношение моей

кисти. Ваши взгляды, скользнув по посиневшим и окровавленным чертам Марата, напомнят вам о его добродетелях, которые не перестают быть и вашими добродетелями.

Граждане, когда наши тираны обманом держали еще в заблуждении общественное мнение, народ перенес Мирабо в Пантеон. Теперь добродетели, усилия народа разрушили авторитеты. Теперь истина обнаруживает себя, и перед ней слава королей рассеивается, как тень. Пусть порок, пусть нечестие бегут из Пантеона. Народ зовет туда того, кто никогда не ошибался. Я прошу для Марата почестей Пантеона!

Быть может, не будь в зале картины, речь Давида, хоть и прочитанная с пылом, но полная выспренних оборотов и пышных фраз, не произвела бы на депутатов большого впечатления. Но речь произнес человек, своими руками создавший это удивительное полотно, и поэтому слова его казались исполненными особого значения.

Почти никто из депутатов не отрывал глаз от полотна.

Оно властно притягивало к себе взгляды.

Верхняя часть картины была темной. Желто-зеленый сумрак, прозрачный, бесконечный, растворял в себе стены комнаты. Бесстрастный холодный блеск дня вырывал из этого сумрака только тело Марата. Он лежал в ванне, неподвижный, мертвый. Кровь стекала на купальную простыню и в ванну, окрашивая воду в зловещий красный цвет.

Обмотанная полотенцем голова откинулась назад, сквозь приоткрытые губы слетело последнее дыхание. Смерть остановила, лишила смысла движения человека. Только что глаза, руки, мозг смотрели, писали, мыслили. Теперь ненужное перо воткнулось в пол, забрызганное кровью письмо убийцы готово выпасть из руки Марата, а закрывшиеся веки навсегда скрыли мир от его глаз.

Темная тень, упавшая на грудь, будто придавила дыхание, стала зримой печатью смерти.

Немые свидетели трудов и жизни спокойно оста-

лись на своих местах. Простая чернильница, перо на деревянной плахе, ассигнация рядом с запиской, отсылавшей деньги жене патриота, ушедшего в армию.

Мука и усталость застыли на лице Марата. Рука с пером коснулась пола в нескольких дюймах от брошенного здесь же окровавленного ножа.

И спокойным, завершающим аккордом звучала надпись на деревянной плахе, способная своей краткостью поспорить с языком Лакедемона: «Марату — Давид».

Будь здесь спокойный человек, способный размышлять о тонкостях искусства, он, без сомнения, нашел бы в картине множество редких и высоких достоинств. Он заметил бы совершенство рисунка, ту аскетическую точность линий, которые доступны лишь мастеру, до конца познавшему секреты древних; ни одного лишнего изгиба, поворота нельзя было отыскать в контурах четких и ритмичных, как латинские стихи. Можно было бы оценить превосходно найденное расположение фигуры Марата в холсте: лицо находилось как раз на линии горизонта, оно сразу же притягивало к себе взгляд зрителя. Можно было бы оценить строгое и точное распределение резких теней, которые своим спокойным ритмом вносили в картину и драматическое напряжение и скорбную торжественность траурного марша. Знаток без труда отыскал бы в полотне отлично найденное равновесие частей, дававшее картине незыблемость мраморного памятника, и вместе с тем присутствие скупых и трогательных деталей, сообщавших полотну теплоту и человечность, заставляющих людей вспоминать подлинного, живого Марата. Легко было бы, наконец, заметить сдержанную силу колорита, сурового и холодного, в котором так зловеще и остро выделялись красные пятна крови и окровавленный нож.

Но истинное искусство тем и примечательно, что оно вызывает не желание рассуждать, а живое волнение. Не картина с ее действительно необыкновенными находками и достижениями, не красоты чистого и благородного стиля, а сам Марат во всем величии

своих дел и своей смерти был перед глазами зрителей.

Многие депутаты испытывали горькую гордость: эта картина едва ли не самый сильный образ революции, который останется потомкам. И невольно каждый видел в картине свое время, свою судьбу, свою жизнь, которая каждую минуту могла оборваться и которая в глазах будущих поколений будет, наверное, окутана такой же торжественной скорбью. В полотне было гораздо большее, чем судьба Марата. Здесь жила эпоха равно трагическая и величественная, где были самозабвенная работа, наивные и пылкие надежды, высокие идеалы, жестокая смертельная борьба и горячая кровь, обагрявшая почти каждый шаг революции.

Вторая картина Луи Давида была повешена в зале Конвента. Два мученика революции — Ле Пеллетье и Марат безмолвно напоминали своим коллегам о коварстве врагов и о том, что «тем, кто умирает за отечество, не в чем себя упрекнуть».

XVII

16 нивоза второго года Жак Луи Давид принял на себя обязанности председателя Национального конвента. Хмурым утром взошел он на помост и опустился в председательское кресло, в котором сидели в свое время и Дантон и Робеспьер. Оглядел зал. Сегодня он, Давид, — главное лицо во Французской республике.

Перед ним на столе — тяжелый колокол, ручка которого отполирована руками многих депутатов, бывших до Давида председателями. Иных из них уже не было в живых: они сложили головы на гильотине.

Депутаты сидели на скамьях амфитеатра. Сотни знакомых людей: друзья, враги, единомышленники и противники. Военные мундиры, темные каррики с большими воротниками, фраки с медными пуговицами, полосатые жилеты, шелковые чулки, грубые длинные панталоны. Усталые лица, настороженные

взгляды. Люди переговаривались, о чем-то спорили. Странно не видеть рядом с собой товарищей, не иметь возможности обменяться словами с соседом.

Бывшее помещение театрального зала или зала Машин Тюильри, ныне Дворца нации, ничем не напоминало сейчас пышный зал, где некогда ставил свою «Психею» Мольер, где играли свои спектакли Опера и Французский театр, где танцевала Гимар, чей портрет в годы молодости писал Давид. Темно-зеленые драпировки, изображения ликторских пучков были единственным украшением зала заседаний Конвента. Статуи античных мудрецов пустыми мраморными глазами смотрели на депутатов. За спиной Давида на больших досках тексты «Декларации прав» и конституции. Три флага над его головой спускались тяжелыми складками. За окнами напротив разгоралась тусклая заря нивоза.

Он взял колокольчик, встряхнул его. Гулкий звон разнесся вокруг. Постепенно, как бы нехотя, смолкли голоса. Секретари обмакнули перья в чернильницы. Давид сообщил повестку дня, предоставил слово первому оратору.

...Он не заметил, как угас короткий день. Заседание кончилось. Давид последним вышел из опустевшего зала. Погруженный в раздумье, он шагал по аллее Тюильрийского сада к Лувру. Тонкий лед хрустел под каблуками его ботфортов.

Эти зимние дни надолго остались в памяти, дни, когда он председательствовал в Конвенте. Все, что происходило во Франции, незримо было связано с ним. Известия приходили хорошие. Дела Французской республики сейчас обстояли много лучше, чем осенью. Несколько дней назад рейнская армия, во главе которой Комитет общественного спасения поставил двадцатипятилетнего генерала Лазаря Гоша, разбила австрийцев и пруссаков. Келлерман на юге одержал победу над соединенными австро-сардинскими войсками. Недавно пришла весть об освобождении французскими войсками Тулона, занятого испанским и английским флотами. Робеспьер показывал Давиду письмо своего младшего брата Огюстена,

бывшего комиссаром Конвента в тулонской армии. Огюстен писал, что республика обязана этой победой его другу артиллерийскому капитану, корсиканцу, фамилию которого Давид забыл. Этот артиллерист сумел так выгодно расположить орудия и так организовать стрельбу, что республиканским войскам удалось быстро овладеть важнейшими позициями, с которых пушки начали пальбу по неприятельским кораблям. В военное министерство тоже дошли сведения об этом капитане. Готовился приказ о производстве его в бригадные генералы.

Словом, армия республики оказалась сильнее сытых, отлично обученных вооруженных войск коалиции.

Но внутри республики дела обстояли куда хуже.

В Якобинском клубе, в Конвенте, люди напряженны, не доверяют друг другу. К несчастью, для этого есть основания. Еще осенью в Комитете общественной безопасности Давид познакомился с доносом Фабра д'Эглатина, где говорилось об огромном заговоре против республики. Однако теперь выяснилось, что в заговоре виновны прежде всего сам Фабр и его друзья, донос был только ловким ходом. Сложные и запутанные нити заговора тянутся к виднейшим деятелям Конвента. В решающие минуты отрекся от Робеспьера и выступил против его политики Камилл Демулен. Становилось понятно, кто по-настоящему верен революции, а кто готов остановиться на полдороге. Те, кто сейчас колеблется, могут завтра стать врагами. Лучше других Давид знал — скоро придется начать жестокую борьбу против вчерашних единомышленников. Близятся новые аресты, быть может казни. Жестокая, неумолимая необходимость не оставляет выбора: революция либо проявит должную решимость, либо погибнет. Как говорили римляне: «tertium non datur» *.

Рядом с этими мыслями — множество других забот: из рук вон плохо складываются дела в новом музее. Правда, Лувр уже открыт для посетителей, и,

---

* Третьего не дано *(лат.)*.

несмотря на трудные времена, народу там много, но ведь это только меньшая часть дела. Драгоценные коллекции в отвратительных условиях. Неряшливая реставрация губит картины. Часть хранившихся в королевских библиотеках старых рисунков расхищена. Музейная комиссия состояла из людей равнодушных и малоспособных. Некоторые из них были связаны с жирондистами. Комиссия не сделала почти ничего, чтобы спасти положение. Приходится распутывать клубок нелепых интриг, преступного небрежения и невежества, чтобы навести порядок в музее, видимо, придется потратить еще немало сил на эту работу. Надо найти честных и образованных патриотов, художников, которым нация может доверить хранение ценнейших произведений искусства, надо добиться в Конвенте расформирования прежней комиссии и назначения новой.

Давиду пришлось думать и о создании новой художественной организации взамен упраздненной Академии художеств. Впервые делегация Народного и республиканского общества искусств появилась у решетки Конвента в дни председательства Давида. Мало к кому обращался Давид с такой горячностью.

— Искусства вновь приобретут все свое достоинство, — говорил он, — они не будут проституировать себя, как прежде, изображая действия надменного тирана. Полотно, мрамор, бронза будут состязаться в стремлении передать потомству неутомимое мужество наших республиканских фаланг. Ведь в древности наряду с достопамятными делами сиял гений искусства. Доблести возрождаются, удивленная Европа созерцает их, они возбуждают ваши усилия. Художники, исполните вашу задачу. Вы боитесь интриги, говорите вы. Ее царство кончилось вместе с королевской властью, она эмигрировала. Талант один только остался, представители народа найдут его повсюду, где он проявится. Наши враги, побежденные оружием, будут побеждены также и искусствами. Такова наша судьба, этого хочет гений, парящий над Францией.

Приходилось Давиду заботиться и о работе мануфактуры гобеленов и даже рисовать проекты новых мундиров для республиканской армии и гражданских чинов. Давид хотел соединить в новых костюмах античность и современность, фантазировал, изобретал. И на все это приходилось выкраивать время между важнейшими заседаниями Конвента и Комитета общественной безопасности.

Работа в Комитете подавляла Давида. Надо было обладать ледяным умом, нечеловеческой волей и выдержкой, чтобы не растеряться, не пасть духом, не ожесточиться в повседневной погоне за врагом подлинным и нередко мнимым; надо было обладать хладнокровием хирурга, всегда помнящего, что, рассекая живую ткань, он спасает организм от гибели. Давид сознавал — работа Комитета необходима республике, но сердце его сжималось при мысли о людях, погибших на эшафоте, умиравших в тюрьмах. Давид не умел, подобно Робеспьеру, видеть действительность бесстрастным взглядом человека, прозревавшего за сегодняшней жестокостью завтрашнее торжество свободы и человечности. Он не находил в себе сил дать санкцию на арест, оттягивал решение, старался предоставить его своим коллегам. Несколько раз просил отпустить его из Комитета, но получал отказ. Порой корил себя за слабость, упрекал в желании предоставить тяжкую работу другим, а самому заниматься лишь искусствами и просвещением. Но сделать ничего не мог. Каждый раз, выходя из Конвента и шагая сумрачным коридором в помещение Комитета, Давид испытывал беспокойство и тревогу. Видимо, он не создан для высокой миссии охраны государства и мести его врагам. Он старался не выступать с докладами от имени Комитета.

Зато все связанное с культурой, с прославлением дела революции и ее героев, с безжалостной борьбой за чистоту патриотических искусств было бесконечно дорого Давиду. Он готов был просиживать ночи напролет за проектами празднеств, процессий, памятников. Он готов был, наконец, не жалеть сил на любую работу для республики. Он гордился своей

должностью председателя Конвента. Что и говорить, возглавлять Конвент в дни нивоза — нерадостный, хоть и почетный удел.

Вскоре Камилл Демулен едва не был исключен из Якобинского клуба. Только вмешательство Робеспьера спасло его. Робеспьер надеялся, что Демулен способен вернуться к прежним взглядам. Надежды эти не оправдались впоследствии.

В Комитете общественной безопасности подписан приказ об аресте Фабра д'Эглатина, чья виновность в заговоре против республики окончательно установлена. Фабр — друг и секретарь Дантона. Тень подозрения нависла и над ним, над человеком, кто, казалось, всегда был во главе революции... Одновременно председательствуя в Конвенте, заседая в Комитете и Якобинском клубе, Давид остро ощущал беспокойство и неуверенность, охватившие многих депутатов, растущее недоверие друг к другу. С каждым шагом революции вперед все новые люди отставали, боясь неведомого и опасного пути. Продолжали путь лишь те, кто видел лучше других, те, кто верил в победу вопреки сомнениям и усталости. Таким был Давид, ибо, как в дни молодости, он ненавидел компромиссы, не умел ничего делать наполовину. Да и как можно было не верить, когда каждый день и час приносили новые доказательства мужества и благородства истинных патриотов.

2 плювиоза Конвент принял делегацию отрядов, вернувшихся из Вандеи. В зал вошли солдаты и офицеры, которых нельзя было отличить от солдат. С лицами, желтыми от лихорадки, в мундирах, изорванных и потерявших цвет, в разбитых сапогах, они казались моряками, потерпевшими кораблекрушение. Депутаты знали, что такое Вандея: леса и болота, огромная, отлично вооруженная армия мятежников, чудовищная жестокость к пленным республиканцам, непрерывный бой, голод, болезни. Если республиканские солдаты были героями, то среди них первыми были те, кто сражался с вандейцами. На них смотрели с восторгом, с удивлением и нежностью. Эти люди, чудом избегнувшие смерти, с недоумением и

радостью разглядывали стены Конвента, который там, в лесах, казался им обителью богов, надеждой и славой Франции.

Аплодисменты государственных мужей удивляли солдат. Словом, эта встреча стала одним из тех искренних и прекрасных моментов, которыми так богаты были революционные годы. Давид с радостью смотрел на происходящее, видя в нем истинную реальность революции. Речь, с которой он, как председатель Конвента, обратился к солдатам, звучала с необычной для него теплотой:

— Мстители за отечество, разрушители королевской власти и суеверия в Вандее! Какое зрелище являете вы представителям всей республики! Может ли существовать более прекрасное свидетельство преданности отечеству, чем ваши раны, чем заслуживающие всяческого уважения шрамы, которые вас украшают!..

Старцы, ваши дети достойны вас. Солдаты, вы достойны отечества! И вы, отцы, матери, супруги, дети, видящие в этих воинах самые дорогие вам предметы любви и сопровождающие их сюда, — вы счастливы, потому что вы можете обнять родных вам защитников отечества. Друзья, добродетель пережила преступления, так как вы живы, а Вандеи уже нет. Это триумф только республиканцев. Рабы, скройтесь, вы не можете быть участниками этого триумфа, вы не можете им подражать. Национальный конвент с чувством умиления снова видит вас и приглашает с почетом принять участие в заседании.

Депутат Шалье, поднявшийся на трибуну после речи Давида, сказал:

— Деспоты раздавали кресты Святого Людовика. Только что положили на бюро лавровый венок, который заслужили защитники свободы. Представители народа, я прошу, чтобы ваш председатель роздал каждому солдату по листку от этого венка.

— Их не хватит на всех! — ответил Давид.

Новые аплодисменты были ему ответом. Депутаты поднялись с мест, многие спустились вниз, на площадку перед трибуной, где стояли солдаты. Сойдя

с помоста, Давид пожимал загрубевшие руки солдат. Они теснились вокруг него, ведь для них он был олицетворением республики, первым человеком в свободной Франции. Давид обнял и поцеловал одного из солдат, почувствовал на своей щеке прикосновение колючей щетины, прямо перед собой увидел полные слез глаза седого гренадера. Он переходил из объятий в объятья, каждый хотел обнять председателя Национального конвента. С особой нежностью обнял Давид человека, опирающегося на костыли, — он, видимо, был ранен тяжелее других. «Да здравствует республика!» — закричали в эту минуту солдаты, и стены Конвента будто задрожали от этого крика, с которым, должно быть, шли в атаку герои вандейских боев.

В такие минуты сомнения и усталость без остатка растворялись в радости. Конвент действительно становился сердцем страны, и революция делалась зримой, осязаемой, казалась непобедимой.

В этот день окончился срок председательства Давида в Конвенте. Он уступил свое место Вадье.

XVIII

С жерминалем в Париж пришла тревога. Парижане привыкли ко многому за последние годы, но нынешние события способны были обеспокоить кого угодно.

Нож гильотины навис над Дантоном.

Человек, который столько лет был одним из вождей революции, которого чтили и любили в Париже как действительно отважного и решительного политика, умевшего порождать и усмирять бури, — этот человек заподозрен в предательстве, в заговоре против республики. Это казалось невероятным.

Стояла ранняя пленительная весна с теплыми неожиданными дождями, блеском солнца на куполах Пантеона и собора Инвалидов, с первыми ласточками в еще бледном небе, с душистыми ветрами, пахнущими влажной землей. Снова на улицах появились столы с дымящимися суповыми мисками — участни-

ки «общественных трапез» вынесли на свежий воздух свои обеды.

Жизнь брала свое, весна влекла людей в Сен-Жермен, в Венсеннский лес, на берега реки. Иногда где-нибудь в уединенной аллее Тюильрийского парка Давиду представлялось, что ничего не изменилось в Париже, что он еще молод и ждет Римской премии. Так спокойно и весело в саду, где дети играли в волан, а няньки с кокардами на чепцах, строили глазки солдатам, что не хочется верить в ту запутанную и драматическую реальность, которая в двух шагах отсюда, во Дворце нации, была так осязаема, так несомненна.

Давид не был пылким почитателем Дантона, но, подписывая вслед за другими членами Комитета постановление об его аресте, он испытал если не сомнение, то глубокое смятение. Решение об аресте было принято на совместном заседании обоих комитетов. В Комитете общественного спасения, как известно, решающая роль принадлежала Робеспьеру, а ему Давид верил во всем. Уверенность Робеспьера избавляла Давида от тягостной необходимости подробно разбираться в невероятно запутанной и противоречивой истории преступлений Дантона. Это была длинная цепь ошибок, компромиссов, соглашений с жирондистами, легкомысленного бездействия и необдуманных поступков. Для Дантона революция уже окончилась. Он не хотел ее продолжать, он протестовал против террора. Любя мирские блага, он не всегда добивался их чистыми средствами, был женат на дочери роялиста. Но он еще сохранял свое влияние. И это было опасно для революции.

Дантона, Демулена и двух других их единомышленников арестовали в ночь на 11 жерминаля.

В Конвенте с обвинительной речью выступил Сен-Жюст. В ней было все, что может сокрушить противника: убийственная логика, тщательно выбранные и сгруппированные факты и рядом с этим предположения и догадки, облеченные в форму неотразимых обвинений, домыслы, превращенные волей оратора в действительность.

В революционном трибунале борьба стала ожесточенной. Дантон был могучим противником, и сокрушить его порой казалось немыслимым. Все возможные и невозможные средства были применены, чтобы добиться скорейшего обвинения и приговора.

16 жерминаля Дантон и Демулен умерли на эшафоте.

Шаг за шагом Робеспьер и его сторонники устраняли на пути революции всех, кто мешал ее движению. Пока логика истории оставалась на их стороне, террор способствовал революции. Но даже Робеспьер порой не отделял своих политических противников от настоящих врагов, и кровь предателей и изменников мешалась с кровью истинных патриотов. Так погиб Анаксагор Шометт, революционер и человек чистейшей души, вождь Парижской коммуны, более всего на свете заботящийся о бедняках и рабочих.

Давид верил Робеспьеру и верил в святую необходимость террора. Иногда, очень редко, он пытался спасти тех, кто казался ему невиновным. Это почти никогда не удавалось. Даже своему родственнику, генералу Серизиа, он не смог помочь.

Он верил Робеспьеру, его честности, уму, преданности революции. Не будь в нем этой веры, он тотчас захлебнулся бы в океане противоречий и сомнений, ему пришлось бы выбирать собственное политическое кредо, что было сейчас очень сложно для такого человека, как Давид. Ибо он был способен на преданность и самозабвенную работу, на самоотверженную любовь к свободе, на воплощение ее идей в высоких созданиях своего искусства. Но он не умел разобраться до конца в головоломных путях политики. Он видел вокруг себя людей хороших и дурных и видел их поступки, споры и судьбы, видел героизм, мужество, нередко предательство. Но различить за ними пружины исторических закономерностей он не мог. Ведь и Робеспьеру они не могли открыться до конца. И потому Давид видел революцию глазами Робеспьера, ибо нуждался в глазах, более зорких, чем его собственные, чтобы понять, что происходит в мире.

Работал он мало. «Марат» словно взял его силы на много месяцев вперед. Зато дела его в Комитете просвещения шли отлично. Конвент утвердил новую музейную комиссию. По предложению Давида туда вошли его ученик Викар и старик Фрагонар, последний представитель галантной живописи уходящего века, тонкий и поэтичный художник. С годами Давид утерял прежнюю нетерпимость и научился ценить большое искусство, даже если оно осталось ему чуждо. Докладывая Конвенту о кандидатуре Фрагонара, Давид говорил, что «он является в одно и то же время знатоком и великим художником», что «он посвятит свои преклонные годы хранению шедевров, в умножении которых он принимал в молодости участие». Кроме Викара и Фрагонара, в комиссию вошли также реставратор Пико, скульптор Жюльен, пейзажист Лесюер и несколько других художников, архитекторов и литераторов.

Кроме музейной комиссии, было назначено новое жюри — Национальное жюри искусства, как стали его называть, куда вошли не только художники, но и писатели, ученые, среди которых был Гаспар Монж, два актера, один из них — старый друг Давида, Тальма, архитекторы, торговец картинами и даже несколько ремесленников.

Свободное искусство могло торжествовать победу. За срок ничтожно короткий было уничтожено все, что так давно препятствовало развитию художества. Да, если результаты революции ценить только по положению искусства, то все вопросы можно счесть блистательно решенными.

Когда Давид занимался делами музеев или художников, он почитал себя счастливым. Каждый день приносил новые радостные свидетельства решительного переворота, совершившегося в искусстве республики. Художники, свободные от прежних унизительных ограничений, стали полноправными участниками жизни, многие из них заседали в Конвенте и революционных комитетах, другие сражались под республиканскими знаменами на границах страны. Даже старик Вьен, прежде непримиримый к новым прин-

ципам искусства и глубоко оскорбленный закрытием академии, теперь работал над большим рисунком «Триумф республики». «Это дар, — писал он в Комитет просвещения, — который я спешу принести закону, и пример, который я считаю себя обязанным на старости лет дать молодежи. Привет и братство.

Вьен».

В победах искусства Давид мог видеть следы своих усилий и воплощение идеалов, которые он вынашивал в годы молодости. Простой и благородный наряд, подобный античным плащам, выбранный революцией, появился не без участия Давида. Конечно, он не догадывался, что античное обличье необходимо буржуа, желавшим выглядеть суровее и бескорыстнее, чем на самом деле. Он просто сделал зримыми идеи времени.

Ничего или почти ничего не осталось ныне от жеманного искусства Буше, некогда так любимого Давидом. Ясная простота стала единственной богиней, первым ее жрецом и друзья и враги называли Давида.

Все большие революционные празднества в Париже создавались по программам и проектам Давида.

Новое торжество намеченное на 20 прериаля, тоже поручили Давиду. Никогда, пожалуй, не встречался он с более трудной задачей. Всю жизнь он уделял мало внимания религии, почти никогда не писал религиозных картин, а сейчас он должен организовать праздник в честь нового божества, пришедшего на смену прежнему католическому богу, в честь Верховного существа.

Странный это был культ, рожденный равно требованием времени и холодной фантазией Робеспьера. Идеи революции развивались вместе с новой наукой о природе и государстве, это значило — вместе с атеизмом. Прежний бог феодалов и королей, оправдывавший старый уклад жизни, не мог более существовать, безжалостно скомпрометированный собственными служителями. Но оставить народ без ре-

лигии не решалось даже правительство якобинцев; да и кто мог декретировать атеизм в годы, когда смотреть на мир трезвыми глазами, лишенными с детства привычных предрассудков, могли лишь немногие. И как отказаться от единой идеи, способной влиять на воображение и поступки каждого француза?

В середине флореаля Робеспьер предложил ввести культ Природы, культ Верховного существа, смелое и наивное сочетание прежней веры и революционной философии, где смешались идеи Руссо и монтаньяров — вера в бессмертие души, верность гражданским добродетелям, братство людей, боязнь безбожия, взгляд на природу как на первое божество. Все же этот культ был принят почти восторженно, в нем люди находили древние обычаи, облагороженные новыми идеями и передовой мыслью.

То, что могло озадачить философа и привести в смятение теософа, не смутило художника. Чем больше новых и невиданных образов приходилось воплотить в реальность, тем больше простора фантазии Давида. Он с жаром сочинял торжественную программу праздника, еще более пышную, чем на празднике 10 августа.

20 прериаля Париж наполнился запахом роз. Гирлянды цветов украшали дома, на мостовых и тротуарах лежали лепестки и зеленые листья. Каждый парижанин, имевший треугольный кусочек картона с печатью, служивший пропуском на праздник, торопился к площади Революции, к Тюильрийскому саду. Там высилось чудовищное изваяние атеизма, сожжение которого было центральным событием праздника. Сам Робеспьер — в эти дни председатель Конвента — поднес факел к скульптуре. Огонь разгорелся с легким торопливым треском, обгорелый картон осыпался на землю, и статуя Мудрости появилась в облаке дыма и пепла. Она находилась внутри изображения атеизма.

Шествие, бесконечное и торжественное, потянулось через весь Париж. Медь военных труб бросала веселые блики в глаза зрителей, двести палочек отбивали дробь на ста барабанах в начале процессии

и столько же — в конце. Играли два больших оркестра. Быки везли колесницу, на которой красовалось подобие античного трофея, составленного из инструментов, орудий земледельцев, ремесленников, художников. Шли многие сотни людей — представители секций, депутаты Конвента, женщины, старики, дети, солдаты, кавалеристы, канониры, саперы. Шел и сам Давид, руководивший движением процессии, оба его сына — Жюль и Этьен — шли об руку с ним. На Марсовом поле, на специально воздвигнутой искусственной горе разместился Конвент. Две тысячи четыреста певцов пели «Песнь 14 июля» Госсека, а затем на мотив «Марсельезы» хор запел гимн, написанный Шенье для этого дня. Последний припев подхватили все, кто был на Марсовом поле, тысячи людей:

Прежде чем сложить наши торжествующие мечи,
Поклянемся уничтожить преступление и тиранов...

Последние слова слились с грохотом орудийного салюта.

Но если Давид-художник радовался, то Давид-депутат, Давид-человек не мог не увидеть многого: лица Робеспьера, то счастливо торжествующего, почти молодого, то равнодушно-усталого, с пустыми глазами, взглядов завистливых и злобных, которые бросали на Робеспьера некоторые его коллеги, не мог не слышать озабоченных разговоров депутатов, не смолкавших в самые торжественные минуты праздника.

Народ рукоплескал Робеспьеру, но трещины и сомнения, которые частью видел, частью угадывал Давид, разъедали Конвент. Могущество Робеспьера возбуждало страх и зависть, террор вызывал ужас. Все больше врагов становилось у Неподкупного. В Комитете общественной безопасности у Робеспьера почти не осталось сторонников, и Давид чувствовал, как сторонились коллеги его, Давида: ведь он оставался робеспьеристом. А в Комитете общественного спасения, где прежде Робеспьер был полновластным и признанным вождем, разлад усиливался с каждым днем.

Слишком далеки цели Робеспьера, слишком крута его тропа и высоки идеалы, чтобы могли его понять и поддержать политики, для которых революция и так зашла очень далеко. И многим, очень многим чужд холодный, жесткий нрав Робеспьера, его безмерная уверенность в правильности выбранного пути (его сомнений и колебаний обычно не замечали), его способность забыть о прежней дружбе, отправить в трибунал того, кто недавно был его ближайшим товарищем. Но Давид не мог осуждать Робеспьера. Кто из тех, кто называет его тираном, способен занять его место, принять на себя страшную ответственность за судьбу революции? Люди думают о сладости власти, забывая, что она тяжкий крест.

И нередко Давиду казалось: все более призрачной становится надежда на полную победу, все более явственно ощущается приближение беды.

XIX

Ровно через два месяца после праздника Верховного существа, 8 термидора второго года, в Якобинском клубе состоялось памятное всем заседание.

Жаркий день сменился душными сумерками. Вечер не принес прохлады. Трехцветный флаг над входом был неподвижен, ни малейшего ветерка не чувствовалось в воздухе.

Ждали Робеспьера.

Давид пришел в клуб усталым — он был занят подготовкой к очередному большому празднику. На 10 термидора было назначено торжество в честь героев юношей Барра и Виала, отдавших жизнь за революцию. Но мысли были далеко от этого. Другое его занимало. Как и все, он знал о событиях, происшедших в Конвенте. Сегодняшняя речь, произнесенная Робеспьером, звучала завещанием. Приближалась развязка. Враги революции, личные враги Робеспьера, люди, запутавшиеся и просто испуганные, объединились против того, кого они называли «тираном». Комитет общественного спасения перестал считаться с ним, долгие месяцы Робеспьер там не появ-

лялся. В Конвенте большинство против него. А народ? Мог ли он всецело оставаться на стороне Робеспьера? Нищие крестьяне, обираемые богатевшими фермерами, напрасно искали помощи у правительства Робеспьера. Рабочие волновались из-за только что введенного ограничения заработной платы. Народ еще верил Робеспьеру: слишком долго их борьба была общей; но сейчас они далеко не так близки друг другу, как прежде.

Правительство Робеспьера сделало все, что нужно буржуа. Остатки королевской Франции и дворянских привилегий уничтожены. Войска монархической коалиции разбиты. Роялистские заговоры разгромлены. Новой, буржуазной Франции не нужны ни реквизиции, ни ограничения богатств и спекуляций, ни свобода для бедняков, ни террор, ни, наконец, власть тех людей, которых поставил во главе революции народ. А Робеспьер не решался опираться на народ до конца; он оставался человеком своего времени, человеком третьего сословия, но никогда не был и не называл себя санкюлотом.

Подлинные причины и смысл событий нелегко различить за сложнейшими хитросплетениями судеб и страстей, за спорами и борьбой.

Давид не понимал, как Робеспьер, чья воля не сгибалась в труднейшие минуты, когда на краю гибели была вся республика, не может найти в себе силы расправиться со своими врагами в Конвенте.

Давид многого не мог понять. В этот душный вечер термидора, в тягучие минуты перед приходом Робеспьера, он сидел на скамье, скрестив на груди руки и неподвижно глядя перед собой. Размышлял, перебирал в памяти события последних месяцев. Что случилось, что встало на пути революции и ее вождей? Что?

Был прямой путь, опасный, грозящий смертью, но прямой. Он вел к идеалам, быть может не вполне ясным, но прекрасным и заманчивым, — к свободе, ко всеобщему счастью и братству. Люди умирали на этом пути, боролись с врагами, преодолевая сомнения, посылали на гильотину предателей. Свободное

и светлое искусство расцвело, стряхнув академическое рабство и зависимость от короля, народ вошел в открывшиеся двери музеев, радовался гордой красоте революционных празднеств.

И вот внезапно все рушится. Робеспьер, несгибаемый, будто лишенный нервов, не раз на глазах Давида терялся, потрясенный изменой прежних единомышленников, ненавистью и недоверием. На несколько недель он вообще отошел от дел, совершал меланхолические одинокие прогулки, замкнулся в себе. Давид оставался его верным сотоварищем, не позволял сомнениям проникать в душу. Революция отождествлялась в его представлении с Робеспьером, как прежде с Маратом. Он и Лаба — только они двое поддерживали Робеспьера в Комитете общественной безопасности, не обращая внимания на откровенную ненависть коллег. Он неизменно выступал в Конвенте за предложения Робеспьера, хотя уже давно чувствовал — пропасть разверзается под его ногами. Теперь приближается финал.

Сегодня Робеспьер говорил в Конвенте, говорил, как в прежние времена. Он обвинял заговорщиков, он спрашивал Конвент, стала ли счастливее республика за те недели, что он отошел от дел; он говорил, что надо покарать предателей. Увы, это была лишь декларация — имен он не назвал. Весь Конвент почувствовал себя под подозрением из-за нерешительности Робеспьера. Ему аплодировали, но едва впечатление от его речи рассеялось, снова началось нападение. Упреки, обвинения, требования назвать имена тех, кого подозревал Робеспьер, звучали с разных концов зала. А он, вместо того чтобы действовать с обычной своей решительностью, хранил надменное молчание. Он заколебался в конце своего стремительного пути, когда промедление — прелюдия поражения. Давиду казалось, что рушится самое основание, на котором появились первые камни новой культуры. Давид оставался прежде всего художником, революция дала ему возможность создавать новое искусство. С революцией уходил смысл жизни. К тому же гибель Робеспьера — это и гибель самого Давида.

Значит, все замыслы останутся неосуществленными, больше никогда он не подойдет к мольберту. Неужели «Смерть Марата» стала его завещанием?..

Вошел Робеспьер. Большинство якобинцев оставалось друзьями Робеспьера, его встретили аплодисментами, приветствиями.

Робеспьер прочел свою речь, произнесенную в Конвенте, читал долго, с обычным своим внешним бесстрастием, со скупыми жестами небольших сухих рук. С глубокой болью смотрел Давид на лицо Робеспьера. В нем, кажется, не осталось ничего живого — бесцветная восковая маска, никакого румянца на выступающих, обтянутых сухой кожей скулах, глаза скрыты за толстыми стеклами очков. Он смертельно устал. Ноша, которую он нес на плечах, становится непосильной.

Тишина стояла в зале. Робеспьер прямо говорил, что эта речь — его завещание и что он видит приближение своей гибели. Клятвы в верности, проклятия врагам, обещания защитить его от любой опасности были ему ответом. Фантастические огромные тени размахивавших руками депутатов метались по стенам. Дрожали огни свечей, колокольчик председателя напрасно вызванивал яростные трели. Робеспьер заговорил снова. Он говорил о новом восстании, единственном средстве очистить Конвент от врагов свободы.

Горячая кровь стучала в висках Давида. Огни свечей двоились и расплывались перед глазами. Жуткое ощущение близкой гибели, становящейся все реальнее с каждой минутой, мешалось с восторгом перед великолепием мгновения и восхищением Робеспьером. «Тому, кто умирает за отечество, не в чем себя упрекнуть», — вспомнилось ему. Наступает его час.

— Но если свобода все же погибнет, вы увидите, друзья, что я спокойно выпью цикуту!

Голос Робеспьера оборвался.

В ответ ему прозвучал голос Луи Давида:

— Если ты выпьешь цикуту, Робеспьер, я выпью ее вместе с тобой!

Давид уже стоял рядом с трибуной, обернувшись лицом к бушующему залу. Появись сейчас перед ним чаша с ядом, он, не задумываясь, осушил бы ее одним глотком, как Сократ на собственной его картине. Он действительно прощался с жизнью. И не только потому, что здравый смысл говорил ему о близящемся конце, но и потому, что слова Робеспьера звучали с потрясающей убедительностью. В них была обреченность.

При всей горечи это была, наверное, самая значительная минута в жизни Луи Давида, лишенная всякого эгоизма, минута, когда он был готов разделить участь героев своих лучших картин.

Кончалась целая полоса жизни, чистая и высокая, она уходила вместе с Робеспьером, с прежними идеалами и надеждами, с написанными и только задуманными картинами, с празднествами, которым не суждено воплотиться в реальность. Рушился целый мир, которого Давид так долго ждал, во имя которого писал «Горациев» и «Брута».

Он плохо помнил, как возвратился на свое место, едва слышал, что говорили ораторы. С трудом овладел собой, усилием воли заставил себя прислушаться к речи выступавшего. Конечно, здесь, в Якобинском клубе, Робеспьера поддержат все; тех, кто выступает против, попросту стаскивают с трибуны. Но что будет завтра, в Конвенте? Легко принять смерть, опалу в минуту гнева и волнения, но страшна участь человека, бездейственно ждущего неминуемой гибели. В завтрашнем бою в Конвенте Давид едва ли примет участие, ему остается только ждать, почти не надеясь на спасение.

Ждать...

Бой часов, чудом донесшийся в шумный зал, неприятно напомнил о времени, двигавшемся неумолимо к завтрашнему дню. Каждый час укорачивает срок, оставшийся до решения его судьбы.

Заседание окончилось.

Было по-прежнему душно, невидимые тучи скрыли звезды, глухой далекий гром — или это просто

проехала тяжелая карета — послышался Давиду, когда он проходил под аркой ворот.

Медленно удалялся он от старой якобинской церкви, шагал тяжело, низко опустив голову, словно разглядывая камни мостовой. Шел дорогой, уже выученной наизусть, знакомой до последней выбоины, до каждой чугунной тумбы у ворот. Шел в свою пустую луврскую квартиру, где ему предстояло провести ночь, возможно самую тяжелую в его жизни.

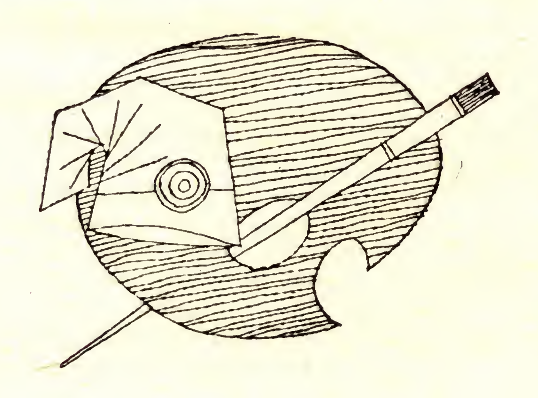
Он шел прочь от Якобинского клуба, еще не зная, быть может лишь догадываясь, что никогда не вернется туда. Он думал о холстах и учениках, о своих мальчиках, думал о своей жизни, о своем прошлом и будущем, которого может и не быть.

Темнела, сгущалась ночь. Прохожие, редкие в этот час, протягивали ладони, ожидая, не упадет ли капля дождя. Но дождя не было.

Мучительное беспокойство владело душой Давида, он боялся гибели, но более всего — собственной нерешительности. Он хорошо понимал, какие советы будет нашептывать ему благоразумие этой ночью, заранее боялся оказаться недостаточно твердым.

Пробило полночь на старых луврских часах, возвещая начало нового дня — 9 термидора. Закончился последний день жизни монтаньяра Давида. В эту ночь человек победил в нем гражданина.

На следующее утро он не появился в Конвенте.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1794—1815

Но разве вычеркнуть и изгладить из памяти не есть вернейший путь к неведению?

Монтень

I

Мир стал до смешного маленьким. Его ограничивали стены комнаты, где поселили Давида. В этом мире существовал только сам Давид. Он один.

Время тянулось медленно, тягуче, тревожно. Оно приносило воспоминания. А сейчас даже тюрьма, в которой он находился, пугала его меньше, чем мысль о минувших днях.

Он ходил по комнате растерянный, глубоко несчастный. Старался разобраться в самом себе, понять, что произошло. Безжалостные воспоминания с неумолимой отчетливостью восстанавливали перед ним недавнее прошлое, и не было силы, способной отогнать эти страшные мысли...

Нет больше монтаньяра Давида. Он исчез в ту ночь, когда живописец заперся в мастерской, наглухо отгородился от мира. Он оставался там, когда решалась судьба революции, когда войска Конвента ворвались в ратушу — последнее убежище Робеспьера. Он оставался у себя в тот дождливый вечер 9 термидора, когда залитый собственной кровью, с раздробленным пулей лицом, брошенный на деревянный стол в ратуше, Робеспьер ждал казни.

Что произошло с Давидом? Получил ли он тайное предупреждение, переменил симпатии или просто рассудил, что не стоит рисковать жизнью? Так или иначе, он не пришел в Конвент.

Кто знает, о чем думал он той ночью, так резко и внезапно изменившей его убеждения? Чего стоила ему эта перемена? Есть вещи, навсегда скрытые от биографов, страницы жизни, о которых можно только догадываться.

Никто не знает, что делал Давид в эти дни.

10 термидора на эшафоте погибли Робеспьер, его брат Огюстен, Сен-Жюст, Кутон и все ближайшие сподвижники Робеспьера.

Завершилось господство монтаньяров. Большинство из них окончило свою жизнь и свою борьбу в одно и то же мгновение. Давид перестал быть якобинцем, но продолжал жить. И вот теперь он в тюрьме. Он был якобинцем — этого достаточно, чтобы лишить его свободы. Заключенный в тюрьму врагами революции, он полной мерой вкусил судьбу отступника: у него нет даже цели, во имя которой он переносит страдания. Он между двух жизней, между двух эпох. Он вглядывается в самого себя, он пытается понять, кто он теперь. Он, всю жизнь ненавидевший неуверенность. Он не может не вспоминать Робеспьера, всех этих людей, бывших ему такими близкими и необхо-

димыми. Сейчас их называют изменниками и тиранами. Если Давид и не верит этому, то лишь в самых потайных уголках души. Он не хочет идти на гильотину.

Мир, шумный и огромный, до краев переполненный событиями и новостями, встречами и спорами, бесконечными делами, внезапно исчез за стенами Отель де Ферм. Впрочем, он исчез, наверное, раньше, в тот вечер, когда Давид покинул Якобинский клуб...

Дни после 9 термидора, проведенные один на один с собою, отняли у Давида последние остатки мужества. 13 термидора он все же появился в Конвенте, где не осталось никого из его прежних друзей. Теперь у него были только враги. Он бросил в беде Робеспьера, но депутаты видели в нем робеспьериста, сподвижника «тирана». Настаивали на его аресте. Он пытался оправдаться. Страшнее всего было вспоминать собственную беспомощную и недостойную речь, когда только одно желание руководило Давидом: выжить, сохранить голову на плечах. У него даже мелькнул проблеск облегчения, когда был декретирован его арест, — останься он на свободе, укоры совести стали бы еще мучительнее. Его отвезли в Отель де Ферм. Комната Давида просторна и сравнительно комфортабельна, ему разрешили писать. Термидорианские власти демонстрировали свой либерализм. К Давиду допускали посетителей. К нему приходили ученики, юноши не боялись показать свое отношение к учителю даже в эти дни, когда участие к преступникам могло навлечь опасность. «Вот люди, которым я еще нужен, — думал Давид, — больше никому». Эти юноши, почти не думая о политике, жалели Давида и мечтали добиться его освобождения. Все же он оставался заключенным, к тому же не знающим, что ждет его завтра.

Он с жаром занялся живописью, стараясь уверить себя, что счастлив возможностью вернуться к искусству, не отягощенному политическими страстями.

У него не было натуры, но было зеркало. Так появился автопортрет.

Давид без парика, без пудры, волосы развились,

сбились на лоб, и лицо кажется почти юным, настолько оно не прикрыто обычным щитом зрелости, самообладания, выдержки. Глаза смотрят с мучительным недоумением, словно живописец силится разглядеть в собственном изображении ответ своим печальным мыслям.

Или он просто хочет забыть обо всем и потому старается думать только о живописи, о красках и напряженным созерцанием надеется разогнать неприятные мысли. И странно выглядит это растерянное лицо над элегантным белым галстуком, над щегольским карриком, распахнутым над сорочкой тонкого батиста.

Одиночество, как едва слышный, но настойчивый мотив, звучало в портрете. У Давида один собеседник, один натурщик и один судья — он сам. За всю свою жизнь Давид не написал более откровенного полотна. Он тешил себя мыслью, что в будущих картинах вернется к забытой им древности. Был убежден, что никогда не возвратится к шумной политической жизни и проведет остаток дней в уединении, занимаясь лишь искусством.

В то же время Давид пытался понять, в чем, собственно, его обвиняют. Если он и виноват перед кем-нибудь, то, во всяком случае, не перед новым правительством. Только собственная совесть и воспоминания о Робеспьере могли его тревожить. Письма, которые художник посылал в Конвент, оставались без ответа. Давид тщетно добивался хотя бы суда, хотя бы обвинительного заключения. Он писал, что обманулся в Робеспьере. Быть может, он сам начинал этому верить?

В один из дней на исходе фруктидора в комнате появились полицейский комиссар в трехцветном шарфе и жандармы. Давид решил, что его отправляют на суд или на допрос. Однако тюремная карета покатилась к бульвару Сен-Мишель и скоро остановилась у ограды Люксембургского сада. Многочисленные часовые и недавно приделанные новые засовы на дверях убедили Давида — часть дворца превращена в тюрьму. Жандармы оставили Давида

в одной из комнат, дверь за ними замкнулась. Значит, его просто перевели в новую тюрьму. С какой целью, что могла означать эта перемена?

За окном виден был Люксембургский сад, уже тронутый желтизной. Началась осень.

Тюремщик на вопрос Давида, когда разрешены свидания в Люксембурге, отвечал, что сюда не пускают посетителей. Давид не поверил, пытался протестовать. Скоро он убедился, что его не обманывают: посетителей к нему не пускали. Не пропустили даже натурщика. Видимо, его письма в Конвент возымели совершенно обратное действие.

Почти сразу после перевода в Люксембург он написал в Комитет общественной безопасности.

«Представители народа!

Я тщетно пытаюсь найти в моем уме и моей памяти причины того обращения, которому я подвергаюсь. Я не могу открыть этих причин и в полном покое моей совести могу только скорбеть, видя себя предметом строгости, которая, казалось бы, вовсе не согласуется со справедливостью.

Я пользовался в Отель де Ферм возможностью общаться с моей матерью, моими детьми и небольшим числом друзей, которых у меня не отняло несчастье, — большая часть из них мои ученики. Внезапно меня перевели сюда, где я не могу никого видеть. Почему такое изменение? По закону 18 термидора заключенные пользуются правом знать мотивы их ареста. Разве я не могу требовать, чтобы во исполнение этого закона я был поставлен в известность о причинах, отягчивших мое положение, тем более тяжелое, чем менее оно заслужено.

Я повторяю с твердой уверенностью, представители народа, что меня можно упрекнуть только в увлечении, которое заставило меня обмануться в характере человека, на которого многие из моих товарищей, более просвещенные, чем я, смотрели как на мерило патриотизма. Но увлечение идеями, благоприятными свободе, не может считаться преступлением в глазах патриотов, понимающих, что это увле-

чение является следствием той пламенной любви к отечеству, того жара чувства и той душевной силы, без которых вовсе не было бы революции.

...Я прошу поэтому, представители народа, чтобы комитеты соблаговолили, наконец, заняться рассмотрением моего поведения и чтобы в ожидании этого мне было позволено предаться здесь занятиям искусством, цену которого я никогда не чувствовал так сильно, как тогда, когда я мог пользоваться им для укрепления революции, успеху которой никогда никто не был более предан.

Окончание начатой картины требует, чтобы я пользовался натурщиками. Я прошу поэтому, чтобы привратнику разрешили допускать их сюда, а также, чтобы мне было дозволено принимать дважды в декаду к обеду мою мать и моих детей.

Привет, братство.

Давид».

На это письмо, как и на все прежние, ответа Давид не получил.

II

Вандемьер не принес никаких новостей. По-прежнему к Давиду не допускали посетителей. У него не было даже принадлежностей для работы. Единственным его развлечением оставались размышления и газеты.

Из газет он узнавал о переменах, происходящих в стране. Комитет общественного спасения, прежде бывший грозным революционным правительством, превратился волею новых хозяев страны в некое подобие министерства, имевшего такие же права, как и прочие вновь организованные комитеты. Враги Робеспьера стояли во главе Конвента. Многие члены Коммуны были казнены. В начале брюмера по распоряжению Конвента был закрыт Якобинский клуб. Начинается новый террор, но уже не во имя свободы.

Все это было нетрудно понять кому угодно, но не Луи Давиду. Он боялся задумываться, боялся

распутывать клубок сомнений, старался убедить себя, что ему теперь нельзя помышлять ни о чем, кроме искусства. Больше всего на свете хотелось забыть обо всем, избавиться от воспоминаний. Только жить, писать, видеть детей. В конце концов он немолод, пришло время отдохнуть и ему.

Каждый день в один и тот же час он подходил к окну и нетерпеливо вглядывался в аллеи Люксембургского сада. Теперь, когда детей не пускали к нему, гувернантка Катрин приводила их гулять в сад, чтобы отец хотя бы издали мог их видеть. Они показывались в конце аллеи, сначала едва заметная черная точка, которую мог разглядеть лишь жадный взгляд Давида. Потом различал мальчиков — старший шел спокойно и твердо во главе процессии — и девочек-близнецов в соломенных капорах. Они махали отцу, играли в серсо, катали обруч. Это были самые радостные часы дня. Потом они уходили, оглядываясь и кивая головой.

За треволнениями революционных лет он и не заметил, как повзрослели дети. Старший стал «совсем» мужчиной. Не так давно он буквально спас своего старого учителя в пансионе. Его собирались арестовать — видимо, по какому-то случайному доносу. Когда пришли солдаты, Эжен потребовал справедливости. Вскочив на стол, он наизусть прочитал статью из «Декларации прав». Солдаты восхищенно аплодировали маленькому знатоку законов и ушли, не тронув учителя. Видимо, в мальчике есть и мужество и доброта...

Наконец ученик Давида Делафонтен переправил в тюрьму краски, карандаши, холст — все нужное для работы. Художник вздохнул с облегчением и почти перестал ощущать одиночество. Он сделал новый эскиз — «Девушки, подающие милостыню заснувшему поэту». Лишенный внешних впечатлений, не имея под рукой столь дорогих его сердцу увражей, он использовал в качестве фона один из флигелей дворца, который был виден в окно. Набрасывая контуры здания, вглядываясь в сад, вспоминал детей. Нежная красота бронзовеющей листвы, покой безлюдного

сада, блеклое высокое небо тронули Давида, давно отвыкшего от созерцания природы. Аллея, населенная милыми воспоминаниями об играющих здесь детях, особенно его волновала. Одиночество сделало его восприимчивым к забытым чувствам.

Давид начал первый в своей жизни пейзаж. Ни разу еще он не писал с таким полным забвением всех и всяческих канонов и правил. Клал на холст жирные густые мазки, иногда втирал в полотно краску почти сухой кистью так, чтобы ткань оставалась видна; заботился только о результате, не думая о чистоте стиля. Он хотел навсегда оставить на полотне это низкое красноватое осеннее солнце, туманные тени в дальних аллеях, дымку прозрачных облаков; писал торопливо, с удивлявшим его самого увлечением. Всей душой тянулся он сейчас ко всему, что могло отвлечь от мыслей о минувшем.

Однажды он не узнал своих детей: они пришли в сад непривычно медлительные, одетые во все черное. Траур? Что могло произойти? Неужели случилось что-нибудь с мадам Давид?

Он знал, что она недавно вернулась в Париж, поселилась на улице Турнон, неподалеку от Люксембурга, что она охотно отпускала к нему девочек. Вот и все, что было ему известно о своей бывшей жене. Она не выражала желания навестить его и не писала ему.

С тех пор как мадам Давид покинула мужа, заявив, что не может жить под одной крышей с цареубийцей, она поселилась в отцовском поместье Сент-Уэн. О муже она старалась не вспоминать.

Но сейчас положение изменилось. Мадам Давид не была злой женщиной, в душе ее не могла не пробудиться жалость к отцу ее детей, столько времени находившемуся в заключении. Но она оставалась дочерью м-сье Пекуля, от которого унаследовала трезвый ум. Она понимала, что именно сейчас измученный и растерянный супруг более всего способен изменить свои ужасные взгляды и с раскаянием вернуться в лоно семьи. Мадам Давид знала от детей — отец подавлен, расстроен и, как никогда, нежен с ни-

ми. И вот Шарлотта обратилась к своим влиятельным знакомым с просьбой помочь мужу, готовясь в то же самое время окончательно наладить семейные отношения.

В один из дней середины брюмера, когда Давид в сотый раз переделывал рисунок «Гомера», в комнату к нему вошел привратник и предложил спуститься вниз. Удивленный Давид последовал за ним. Он ждал чего угодно, только не того, что увидел. У входных дверей рядом с его детьми стояла дама в черном — его жена. Многое разделяло супругов: и годы разлуки, и разные, очень разные взгляды на жизнь, и ясное представление о том, что чувства их не слишком уж глубоки. Но были привычка, дети, годы общей жизни, усталость, беспокойство, бесконечное одиночество Давида, его болезненная чуткость к любому проявлению доброты. Все-таки это его жена, близкий человек. То, что она пришла сейчас, когда ему так плохо, потрясло Давида. Он обнял ее, с удивлением почувствовал, что по лицу его текут слезы. Дети повисли у него на шее. Вытирая мокрое лицо, смеясь и плача, мадам Давид говорила удивленному и, кажется, тоже растроганному тюремщику:

— Гражданин, не думайте, что вы охраняете преступника. Это самый честный человек, которого я знаю, верьте преданной жене.

Мадам Давид рассказала мужу о смерти м-сье Пекуля — этим печальным событием объяснялся траур. Она стала наследницей значительного состояния, теперь их материальные дела — она уже говорила о Давиде и о себе вместе — были решены раз и навсегда. Рассказала Давиду о своих планах его освобождения. Примирение было полным и окончательным. Давид и думать забыл о прежних спорах и разногласиях. Ему хотелось только покоя и человеческого участия.

По просьбе мадам Давид в хлопотах принял участие Буасси д'Англа, великий почитатель Давида и влиятельный член Конвента, сохранивший свое положение и после термидора.

Бесконечные споры о судьбе Давида тянулись в Конвенте месяц за месяцем. Только сейчас понял Давид, сколько врагов сумел он нажить. Его дело обсуждалось, пересматривалось, путешествовало из комитета в комитет. Несколько раз его почти освобождали, потом дело снова затягивалось.

10 фримера семнадцать учеников Давида, среди которых был, конечно, и верный Делафонтен, явились к решетке Конвента с петицией, требовавшей освобождения учителя. Это растрогало Давида почти до слез. «Радости, которые испытываешь во дни благополучия, быстро следуют одна за другой и лишь слегка задевают наше сердце, — писал он ученикам. — Но радости, испытываемые в несчастье, запечатлеваются в нем гораздо глубже. Причина этому заключается в том, что они гораздо более редки и что они вызываются друзьями, мужественными и свободными от какой-либо личной заинтересованности».

Но и петиция учеников мало помогла делу.

Люксембургский сад поник и поредел. Унылые дожди фримера заливали аллеи, дети редко приходили теперь под окно Давида. Работать в комнате, так мало приспособленной для мастерской, было трудно в эти хмурые дни. Давид мечтал о доме, о спасительном тепле семейного очага, писал все новые письма в Конвент, ждал.

Только в начале нивоза Давид получил долгожданное известие — выписку из протокола Конвента:

«№ 5429

ЗАКОН,

Приказывающий дать свободу
Представителю народа ДАВИДУ

Восьмой день нивоза III года Французской республики, единой и неделимой.

Национальный конвент декретирует, что представитель народа Давид должен быть незамедлительно выпущен на свободу».

За этим коротким текстом следовали все надлежащие подписи — председателя, секретарей, еще кого-то. Давид не вглядывался в них. Он читал и перечитывал бумагу, боясь поверить в свое освобождение.

Едва выйдя за ворота Люксембургского сада, он отправился благодарить Буасси д'Англа, но не застал его дома. Узнав о визите Давида, тот прислал ему поздравительное письмо: «Радостно другу искусств думать, что бессмертный Давид не разлучен более со своей кистью», — писал он.

Однако освобождение Давида оставалось лишь номинальным. Дело его не было закончено, продолжалось медленное и путаное расследование. Давид махнул рукой на все. Сославшись на нездоровье, не посещал заседаний Конвента, впрочем он и вправду чувствовал себя скверно.

Вскоре после его освобождения был принят декрет трех правительственных комитетов о том, что почести Пантеона могут быть присуждены лишь по прошествии десяти лет после смерти человека. За внешним демократизмом декрета прятался ясный смысл: можно было начать расправу с самой памятью Марата и Ле Пеллетье.

Их бюсты, стоявшие в Конвенте, унесли, только бюст Брута остался в зале заседаний. А 20 плювиоза в мастерскую Давида были доставлены обе его картины: «Марат» и «Ле Пеллетье». В мастерской холсты казались больше, чем в Конвенте, смотреть на них было тяжело: в углу темноватой в эти зимние дни мастерской, одинокие, вдали от людских взглядов, они будто делили судьбу своих героев. Давиду представилось, что вся его жизнь так же, как и картины, бесполезна, не нужна никому. Неужели это они, создания его кисти, недавно будили восторг революционного Парижа? Картина мертва, когда она лишена зрителя. Некогда Давид гордился тем, что частицей своего бессмертия Марат и Ле Пеллетье обязаны ему. Неужели они должны умереть еще раз, здесь, в его мастерской?

Его ничто не интересовало: ведь больше не вер-

нутся дни былого, когда он жил одним дыханием с событиями дня, с делами и думами друзей.

Лишь глухим шумом донеслись до него события жерминаля, когда голодный Париж поднял восстание против термидорианского Конвента, требуя «хлеба, конституции 1793 года и освобождения патриотов». Он видел, как телеги с осужденными рабочими тянулись к эшафотам. Кровавый нож гильотины сверкал на щедром весеннем солнце. 8 флореаля, не дожидаясь суда, Давид подал в Конвент прошение о двухмесячном отпуске и вместе с женой и детьми уехал в Сент-Уэн.

III

Наконец у Давида было все, о чем он мечтал. Ничем не нарушаемый покой, беззаботный отдых, задумчивые вечера в кругу семьи у камина в тиши богатого и комфортабельного дома.

Последние годы он почти никуда не выезжал. Деревня показалась ему раем. Таинственная жизнь рощ и полей, с влажными весенними ароматами, пением птиц, молодой нежной зеленью, теплые шумные дожди, даже блеск росы по утрам на траве сада — все было внове для Давида. Его свояченица — хорошенькая, веселая и чувствительная Эмилия, пылко обожавшая природу, — встретила Давида ласково и сердечно. Ее муж Шарль Серизиа питал к нему признательность давнюю и глубокую: это за его отца — генерала Серизиа — так долго и, увы, безуспешно хлопотал Давид перед революционным трибуналом. И, кроме того, в доме присутствовала та особая подчеркнутая сердечность, которая появляется в семье, решившей подчинить себе инакомыслящего человека. Каждый из обитателей дома хотел, чтобы Давид отказался от своих гибельных убеждений, забыл о прежних идеях и стал таким же спокойным, далеким от политики человеком, как его родные.

Давид сам был бы рад забыть о политике, но мысль о предстоящем разборе его дела не выходила из головы, отравляла каждое мгновение. Вскоре пос-

ле приезда в Сент-Уэн он получил обширное обвинение из семнадцати пунктов. Еще раз удивился обилию своих врагов.

В этом пространном документе реальные факты были так перемешаны с чудовищными преувеличениями, явной ложью, хитрыми натяжками, что даже Давид, много повидавший за последние годы, почти пал духом.

Пришлось заняться собственной защитой: многие часы проводил он за составлением письма. Как ни вздорны обвинения, на каждое из них надо аккуратно ответить, найти серьезные доводы, убедительные доказательства. В чем только его не обвиняли: и в кровожадной жестокости, и в намерении истребить всех парижских художников, и в организации массовых убийств, и в преследовании живописцев за одно несогласие с ним, и в черствости к просителям, и во множестве других преступлений.

Мадам Давид строила планы будущей жизни, раздумывала о том, что выставит Давид в очередном салоне. Рассматривала его холсты; предложила дать на выставку пейзаж Люксембургского сада. Она обрадовалась, когда муж принялся за работу над портретами четы Серизиа. Только одна из работ, недавно написанных Давидом, тревожила ее.

Это был небольшой кусок бумаги, наклеенный на холст, едва достигавший трех футов в высоту. На нем Давид изобразил женщину в бедной одежде, со скрещенными на груди сильными жилистыми руками. Белый платок накинут на седеющие волосы, рассыпавшиеся по плечам, красная косынка стягивает плечи. Необычное лицо, лишенное лоска, покоя, всего, что отличало прежние портреты Давида, словно затянутые в контуры чистых, элегантных линий. Портрет, как ни странно, напоминал пейзаж Люксембургского сада: жизнь вошла в обе картины во всей своей простоте, минуя классические схемы, рафинированные линии. Так появлялись в Конвенте народные толпы с пиками, саблями, воодушевленные гневом, нарушая торжественное течение заседания.

Женщина смотрела с картины горько, презритель-

но, устало. Полуоткрытые сухие губы хранили печаль невысказанных слов. Ясные глаза светились на загрубевшем морщинистом лице. Женщина и в старости сохранила гордую повадку парижской работницы, всего в жизни добивающейся собственными руками. Такие женщины, познавшие свою силу и значение в буднях революции, умели стрелять и перевязывать раненых, проклинать тиранов, без устали плясать карманьолу, не показывая слез, провожать в волонтеры мужей и сыновей.

Давид видел их на улицах, у решетки Конвента, в толпах вооруженных людей, у подъезда Дворца правосудия, даже у подножия эшафота. Они умели быть жестокими, эти женщины, вынесшие на своих плечах тяготы голодных лет, многолетние унижения, потерю близких. И они умели быть решительными и стойкими. Это были настоящие женщины революции. Недаром в сдержанном колорите картины скромно и настойчиво звучало соцветие синего, белого, красного — цветов революционного флага.

Кто знает, что думал теперь Давид, глядя на этот портрет? Вспоминал прошлое, надеялся на будущее? Во всяком случае, для его родных эта работа была частью прежних якобинских заблуждений.

А сейчас, расставив легкий мольберт в светлой комнате, он писал своего зятя Шарля. Он писал, не давая себе труда задумываться над тем, насколько нов, необычен портрет, как много в нем продиктовано не моделью, но временем.

Он писал, что видел, но ведь кисть художника нередко опережает его мысль, и глаз ловит и переносит на холст то, что еще трудно определить словами.

На полотне Давида возникал человек новых времен: не изысканный вельможа, не здравомыслящий буржуа, не суровый аскет из Конвента. Шарль Серизиа сидел в позе элегантной и чуть аффектированной, закинув на колено ногу в тонком сапоге. Упругий легкий хлыст дрожал в его пальцах. Темно-шоколадный, распахнутый на груди фрак, позволял видеть белый жилет и пышный галстук, панталоны светлой кожи обтягивали стройные бедра. Высокая круглая

шляпа с кокардой надета слегка наперед, завитые волосы напудрены. Он мог бы показаться беззаботным щеголем, но что-то в его девически красивом лице вызывало настороженное внимание. Холодный скепсис, равнодушие за внешней веселостью, высокомерие человека, не уверенного в завтрашнем дне. Новое поколение, выросшее в великое время, но в стороне от него, люди, испуганные революцией, но желающие воспользоваться ее плодами, взять в свои руки привилегии, потерянные дворянством. А главное, жить, пока возможно, пока голова остается на плечах, а деньги в кошельке. Может быть, и не таков сам Шарль, но нередко многое в портрете диктуется не моделью, а временем.

Сам облик портрета был необычен: костюм, манера держаться, сухое изящество силуэта на фоне неба в сочетании с небрежностью, почти развязностью позы. Кисть Давида, привыкшая к строгому мужеству линий, к лицам депутатов, сожженных лихорадкой вечной борьбы, едва находила мазки, способные передать этот образ, такой сложный при внешней банальности. Не таковы ли будут новые властители страны — буржуа, изведавшие равно и восторг и страх перед революцией.

Давид не размышлял, он писал. Законченный портрет пленил чету Серизиа беззаботной легкостью красок, совершенным сходством.

Писать Эмилию было легче, кисть художника всегда чувствительна к очарованию юного женского лица. Эмилия позировала вместе с маленькой дочкой; их разговоры, споры — девочка уставала позировать и вертелась — дарили Давиду мгновенные и острые впечатления. В портрете остался живой аромат полевых цветов, яркий свет летнего дня, отблеск солнца на простом платье, грациозно небрежный поворот гибкой шеи, прозрачные глаза, легкая улыбка на румяных губах.

Несмотря на все заботы, целительный покой понемногу овладевал душой Давида, уходили тягостные воспоминания о тюрьме. Не хотелось думать о возвращении в Конвент, о жизни, которая его ждет,

о многочисленных врагах, интригах, обвинениях. Он даже старался не читать газет.

Наступил прериаль — это было уже настоящее лето, обещавшее отдых совершенно в духе Жан Жака, полное растворение в природе, долгие прогулки по пахнущим медом полям, пышные цветы в парке, теплые звездные ночи, когда ставни открыты до утра и на страницах забытой на подоконнике книги блестят капли росы. Давид освоился с радостями деревенской жизни, привык к ее неторопливому ритму, научился находить удовольствие в задумчивой и бездеятельной созерцательности.

Поздней ночью 10 прериаля, когда Давид уже погасил свечу в своей комнате, резкий шум заставил его вскочить с постели. Топот копыт, скрип колес по дорожке парка, громкие незнакомые голоса нарушили безмолвие ночи, красные отблески факелов дрожали на древесной листве и проникали в комнату. Звон шпор, лязг оружия донеслись из коридора, в дверь властно, отрывисто постучали. Давид открыл, едва успев накинуть на плечи халат. Полицейский комиссар в дорожном плаще стоял на пороге, сзади поблескивали штыки жандармов.

— Вы гражданин Давид, представитель народа, бывший член Комитета общественной безопасности? — спросил он.

Получив утвердительный ответ, он прочел приказ об аресте Давида. Жандарм светил ему чадящим факелом.

— Собирайтесь, гражданин, вы поедете с нами в Париж.

Давид спустился в сад, двое жандармов шли у него по бокам. Мадам Давид рыдала, Шарль и Эмилия держали ее под руки. Хлопнули дверцы кареты, комиссар и жандарм сели напротив Давида, офицер скомандовал «Марш!». Карета, круто повернув и зацепив колесом за клумбу, выехала на аллею. Через минуту огни дома скрылись из глаз. Лошади скакали галопом. Когда луна выходила из-за туч, Давид видел около каждого окна конного жандарма с обнаженной саблей в руке.

Все случившееся было полнейшей неожиданностью для Давида. Между тем объяснялись события просто. В начале прериаля, после нового восстания парижской бедноты, Конвент издал декрет об аресте членов прежних правительственных комитетов, в число которых входил, как известно, и Давид. Кроме того, многочисленные враги Давида, в большинстве своем недовольные революцией художники, решили довести до конца преследования своего обидчика. Они, воспользовавшись отсутствием Давида, сделали все возможное, чтобы добиться его ареста.

И вот теперь тюремная карета уносила Давида в Париж, навстречу многочисленным и очень реальным опасностям, ибо никогда еще термидорианский Конвент и трибунал не были так непримиримо настроены по отношению к бывшим сподвижникам Робеспьера.

IV

Давида поместили в арестный дом де Катр-Насьон. В первые же дни заключения он постарался закончить и отделать свой оправдательный мемуар, начатый в Сент-Уэне. Приходилось спешить. В те дни и меньших преступлений, чем те, в которых обвиняли Давида, было достаточно, чтобы отправить человека на гильотину.

Террор свирепствовал. Шесть якобинских комиссаров из числа последних монтаньяров были приговорены к смерти. Все они сразу же по произнесении приговора пронзили себе грудь одним кинжалом, который умирающий передавал товарищу, ждущему страшной очереди. Участников восстания судили по законам военного времени. Гильотина, вызывавшая такое негодование врагов Робеспьера, теперь не внушала им отвращения. Кровь последних борцов за свободу лилась на эшафоте.

Теперь Давид уже не мог писать и предаваться философствованию. Каждый день мог стать последним в его жизни. Призрак Робеспьера тревожил его воображение, силы его покидали. Он готов был потерять последнюю надежду. Все же он продолжал

бороться, писал всюду, куда можно было писать, настаивал на пересмотре своего дела, на врачебном освидетельствовании, только бы избегнуть гибели.

Быть может, не случись в стране в эти месяцы больших событий, судьба Давида и в самом деле сложилась бы трагично, но Конвент доживал последние дни. Готовилась новая конституция, по которой власть переходила в руки нового правительства из пяти директоров и двух палат — верхней и нижней. Буржуазия спешила окончательно оформить завоеванную власть. Даже новый Конвент, состоящий из противников Робеспьера, лютых врагов якобинцев, казался буржуа чрезмерно свободомыслящим. Новые денежные короли мечтали о правительстве, способном защитить их интересы равно и от аристократии и от народа. Революция окончательно сходила на нет. За сложной политической борьбой, предвыборными заботами, боязнью заговоров некому было заниматься Давидом.

Письма и требования Давида, хлопоты жены и немногочисленных друзей в конце концов сделали свое дело. 16 термидора Комитет общественной безопасности издал указ: «Согласно рапорту, свидетельствующему о болезни и тяжелом состоянии представителя народа Давида, комитет постановляет: гражданин Давид переводится в дом гражданки Пекуль (секция Люксембург), где он останется под охраной жандармов, пока не сможет перенести дорогу в Сент-Уэн, близ Турнона (Сена и Марна), у гражданина Серизиа, чтобы находиться там опять-таки под охраной».

Он вернулся домой, усталый, больной, издерганный и одновременно равнодушный. Ничто из того, что так занимало Давида прежде, не интересовало его. Политика? Никогда он к ней не вернется. Остается только одно: провести остаток дней в служении чистому искусству.

Вскоре он переехал в Сент-Уэн.

Там он тоже жил на положении узника. Ленивый жандарм делал вид, что стережет Давида.

В середине вандемьера до Сент-Уэна докатились вести о событиях в Париже. 13-го числа там гремела

канонада. Никогда еще в столице не палило столько орудий сразу. Артиллерия Конвента расстреливала участников роялистского мятежа, идущих в атаку на Тюильри. Давид удивился, узнав, что батареями командовал тот самый артиллерийский офицер, который так отличился в Тулоне и которому в дни председательства Давида было присвоено звание бригадного генерала. Фамилия этого генерала была Бонапарт. В головокружительной карьере молодого корсиканца эта бойня на парижских улицах значила никак не меньше, чем взятие Тулона. 13 вандемьера он из почти никому не известного генерала стал командующим парижским гарнизоном и одним из самых знаменитых людей в столице.

А в тот самый день, когда закончилось последнее в истории Франции заседание Конвента и навсегда опустело кресло председателя, которое занимали когда-то и Робеспьер и Давид, был подписан приказ об освобождении Давида. Это произошло 3 фримера третьего года республики, то есть 25 октября 1795 года.

Столица произвела на Давида странное, почти гнетущее впечатление. Он видел эстампы, изображающие Робеспьера в образе дьявольского кровопийцы, гравированные портреты тех людей, которые в недавнем прошлом считались заклятыми врагами свободы.

Покрытые свежим лаком кареты, запряженные лошадьми, стоившими тысячи ливров, катились по улицам; ливрейные лакеи казались призраками ушедшего века, и громкие «гаррр!» надменных кучеров разгоняли прохожих, как десять лет назад. Слово «гражданин», произнесенное где-нибудь на Шоссе д'Антен, воспринималось как непристойность. Обращение на «ты» уходило.

В Тюильрийском саду, на площади Согласия — так стала теперь называться площадь Революции — разгуливали молодые люди в костюмах, вычурных до нелепости: это были законодатели новой моды, те, кого называли «инкруаяблями» *. Эти юноши, в боль-

* Невероятные *(франц.)*.

шинстве своем сыновья вновь разбогатевших буржуа, ненавидевших монтаньяров, были не просто безобидными франтами: почти у каждого в кармане или за поясом торчали пистолеты, а в трости прятался длинный кинжал. Это они преследовали якобинцев, избивали последних сподвижников Робеспьера, распевали «Пробуждение народа», когда слышали «Марсельезу».

Носили костюмы «жертв гильотины», дамы соперничали в вольности одежд, стремясь вознаградить себя за строгость нравов времени революции. Даже привыкший к античным одеждам Давид удивился, увидев выходившую из кареты женщину в платье с разрезом от пояса до подола и с драгоценными перстнями на пальцах почти обнаженных ног. В театрах шли пьесы, прославляющие новые времена и представляющие якобинцев гнусными убийцами. Самая прекрасная пора в жизни Давида была перечеркнута и запачкана. Будто не в этом городе умерли Ле Пеллетье, Марат, будто не здесь брали Бастилию. Этот новый Париж, кичившийся своей вновь обретенной, бьющей в глаза пышностью, — какой жалкий конец великих начинаний!

В середине вантоза Париж облетела сенсационная новость. Генерал Бонапарт женился на бывшей графине, вдове генерала Богарнэ, имевшей связи в самых высоких кругах правительства Директории. Звезда молодого корсиканского артиллериста всходила с необыкновенной стремительностью, что, впрочем, не было редкостью в то время, богатое неожиданностями. Забавным показалось Давиду лишь то, что перед отъездом в армию генерал Бонапарт снял дом для себя и своей жены у старого приятеля Давида — актера Тальма. Это был тот самый дом, куда некогда приходил Марат в поисках Дюмурье.

Собственная мастерская, пустая и захламленная, показалась незнакомой, когда Давид вошел в нее после долгого отсутствия. Густой слой бархатистой пыли лежал на жакобовских стульях, на слепках, на полотне «Марат». И запыленное мертвое лицо на кар-

тине неожиданно и жутко напомнило Давиду то, что он видел на парижских улицах: бюсты Марата, выброшенные на грязные мостовые и разбитые тростями «инкруаяблей».

V

Он снова за мольбертом в своей мастерской.

В свежепромытые окна льется свет ясного дня. Новый огромный холст натянут на подрамник, тонкие штрихи угля намечают на его шершавой поверхности контуры фигур. Веселые голоса учеников звучат в ателье. Трещит маленькая веселая печка, прогоняя из просторной комнаты последнюю прохладу вандемьера.

Жизнь вновь милостива к Давиду. Он чист от всяких подозрений и почти забыл о печальных днях тюрьмы, о тяготевшем над ним обвинении. Давид — член вновь созданного Национального института, где вместе с ним числится старик Вьен, его учитель, потом противник и теперь коллега.

Слава Давида оказалась сильнее ненависти соперников: но и сейчас то и дело всплывали старые обвинения. Совсем недавно пришлось доказывать министру внутренних дел, что деньги, истраченные на гравировку «Марата» и «Ле Пеллетье», действительно выплачены граверам, а не присвоены Давидом. Счастье, что он догадался сохранить расписки.

Но нападки врагов мало тревожат Давида. Он свободен, может писать, а это самое главное. В тюрьме казалось, что часы работы в мастерской — предел всех человеческих желаний, настоящее счастье.

Однако возвращение в мастерскую еще не возвращение в прежнюю жизнь. Давид начал работать над большой картиной, наброски которой делал еще в Люксембурге, но настоящее увлечение не приходило, он задумывался, ронял кисти. Никто не ждал его картины, некуда было торопиться, не для кого спешить. Что изменится, если сегодня он поработает на два часа меньше или больше? Жизнь не стучится

в мастерскую, нет жара, прежде сжигавшего его сердце. Кому он нужен, живописец Луи Давид, для кого он пишет новое полотно?

Начиная картину, Давид надеялся: она поможет забыть о превратностях судьбы, станет его шедевром. Надо было заново найти себя, обрести уверенность в своем искусстве, даже в своих убеждениях. Как иначе работать дальше?

Надо заставить себя поверить в нынешнюю действительность, примириться с ней: работа для себя — пустая затея...

Всю жизнь он ощущал биение современности в своих полотнах. Но прежней героики нет, она ушла вместе с якобинским Конвентом, вместе с монтаньяром Давидом. Если Давид остался жить, то во имя чего, каких идеалов, каких надежд?

Сейчас более чем когда-либо Давида тянет к древности, но ведь от современности не спрячешься.

И вот, пытаясь примирить непримиримое — минувшую революционную пору и нынешний день, Давид избрал для будущей картины лучшее, что видел в новом времени: установление покоя и мира в стране. Разумеется, надо было растерять последние остатки политической чуткости, чтобы найти в термидорианской Франции это умиротворение. Но как для самого себя Давид искал покоя, так и в жизни он хотел замечать только покой.

Более всего Давид искал примирения в собственной душе: как примирить монтаньяра с человеком, отказавшимся от борьбы. Для живописца картина — решение всех проблем, его оправдание и исповедь. Давид целые дни проводил перед мольбертом. Он писал эпизод истории древнего Рима: женщины останавливают бой между сабинянами и римлянами. Словно чувствуя шаткость замысла, он хотел поддержать его размерами полотна — холст был огромный.

У Тита Ливия Давид разыскал рассказ о том, как в далекие века, которые даже римлянам казались древностью, произошла великая распря между римлянами и сабинянами. Римляне пригласили соседей сабинян на праздник, но намерения римлян были ко-

варны: они неожиданно напали на гостей и захватили в плен присутствовавших на празднике сабинских женщин. Сабиняне решили отомстить, собрали войско и двинулись на Рим. Но в ту минуту, когда готова была разразиться кровавая битва, сабинские женщины бросились в самую гущу воинов и заставили их прекратить бой. С тех пор, говорила легенда, римляне и сабиняне объединились в один народ.

Что могло быть ближе Давиду, чем эта история?

Первые эскизы были сделаны в Люксембурге. Сейчас осень 1797 года, то есть пятого года республики. А картина еще в самом начале работы, для ее завершения нужно не меньше года, а то и двух.

Равнодушие, боязнь того, что ты никому не нужен, еще больше замедляют работу. Радует лишь сам процесс рисования, поисков формы, линии, как радует музыканта прикосновение к клавишам клавесина. Ему представлялось, что поспешность мешала добиться совершенства в картинах, написанных в годы революции. Он старался работать с тщательностью, превосходившей его прежние усилия. Это до некоторой степени вознаграждало его за холодность сердца.

Только ученики дарили ему ничем не омраченную радость. Им Давид был необходим. Видя молодые лица, обращенные к нему с немым обожанием и детским доверием, он чувствовал себя счастливым. А сколько его питомцев уже стали известными и признанными мастерами! Сколько несхожих судеб началось здесь, в мастерской Давида.

Гро — в итальянской армии Бонапарта. Трудно представить себе этого красивого и задумчивого юношу с офицерской саблей на боку. Как переносит он тяготы биваков, суровые ночи в горах? Какую поэзию увидел он в войне, что из его впечатлений останется на полотнах? Быть может, именно его пылкая кисть сохранит для потомства кровавые подвиги генерала Бонапарта?

А Жерар — совсем иной характер, иная участь. Он умел остаться необходимым во все времена. Недавно он был, как и Давид, членом Конвента, теперь он пишет блистательные портреты новой знати и

пользуется славой, пожалуй более громкой, чем его учитель. Он никогда не грешил избытком принципиальности, но разве Давид — судья для него? Все же живописец он превосходный, и Давид рад называть Жерара своим учеником.

Давид никогда не переставал интересоваться начинающими талантами, с радостью принимал новых учеников.

В ателье не царила атмосфера обычного класса. Вспоминая традиции старых мастеров, Давид работал вместе с юными живописцами, вместе с ними рисовал модель. И, наблюдая, как на бумаге рождается рисунок метра, юноши учились с не меньшей пользой, чем слушая его советы и наставления. А сознание, что рядом создается новое полотно, быть может не менее значительное, чем «Горации», волновало учеников, делало их словно участниками работы над «Сабинянками».

Давид с интересом, иногда и с затаенной грустью наблюдал за юношами. Их мало интересовало то, что так недавно было жизнью Давида, они на веру приняли нынешние представления о революции; их увлекали победы французских армий, подвиги генерала Бонапарта, премьеры театров, пышные балы. Давид отнюдь не был аскетом, видел, что все это не мешает им быть хорошими художниками. Но какая пропасть между минувшим и нынешним днем!

Все же на учеников грешно было жаловаться. Почти каждый день приносил Давиду радость открытия. Большое счастье — видеть, как твои идеи и мысли, по-новому преломившись в сознании юного живописца, дают ростки неожиданного искусства, помогают открыть неведомые прежде грани молодого таланта. Недавно к нему поступил семнадцатилетний мальчик, приехавший в Париж из Тулузы, Доминик Энгр, он отлично играл на скрипке, чем сразу же подкупил Давида. Впрочем, в искусстве живописи его способности были куда значительнее: он рисовал с необыкновенным для своего возраста блеском. Первый же этюд, сделанный им в мастерской Давида, поразил и учителя и учеников.

Давид сразу понял: мальчик не войдет в число его последователей. Это талант, не склонный к подражанию. Давид был к нему суров, как, впрочем, почти ко всем. Но Энгр оказался чуть ли не единственным учеником, чей портрет писал Давид. Быть может, желание понять новое поколение толкнуло его заняться портретом юноши?

Слегка пренебрежительное отношение к портрету освобождало Давида от оков античной сдержанности. Портреты он писал, как диктовала натура и собственное желание, — отдыхал, как отдыхает оратор, только что сошедший с трибуны, в бесхитростном разговоре с приятелями. Нередко бывает, что самые лучшие мысли приходят к человеку не на трибуне. Так и Давиду порой удавалось в портретах то, что не выходило в большой картине. Кисть Давида легко и быстро лепила лицо Энгра, сохранившее еще детскую пухлость щек, легкие каштановые волосы, не знавшие пудры и смешно торчавшие надо лбом. А глаза и рот были словно старше, в них притаились мужское упорство, воля. Но не только модель решила характер портрета. Давид сам начинал по-новому видеть мир. Исчезли, растворились в красочных пятнах сухие контуры. Свет падал сбоку, оставляя в густой тени часть лица. Мазки лежали с вольностью внезапной импровизации. Коричнево-багровый фон словно светился. Не прежний устойчивый мир ясных идей, суровых характеров, вечных истин, а мир смятенный и зыбкий жил в портрете. В вопрошающем и серьезном взгляде была пытливость нового поколения, взрослеющего среди противоречивых и бурных событий. Бессознательно или осознанно кисть Давида стремилась вслед за веком. За веком так же далеким от «Сабинянок», как «Сабинянки» от «Марата».

VI

17 фримера шестого года республики в Париж возвратился генерал Бонапарт.

Невиданная слава шла впереди него. Города Пьемонта, Пармского герцогства, Ломбардии отдавали

ключи французскому генералу, отборные австрийские войска под командованием лучших полководцев были наголову разбиты. Римский папа склонил голову перед французским главнокомандующим: драгоценные статуи и картины ватиканских коллекций, обширные земли, не говоря уже о тридцати миллионах франков, были отданы наместником бога на земле двадцативосьмилетнему генералу за то, чтобы он не входил в Рим. Знаменитые кони с собора Святого Марка в Венеции были сняты и погружены на телеги для отправки в Париж. Итальянское золото тянулось во Францию в обозах армии Бонапарта. Блистательный мир, подписанный с австрийцами в Кампо-Формио, завершил кампанию побед. Арколь, Риволи, Кастильоне — названия мест победоносных боев звучали торжественно, как военная музыка. Про мужество генерала рассказывали чудеса: он бросался под пули, туда, куда не решались идти солдаты, шел впереди, держа в руке знамя. Он не знал страха и усталости, рассказывали в Париже, делил с солдатами все тяготы походов; его называли «пти капораль» — «маленький капрал». Солдаты шли за ним на смерть: для одних он оставался революционным генералом, ведь мало кто из солдат понимал, что воюет не за республику прежних лет; для других он был разумным полководцем, приведшим голодную и полуголую армию в обетованную землю, где можно пожить в свое удовольствие и пограбить вволю. Директория, все богатые парижские буржуа радовались победам Бонапарта: побеждала не та армия, которая защищала завоевания преступников монтаньяров, но армия, приносящая Франции богатства и славу.

Французские войска в Италии встречали цветами — в них видели посланцев великой и свободной нации, несшей свободу феодальной Европе. Отблеск 14 июля и 10 августа лежал на знаменах победителей. Ненавистные австрийцы оставляли итальянские города. Иллюзии прочно поселились в душах итальянских патриотов. Долгое время мародерство и грабежи не могли их рассеять.

20 фримера Директория чествовала в Люксембургском дворце героя итальянских походов. Стечение народа было необыкновенное. «Весь Париж» прибыл во дворец, все желали видеть национального героя. Двор был полон и сверкал, как бальная зала. На ступенях перед входом пятеро директоров в своих театральных костюмах, в мантиях и шляпах с султанами встречали генерала.

Давид, как член Национального института, был в числе приглашенных. Несколько месяцев назад адъютант Бонапарта посетил Давида — генерал предлагал художнику приехать к нему в армию. Видимо, Гро рассказами об учителе заинтересовал Бонапарта, и тот, догадываясь, что положение Давида в Париже не слишком прочно, послал приглашение. Давид отказался, он был занят «Сабинянками». Сейчас, однако, он с удивлявшим его самого нетерпением ждал появления Бонапарта. К несчастью, он стоял далеко и во время торжественной церемонии успел разглядеть лишь небольшую легкую фигуру генерала в узком мундире. Талейран встретил Бонапарта торжественной речью. Потом говорил генерал. Он назвал французов «великой нацией», это очень понравилось слушателям.

Через некоторое время Давид встретился с Бонапартом лицом к лицу. Секретарь Директории Лагарт представил живописца генералу, желавшему познакомиться с прославленным художником. Впервые в жизни Давид видел перед собой человека, о котором шумела Европа. Он еще раз удивился молодости полководца. Узкое желто-смуглое лицо Бонапарта казалось почти юным, только спокойная замкнутость выдавала волю зрелого человека. Длинные волосы прямыми прядями падали на высокий шитый ворот. Глаза смотрели спокойно и холодно. Видимо, пестрая сутолока зала не рассеивала внимания генерала — он всецело был занят тем, о чем говорил. Речь его, точная, деловитая, не отличалась блеском, но сознание собственной значительности, сквозившее в словах Бонапарта, придавало им особый, высший смысл. Так по крайней мере казалось Давиду. Он ви-

дел много великих людей, однако большинство из них слишком хорошо знал, чтобы вполне ощущать их исключительность. А всемирная слава генерала настолько превосходила его земное обличие, что просто нельзя было не видеть во всем, что он делал и говорил, чего-то поистине необыкновенного.

Между тем то, что говорил Бонапарт, было просто и обыкновенно. Он сказал, что давно хотел быть представленным знаменитому художнику, что знакомство это для него большая честь и что искусство Давида всегда вызывало его восхищение. Впрочем, он не сказал ничего, что свидетельствовало бы о знании картин Давида.

Они стояли в широкой амбразуре окна и спокойно беседовали — великий полководец и великий художник. На Давида смотрели с завистью: завладеть вниманием генерала, даже на несколько минут, считалось редкой честью. Бонапарт, когда садились за стол, казался очень увлеченным беседой, он даже попросил разрешения обменяться местами с соседом Давида, чтобы продолжать разговор. Неизвестно, что толкнуло его на столь продолжительную беседу с художником: Бонапарт ничего не делал зря и не любил тратить время на пустые разговоры. Но в этот вечер он словно задался целью покорить живописца и вполне преуспел в своем намерении. Давид любовался его профилем, сухим и четким, как на римских геммах, изображавших цезарей: нацарапал торопливый набросок, подписав под ним «Генерал великой нации». Глаза жадно вглядывались в лицо полководца, отмечая характерные черты, необходимые портретисту: низкий лоб, губы, вырезанные надменно и капризно, высокие скулы, выступающий, резких очертаний подбородок. Он просил генерала подарить ему хотя бы один сеанс, он должен написать портрет. Как скучала кисть Давида по возвышенному и героическому! «Сабинянки» не могли насытить его искусство, давно и накрепко сросшееся с реальной действительностью.

Бонапарт согласился, хотя без особой радости. Обещал приехать в мастерскую в ближайшие дни. Давид вернулся к себе, воодушевленный мыслью

о будущем портрете. Назавтра ученики по указанию Давида соорудили помост в ателье. Бонапарт, однако, не являлся. Художник послал ему несколько записок. Выяснилось, что генерал попросту забыл о данном обещании.

В конце концов он все же приехал, вызвав в Лувре чудовищный переполох: из всех мастерских выскочили художники, провожая глазами знаменитого гостя. Дюсси, ученик Давида, вбежал в ателье, дрожа от восторга, и провозгласил, словно актер, играющий трибуна во французском театре: «Вот он — генерал Бонапарт!»

Бонапарт вошел, не обратив внимания на всеобщее смятение, два офицера его сопровождали. Генерал был одет просто, как для обычной верховой прогулки: синий редингот поверх белого колета, высокий черный галстук. Пудреные волосы оттеняли загорелое лицо. Он бросил треуголку в кресло, раскланялся с Давидом. Пока Давид приготовлял краски и обсуждал с адъютантом детали костюма, в котором собирался писать генерала, Бонапарт внимательно разглядывал «Брута» и «Горациев». Лицо его при этом оставалось совершенно бесстрастным. Потом он надел мундир и занял место на помосте.

Давид принялся за работу. Композиция портрета была готова в его воображении, он даже успел набросать ее на холсте. Художник решил изобразить генерала без шляпы, с развевающимися волосами, держащим в руке мирный договор с Австрией. Сделав быстрый рисунок, Давид начал писать. Проложил тон мундира, воротника, каштановых волос, на которых тускло серебрилась пудра, смуглого лица. Сходство появилось сразу: воспоминания о первом впечатлении в Люксембургском дворце, сделанный там набросок, размышления минувших дней помогли Давиду. С едва тронутого красками холста смотрело сухое властное лицо с презрительным ртом и острым, выступающим подбородком. Глаза внимательно вглядывались в даль, словно озирая позиции неприятеля.

Сеанс продолжался около трех часов. Бонапарт

прервал его вежливо, но решительно. Почти не взглянув на холст, он стал прощаться с Давидом.

— Напрасно вы не согласились приехать в мою армию, — сказал он, — следует ли избегать живописцу современности? Ваш ученик Гро стал настоящим солдатом и видел войну. Быть может, меня ждут еще более чудесные места. Поедемте. Я отправляюсь в страну, которая славится своим чудесным небом и ценнейшими памятниками древности.

Давид ответил ни к чему не обязывающей фразой, он не понял, о какой стране идет речь, и не стал расспрашивать. Быть может, знай он, о чем говорит Бонапарт, он согласился бы ехать. Неведомо для самого себя Давид одним из первых во Франции услышал о намерении Бонапарта отправиться в Египет.

Сопровождаемый все тем же всеобщим любопытством и восторженным шепотом луврских коридоров, Бонапарт уехал.

Давид был очарован: вновь ощутил он дыхание героизма. Наконец он узнал человека, столь счастливо сочетающего в себе внешность античного героя с доблестью Ганнибала, человека, видимо способного вдохнуть новую жизнь в ослабевающее тело Франции. Не ему ли суждено вернуть республике величие, утраченное с падением якобинского Конвента? Давид слышал, что генерал называл себя «Робеспьером на коне».

На следующее утро художник находился в отличном расположении духа, ученики его обступили, ожидая рассказа о Бонапарте. Давид долго и восторженно говорил о генерале; приказав тонко отточить карандаш, одним движением начертил на стене мастерской врезавшийся в память гордый орлиный профиль. Ученики стихли, захваченные мастерством учителя и надменной суровостью мгновенно возникшего на стене лица.

— Да, друзья мои, да, милые мои друзья, — восклицал Давид, глядя на свой рисунок, почти с таким же воодушевлением, как его ученики. — Бонапарт — мой герой!

VII

Пока Давид, вспоминая короткое знакомство с Бонапартом, медленно заканчивал своих «Сабинянок», история Франции стремительно неслась к новым переменам. Еще до того, как полотно Давида было вставлено в раму, совершились события для многих и, уж во всяком случае, для Давида совершенно неожиданные. Возвратившись триумфатором из Египта, славного «чудесным небом и ценнейшими памятниками», Бонапарт решил, что настало время действовать. Директория окончательно теряла свой авторитет. Хозяева страны — крупные буржуа — хотели твердой власти, порядка, защиты своих интересов, хотели богатых колоний и сильной армии. Всего этого не имела Директория, и все это они могли ждать от Бонапарта. К тому же именно военный, и военный решительный, мог защитить буржуа от самого опасного врага — народа и от врага тоже опасного, хотя и не в такой степени, — роялизма. Словом, генерал должен был стать спасителем буржуазной Франции, что он и не замедлил сделать. Ему понадобилось меньше месяца, чтобы подготовиться к перевороту, и всего три дня, чтобы этот переворот произвести. 20 брюмера все было кончено. Штыки гренадеров Мюрата очистили залу заседаний Совета пятисот, где последние сохранившие мужество депутаты пытались протестовать против насилия и спасти остатки республики. Совет старейшин и сами директора еще раньше проявили совершенную покорность. Несколько депутатов, силою приведенных в залу заседаний, из которых их выгнали несколько часов назад, вынуждены были подписать все документы, нужные Бонапарту. Республика перестала существовать. Началась диктатура.

Давид узнал о перевороте от своего ученика Этьена Делаклюза. Итак, республики больше нет. Правда, от нее оставалось немного, но все же горько расставаться с последними иллюзиями. Он сказал Делаклюзу:

— Что ж, я всегда думал, что мы еще недоста-

точно добродетельны, чтобы быть республиканцами. Как это говорится, Этьен? «Victrix causa diis placuit sed victa Catoni...» *.

Во Франции теперь не существовало ни Директории, ни Совета пятисот, вообще ничего, что напоминало бы о прежнем правительстве. Вместо него во главе страны стояли три «консула», из которых единственным реальным правителем был генерал Бонапарт, а Сиейс и Роже-Дюко просто играли роль, данную им генералом.

Все эти месяцы Давид был занят окончанием «Сабинянок»: даже бурные события брюмера мало его отвлекли. Обладая способностью всецело отдаваться чему-то одному, он думал только о картине.

Наконец завершен труд многих лет: ни одну из своих картин Давид не писал так долго, ни в одной из них не было такого количества фигур, если не считать так и не оконченной «Клятвы в зале для игры в мяч». Бурная битва застыла на полотне, скованная бесстрастной чистотой линий. Прекрасные, как мраморные статуи, обнаженные воины замерли с оружием в руках. Даже женщины сабинянки, бросившиеся разнимать врагов, будто окаменели, даже мать, поднявшая ребенка к небу, остановилась, подобно изваянию.

Лес взметенных копий подымался в глубине картины у стен древнего Рима. Впереди два вождя остановились перед решительной схваткой. Ромул готов метнуть легкий дротик, предводитель сабинян Таций ждет врага с обнаженным мечом и поднятым щитом. Оружие, скопированное с самых лучших увражей, могло поразить ученейшего археолога точностью очертаний. Герои картины соперничали совершенством фигур с созданиями греческих скульпторов. Все они были написаны с натуры. Для Ромула позировал Бейяр — один из учеников Давида, для Тация — известный танцовщик Дежвиль. А для сабинянок позировали не натурщицы, а светские дамы,

---

* Победившее дело мило богам, побежденное — Катону *(лат.)*.

что вызвало многочисленные пересуды среди любителей искусства и живописцев.

Давид снова входил в моду. Его мастерская часто посещалась гостями, среди которых бывало немало женщин. В те дни, когда вольность нравов и экстравагантность поступков почитались непременными условиями светского успеха, дамам казалось, что позировать художнику в высшей степени необычно и пикантно. Некоторым из них хотелось быть полезными знаменитому живописцу и заодно приобрести частицу его славы. В добровольных натурщицах не ощущалось недостатка.

Давид не позволял себе перенести на холст облик моделей с той же непосредственностью, как при работе над портретом. Каждая линия поверялась античными образцами. Ничто случайное, не вполне совершенное не проникло в картину: ни легкий, развившийся локон, ни маленькая неправильность лица, придающая ему такую неповторимую прелесть, ни живой и веселый разрез глаз, ни бровь, приподнятая раздумьем. На полотно попадала лишь частица жизни, вполне удовлетворявшая холодный, не знающий компромиссов вкус. Болезненная жажда чистоты стиля, желание во что бы то ни стало максимально приблизиться к античности заменяли Давиду утраченный жар творчества. Заменяли или пытались заменить. Что могло сравниться с грозным призраком Марата, требовавшим бессмертия, с горькой болью за гибель героя, звавшей художника к мольберту в любой свободный час, торопившей кисть, волновавшей совесть? Что могло сравниться с этим голосом в Конвенте: «Где ты, Давид?.. Тебе осталось написать еще одну картину...»? Разве можно заменить все это исступленными поисками совершенного рисунка? Он думал о наступившем умиротворении в стране, об остановленной битве, но верил ли в это? Если художнику нечего сказать, у него есть много времени рассуждать о чистоте стиля.

Бонапарт — он назывался теперь «первый консул» — посетил мастерскую, когда «Сабинянки» не были еще окончены. Он был заметно разочарован,



Жерико. Офицер конных егерей. Масло. 1812.



Леонид в Фермопилах. Масло. 1814.

увидев, что Давид занимается древностью. Сказал с обычной своей уверенностью:

— Я никогда не видел, чтобы солдаты сражались, как ваши воины.

Он взял стоявший в углу муштабель и, держа его, как ружье, наперевес, показал штыковой удар.

— Вот как сражаются!

Удивленный Давид ответил, что пишет не гренадеров, а героев древности.

— Но ваши бойцы лишены огня, движения, энтузиазма, поэтому, мой милый Давид, поверьте мне, исправьте это, кто угодно согласится со мною...

Давид был раздосадован. Впервые самоуверенность Бонапарта вывела его из терпения.

— Эти генералы ничего не смыслят в живописи, — сказал он ученикам, когда консул уехал.

...Он не стал выставлять «Сабинянок» в салоне, решил показать картину публике совершенно самостоятельно, не прибегая к посредничеству. Прежде Давид меньше заботился о своей выгоде. Теперь же, казалось ему, надо думать о себе: он один теперь.

И вот 1 нивоза восьмого года республики в одном из луврских залов открылась невиданная в истории французской живописи выставка, где была представлена только одна-единственная картина. За вход полагалась небольшая плата: один франк пятьдесят сантимов. Чтобы объяснить столь новый во Франции порядок, Давид написал брошюрку, раздававшуюся здесь же, на выставке.

Парижский большой свет, взбудораженный слухами о новой картине бывшего якобинца и знаменитого художника, о картине, для которой, как говорят, позировала мадам Бельгард, желал видеть полотно. Чиновники, военные, дамы, коммерсанты, журналисты — весь пестрый люд премьер и вернисажей был здесь. Модные высокие треуголки, галстуки, поднятые чуть ли не до ушей, разноцветные фраки, окончательно вытеснившие кафтаны, открытые платья с непомерно высокой, как на греческих туниках, талией, резные трости, лорнеты в золотой оправе пестрели в толпе, где трехцветные розетки на шляпах и чепцах

были так же обязательны, привычны и незаметны, как пуговицы на жилете. На лицах — откровенное любопытство, брошюра Давида мелькала в руках. Как необычно то, что написано в ней: «...Какой другой способ является более достойным для получения почета и награды за свой труд, как представление его на суд публики и ожидание награды, которую она захочет ему оказать? Если произведение непосредственно, суждение публики воздает художнику по заслугам. Автор, не получив ни славы, ни награды, научится путем сурового опыта, как исправить свои ошибки и покорить внимание зрителей более счастливыми замыслами...

...Как мне было бы приятно, насколько счастливым я чувствовал бы себя, если бы, дав пример публичной выставки, я мог ввести устройство выставок в обычай... Этот обычай доставил бы средство спасти художников от бедности, и вследствие этого я тем самым способствовал бы возвращению искусством их истинного назначения, которое состоит в служении морали и возвышении душ, в передаче душам зрителей благородных чувств, вызываемых произведениями художников... Введение в обычай выставок может придать великое движение общественной энергии и национальному характеру... Как только живопись или скульптура создавали прекрасное произведение, оно тотчас же становилось добычей богача, который им завладевал, часто за незначительную цену, и, ревнивый к своей исключительной собственности, предоставлял это произведение для обзора только небольшому числу друзей: обозрение его было запрещено остальному обществу. Наоборот, при поощрении системы публичных выставок народ за небольшую плату приобщится к богатствам гения: он просветится относительно искусств, к которым он вовсе не так безразличен, как принято думать; просвещение народа возрастет, его вкус сформируется. И хотя бы он не был достаточно опытен для определения тонкостей или трудностей искусства, его суждение, всегда продиктованное природой и всегда проникнутое чувством, может зачастую быть лестным для автора

и даже многому научить его, если он сумеет это суждение оценить...»

Кому, как не Давиду, было ценить суждение народа, когда столько лет он работал не для салонов, а для всего Парижа, для нации? Но мысли, высказанные в брошюре, многих коробили: что за чудовищное и непристойное вольнодумство — нет ли здесь привкуса якобинства?

Вообще реакция зрителей оказалась двусмысленной. Суждения знатоков, признававших высоту стиля и верность древности, тонули в недоуменных веселых возгласах, в возмущенном шепоте: подумать только — изобразить столько людей голыми! Какое неприличие, какой срам! Глухая стена непонимания стояла между зрителями и холстом. Гигантское полотно, такое далекое от всяких земных страстей, от тепла и живого волнения, неожиданно вызвало у зрителей поток фривольных мыслей. И всего парадоксальнее, что возмущалась «Сабинянками» верхушка директорийского общества, чья распущенность входила в пословицу. Но не секрет, что самые распущенные люди порой одержимы желанием выставлять напоказ свои добродетели. Или просто в картине, полной трезвых расчетов и дисциплинированной мысли, осталось слишком мало чувства и зрители, неспособные воодушевиться полотном, искали в нем не то, что в нем было?..

В первые же дни после открытия выставки о «Сабинянках» заговорил Париж. Но что это была за слава! Сенсация с сильным привкусом скандала, известность, которая хуже забвения. Модная новинка, о которой весело болтать, но не хочется задумываться. Мадам Бельгард гордилась тем, что все ее узнавали. Она даже приехала в оперу с волосами, убранными в точности, как на картине. Появились скабрезные эпиграммы, карикатуры на полотно Давида. В Опера Комик шли репетиции веселого водевиля «Картина «Сабинянки». «Что это, чудовищное заблуждение?» — думал Давид, простодушно забывая, что зритель способен восхищаться идеей и мыслью картины только в том случае, когда они рождены временем. Он забывал, что «Горации» пленяли Париж не только чис-

тотой рисунка и благородством форм, но более всего мужественным порывом к свободе.

Конечно, идею «Сабинянок» можно было расшифровать, но можно ли почувствовать ее, воспламениться ею? Один просвещенный литератор, спустя уже немало времени после открытия выставки, говорил Давиду: «Мне кажется, что я вижу французов разных партий, душащих друг друга собственными руками, и родину-мать, бросающуюся между ними». Давид обрадовался — теперь его не баловали пониманием, а ведь прежде его понимали так хорошо. Конечно, если бы во Франции действительно воцарились покой и мир, «Сабинянки» взволновали бы зрителей больше. Но слишком далека была жизнь страны после 18 брюмера от умозрительного идеала картины.

Давид отошел от своего времени, да и само время стало чужим художнику.

Только в одном отношении успех «Сабинянок» не вызывал сомнений — в отношении материальном. Любопытство заставило парижан исправно платить за вход. Выручка была большая. На этом кончался успех.

VIII

19 плювиоза восьмого года Бонапарт переехал в Тюильри.

Церемония была обставлена с великой пышностью: шесть белоснежных коней — подарок генералу от австрийского императора после подписания кампоформийского мира — везли карету первого консула. Он проехал через Париж в сопровождении двухтысячного отряда гвардии, множество высших правительственных чиновников его сопровождали. Перед Тюильри были выстроены войска.

Бонапарт приказал называть Тюильри Дворцом правительства во избежание преждевременных кривотолков, но с близкими людьми был откровенен.

— Бурьен, — сказал он на следующее утро своему секретарю, — попасть в Тюильри — это еще не все, надо здесь остаться...

Впрочем, дворец декорировался пока в сугубо республиканском духе: в галерее Дианы установили бюсты Брута, Цицерона, Вашингтона. Бонапарт обратился к Давиду с просьбой поместить в Тюильри картину «Брут». Вообще первый консул не забывал художника. В начале вантоза Давид узнал, что назначен «живописцем правительства».

Давид отказался от этого места.

Он не хотел и боялся официальных должностей, боялся новых врагов. Может быть, и еще какие-нибудь никому не ведомые соображения им руководили. Так или иначе, он отправил в парижские газеты такое письмо:

«Граждане!

Многие газеты сообщили несколько дней назад, что я был назначен постановлением консулов «живописцем правительства». Они сообщили правду, и я получил даже извлечение из списка постановлений, где объявлено о моем назначении. Но они не могли сообщить, что тотчас по получении этого постановления я отправился к министру внутренних дел, которому второй статьей декрета поручалось заботиться о замещении этой должности, чтобы просить его не делать этого и благоволить его принять мою благодарность и мой отказ от места, которое, как мне казалось, могло принести пользу только мне, а не искусству и не художникам, единственным предметам моей заботы.

Привет и уважение

Давид, член института».

Тем не менее при личном свидании Бонапарт был очень любезен с Давидом, казалось даже, что его отказ понравился генералу. Художник вглядывался в лицо Бонапарта, стараясь разглядеть в нем приметы внутренних перемен. Действительно, что-то новое появилось в лице консула, исхудалом, покрытом темным загаром, словно обожженном египетским солнцем. Оно приобрело окончательную определенность черт: будто резец времени окончил свою работу. Каж-

дый жест был точен, в каждой фразе сквозила уверенность в своей полной власти, в том, что все в его руках. Так оно и было на самом деле. Новая конституция давала первому консулу совершенно неограниченные диктаторские права. Спокойно и небрежно, будто речь шла о совершенно пустяковом деле, он спросил живописца:

— Не хотите ли вы стать членом государственного совета?

Давид отказался. Он не представлял себе, что может заниматься рассмотрением и редактированием законов. Сказал, что глубоко тронут честью, но предпочитает быть живописцем, а не законодателем.

Бонапарт вытащил из кармана крошечную табакерку.

— Сейчас я занят составлением списков будущих сенаторов, — сказал он. — Было бы недурно, чтобы в их числе оказался живописец...

— Времена и события убедили меня, что мое место — в мастерской, — сказал Давид со всей возможной твердостью. — Я всегда любил мое искусство и занимался им со страстью, мне хотелось бы отдаться ему целиком. К тому же должности уходят; я же надеюсь, что искусство мое останется... А что до вашего желания видеть в сенаторском кресле художника, генерал, — добавил Давид, — то полагаю для этой цели подошел бы мой прежний наставник, м-сье Вьен, чьи седины и заслуженная слава делают его достойным самых высоких должностей.

Он искренне хотел угодить своему дряхлеющему учителю, так много пережившему за последние годы. Вьен, наверное, будет счастлив окончить свою жизнь сенатором.

Вскоре после битвы у Маренго генерал заказал Давиду свой портрет. Было решено, что художник напишет Бонапарта при переходе через Сен-Бернар.

— Отлично, — сказал тогда Давид, — я напишу вас со шпагой в руке!

— О нет, — ответил Бонапарт, — сражение выигрывают не шпагой. Я хочу, чтобы вы написали меня спокойным на вздыбленной лошади...

Первый консул произнес эти слова с такой уверенностью в том, что нет и не может быть никаких возражений против его желания, что Давид мог бы почитать себя оскорбленным. Но, как всегда, говоря с Бонапартом, он хотел видеть в его словах глубокий, скрытый смысл и подумал, что в таком портрете есть что-то интересное, почти символическое. Он согласился и попросил генерала назначить день для работы.

Бонапарт взглянул на Давида с хорошо разыгранным недоумением:

— Вы хотите, чтобы я позировал?

— По крайней мере надеюсь на это.

— Позировать? Но зачем? Неужели вы думаете, что великие люди древности, чьи изображения сохранились до нас, позировали художникам?

Генерал расхаживал по кабинету с пером в руке. Собственная мысль, видимо, показалась ему удачной. Он остановился перед Давидом, ожидая ответа.

— Но, генерал, я пишу вас для нашего века, для людей, которые вас видели, которые вас знают. Они захотят увидеть вас похожим.

— Похожим? — Бонапарт опять зашагал по комнате; маленькие золотые шпоры тонко звенели по паркету. — Похожим... Но ведь не точность черт, не маленькая бородавка на носу создают сходство. Характер, одухотворяющий лицо, — вот что нужно писать.

За такое рассуждение Давид, наверное, не задумываясь, отчитал бы ученика. Но это говорил первый консул, человек, остававшийся необыкновенным в глазах живописца.

Все же он возразил:

— Но ведь одно не мешает другому.

Бонапарт нетерпеливо передернул плечом.

— Ну, конечно же, Александр не позировал Апеллесу. Кому важно, похожи ли портреты великих людей? Достаточно, чтобы в них жил их гений. Вот как следует писать великих людей...

С удивлением посмотрел Давид на маленького худого человека в узком мундире, жестком от золо-

того шитья. Так беззастенчиво и непринужденно назвать самого себя гением и великим человеком может либо безумец, либо действительно гений.

Просторный кабинет первого консула сверкал драгоценной мебелью. Совсем некстати Давид вспомнил, что это тот самый кабинет, который когда-то принадлежал французским королям. Наверное, мало что здесь переменилось. Только за открытыми дверями вместо камер-лакея солдат в высокой меховой шапке. И Париж за стенами Тюильри гораздо прочнее завоеван Бонапартом, чем королями. Да, перед Давидом полновластный диктатор — тридцатилетний повелитель Франции. Разве он может быть не прав? Он смотрит на мир, как ему заблагорассудится, — ведь он властен изменять его по своему желанию.

Давид смешался, не нашел в себе мужества возразить. Он давно утратил былую твердость. И, почтительно склонив голову, пятидесятидвухлетний живописец ответил молодому генералу:

— Вы правы. Я напишу вас без этого. Вы учите меня искусству живописи.

Бонапарт оставался неизменно любезен с Давидом, поскольку вообще умел быть любезным этот холодный и деспотичный человек, он хотел вполне подчинить живописца своей воле. Давид получал приглашения на приемы, все чаще устраиваемые в Тюильри. Там царила Жозефина Бонапарт и ее дочь от первого брака — Гортензия. В прежних апартаментах Марии Антуанетты возрождались непринужденные и изысканные нравы минувшего века. Здесь не говорили «гражданин», только «м-сье». Жозефина, действительно способная привлекать к себе людей и к тому же пользующаяся заслуженной репутацией дамы не самых строгих правил, собирала вокруг себя всех, в ком нуждался Бонапарт. «Я завоевываю страны, — говорил генерал, — а Жозефина завоевывает мне сердца».

Отказавшись от всех предложенных Бонапартом почетных и выгодных должностей, Давид просил разрешения сопровождать консула во время его утрен-

них прогулок. Здесь он делился с генералом планами об украшении Парижа, и генерал внимательно прислушивался к замечаниям художника: он умел ценить полезных людей, а Давид, без сомнения, был человеком полезным. Давид же наивно полагал, что сможет возродить таким образом влияние на художественную жизнь столицы, не обременяя себя официальными должностями. Былое честолюбие начинало в нем просыпаться. Происходило это не без влияния судьбы его нового героя: ведь жизнь способна на такие исключительные перемены и метаморфозы, может быть, былое вернется?

Но нелегко поддерживать в себе такие иллюзии; Давида жег только холодный огонь честолюбия, а не искренняя жажда творчества. Сердце оставалось спокойным; зато глаза имели множество острых впечатлений, в которых раскрывался смысл сегодняшнего дня. Новая Франция еще не нашла своего живописца. А жизнь той поры была великолепна, блистательна, если можно называть жизнью ту ее часть, которая оставалась доступна глазам Давида. И, конечно, первым ее героем был Наполеон.

Вполне ясно и недвусмысленно Бонапарт изложил свое представление о будущем портрете. Давиду ничего не оставалось, как согласиться: отступив однажды, он уже не мог возражать.

Как в работе над «Сабинянками», он восполнял живое вдохновение тщательностью построения рисунка — десятки раз передвигал фигуру, искал единственное ее положение в холсте, старался соединить в неразрывное и четкое целое бешеного коня и спокойного всадника. Картина получалась бесстрастной и стройной, как алгебраическое уравнение.

Сходство Давид сохранил. У него остались наброски, да и без них он помнил генерала. Для фигуры позировали старший сын и художник Жерар. Портрет нравился зрителям, восхищаясь Бонапартом, восхищались Давидом. Труднее всего упрекнуть живописца за холодность, тем более, когда она скрыта блеском кисти лучшего мастера Франции. Все было великолепно в картине: вздыбленный конь на краю про-

пасти, широкий плащ, бьющийся на ледяном ветру, спокойный жест руки генерала, посылающего вперед войска, лицо полководца, лишенное малейшей доли волнения. Все эффектные детали: блестящая сбруя, золоченый эфес сабли, шляпа с галуном, шитье воротника, взметенная грива лошади — были расположены на холсте в продуманном и четком беспорядке и составляли мозаику столь же единую, сколь богатую. Контур фигур всадника и коня мог поспорить с чистотой рисунка античных гемм: линия торжествовала в картине, она билась, жила, двигалась в упругом и четком ритме. На холсте возник живой образ времени, прячущего за ослепительным блеском торжественных церемоний трезвый расчет и за гордостью побед — жажду власти.

На скале, попираемой копытами коня, были начертаны имена Карла Великого, Ганнибала и Бонапарта.

Первый консул остался очень доволен. Впоследствии он заказал три повторения картины.

Звезда Давида вновь поднялась высоко. Не имея никаких официальных должностей, он оставался первым живописцем республики. Позировать Давиду считалось высокой честью, мало кому это удавалось. Одной из немногих, кому выпала эта честь, была мадам Рекамье. Ее портрет занимал Давида, во всяком случае он писал его с бо́льшим увлечением, чем портрет консула.

Каждая эпоха имеет свой облик, неповторимый и нелегко замечаемый современниками. Нередко именно кисти художника приходится материализовать и выразить на полотне то, что лишь угадывается, но не находит еще четкого выражения. Давид не случайно с такой жадностью писал мадам Рекамье: за нею он различал новые характеры и судьбы, новое обличие эпохи. Даже в том, что он, Давид, пишет сейчас не депутатов Конвента, не буржуа, не политиканов, а хозяйку модного салона, было знамение времени: прежде первый живописец страны писал либо королевскую семью, либо революционеров.

Сама модель, сама мадам Рекамье, прославленная тонким умом и красотой, хозяйка знаменитого салона, обладала судьбой и положением, которые редко можно было встретить в минувшие годы. Дочь откупщика, жена банкира, соединившая в своем салоне последних оставшихся в живых аристократов, сливки новой знати, литераторов и политиков, музыкантов и ученых, она умела царить над всеми и восхищать всех. В ней причудливо сочетались циничная трезвость с романтической восторженностью. Дитя своего века, она обладала разумом свободным и разочарованным, умела все понимать и всему радоваться, не увлекаясь ничем всерьез.

Ее салон впитывал в себя не просто моду, но только то, что скоро должно было стать модой, само дыхание новых веяний и мыслей. Все это не было биением настоящей жизни, только поверхностным ее блеском, но и в блеске этом угадывалось многое: будущий большой свет, не чуждый аристократизма, гонимого и презираемого так недавно, политика, решаемая в салонах, сложные переплетения изящных сплетен, государственных интересов, рассуждений об искусстве.

Давид писал свою героиню в стиле самом новом и для него самом близком — в греческом стиле. Не без участия воли и вкуса Давида, его картин, его учеников, даже знаменитой жакобовской мебели дух древности все больше распространялся в салонах Директории и консулата. Привезенные из Египта украшения и рисунки памятников сводили с ума художников и любителей искусства. Классика вновь входила во Францию, но не в скромной тоге философа, не в панцире Горациев, а в золоченых доспехах и пурпурных одеяниях триумфаторов. Подражание античности, рожденное стремлением к мудрой справедливости, теперь сменилось жаждой пышности, славы. Торжественные формы античности оказались подходящими для победоносной Франции. Отблеск новых поисков в искусстве падал на частную жизнь: что прежде было уделом художников и проникало лишь в картины или ученые трактаты, теперь инте-

ресовало салоны. Дамы одевались и причесывались по образцам «этрусских ваз». Мебель, похожая на жакобовские кресла, стала модной. Вольность одежд подчеркивалась строгостью их форм.

Давид писал мадам Рекамье полулежащей на легком канапе, своими очертаниями напоминавшем греческие ложа. Канделябр со светильником, почти точная копия геркуланумского, стоял у изголовья. Точеное тело мадам Рекамье, облаченное в платье, подобное греческой тунике, было прорисовано скупым и нервным контуром, которому вторили простые линии изысканного ложа. Певучие строгие линии пронизывали все в картине, объединяли тело и предметы; мебель становилась украшением человека, как платье или драгоценности. В светильнике, в изгибе спинки канапе было спокойное равновесие, неотрывное от человека. Обнаженные руки, шея и ступни маленьких ног были совершенны, как у богини. И лицо женщины, царившее на холсте, причудливо сочетало в себе живость парижанки с правильностью черт статуи. Оливковые, тускло-золотистые, серо-стальные тона придавали полотну сдержанность и достоинство, будто отблеск древних мраморов падал в эту парижскую комнату. Само время жило в картине, жило со своей острой и поверхностной мыслью, с любовью к античному маскараду, к простоте, доведенной до изысканности, с вольностью одежд, жаждой идеала, не менее далекого от действительности, чем образы Буше.

Но мадам Рекамье, видимо, не осталась довольна портретом. Его высокая и холодная красота показалась ей скучной. Не дождавшись, пока Давид кончит работу, она заказала свой портрет Жерару.

Узнав об этом, Давид отказался продолжать работу.

— Мадам, — сказал он, — позвольте и художникам иметь свои капризы.

Портрет остался незаконченным.

А Жерар написал мадам Рекамье, как она хоте-

ла: не холодной богиней, а обольстительной красавицей. Кому нужна настоящая античная красота, если в ней пропадают чары модной хозяйки салона?

Да, время все больше отдалялось от Давида — современники переставали его понимать. Но кисть его многое угадывала, предчувствовала. Разные грани жизни — от побед первого консула до тончайших оттенков современных нравов — преломлялись в его картинах. Далеко ушли трибуны Конвента, мертвые черты Марата, тревожный Париж революционных лет. От всего этого осталась лишь маленькая кокарда на шляпе и тщательно запрятанные холсты. Но что в этом? Картин никто не видит, а такая же кокарда на шляпе первого консула, куда больше похожего на короля, чем коронованные монархи.

IX

27 марта 1804 года сенат Французской республики, назначенный, как известно, самим Бонапартом, обратился к нему с посланием. Там прямо говорилось о необходимости установления наследственной монархии. Подлинные, мнимые и просто спровоцированные заговоры против первого консула тревожили буржуазию. Погибни Бонапарт — и снова смуты, междоусобица, борьба за власть, опасность со стороны республиканцев и роялистов, возможные поражения в войнах. Нужна династия, нужен нерушимый порядок, защищающий собственность, богатство, власть денег. 3 мая сенат отправил в трибунал постановление: «Сенат убежден, что высшие интересы французского народа требуют, чтобы правление республикой было доверено Бонапарту в качестве наследственного императора».

Только один человек не согласился с этим постановлением — Карно: «Если этот гражданин восстановил свободу, если он создал благополучие своего отечества, возможно ли приносить ему в жертву в виде награды самую эту свободу?..»

Это был глас вопиющего в пустыне. Он ничего не

мог изменить. Сенат утвердил то, что давно было решено буржуазией и самим Бонапартом. Впрочем, сейчас его называли Наполеоном I, божьей милостью и установлением республики императором французов. Коронация должна была состояться 2 декабря 1804 года в соборе Нотр-Дам.

В это же примерно время Луи Давиду была заказана картина, долженствующая изображать коронацию, и обещан гонорар в сумме ста тысяч франков. Кроме коронации, ему предстояло написать еще несколько холстов, посвященных восшествию Наполеона на престол, и в их числе большое полотно «Раздача орлов». Эта картина должна была изображать церемонию раздачи знамен гвардейским полкам — помпезную театральную сцену, разыгранную на Марсовом поле вскоре после коронации.

Для коронации Давид должен был написать около полутораста портретов виднейших сановников государства, найти композицию, при которой все действующие лица получили бы подобающее место, выбрать единственно важное мгновение во всей церемонии и, наконец, ухитриться передать весь спектакль на полотне так, чтобы получилось произведение искусства, а не просто развлекательная картинка.

Он отнесся к лестному заказу без воодушевления, но самолюбие его было удовлетворено. Давид вообще терял прежнюю пылкость, он спокойно плыл по течению, увлекавшему его к славе. Лацкан его фрака украшала алая ленточка с пятиконечным крестом белой эмали — недавно введенный орден Почетного легиона. Он не успел получить орден Святого Михаила от Бурбонов — Бонапарт возместил потерю. Молодые живописцы почитали его чуть ли не за патриарха французской живописи. Давиду казалось, что он куда старше своих пятидесяти шести лет. Он не то что дорожил своим местом первого живописца Франции, но как-то не представлял себе другое место, достойное его. Единственной настоящей страстью оставалась живопись. Но ему уже становилось все равно что писать.

Церемониал должен был затмить все известные истории празднества. Короновать императора, как казалось Бонапарту, достоин только сам римский папа, причем не в Риме, а в Париже, что вообще не имело примеров в мировой истории. Поскольку Пий VII находился в совершенной зависимости от будущего императора, он не мог возражать и безропотно согласился. В начале ноября папа уже находился в дороге.

Изабе, известный живописец-миниатюрист, ученик Давида, был назначен главным организатором церемонии. Заказав лучшему в Париже игрушечнику крошечные фигурки всех действующих лиц предстоящего спектакля, он раздумывал над порядком их движения, расположения в соборе, места в торжественной процессии.

Пока Изабе развлекал Бонапарта репетициями своих солдатиков на большом столе в Тюильри, Давид без устали работал, подготовляя этюды композиции и делая портреты участников.

К концу ноября общая композиция картины была решена, часть портретов написана. Оставалось ждать самой коронации.

17 ноября в Париж прибыл Пий VII, один за другим приезжали послы великих держав. Спешно восстанавливались и придумывались заново правила придворного этикета, вводились придворные должности и чины. Вновь появились упраздненные титулы. Высшие военачальники стали называться маршалами. Поспешно восстанавливаемая монархия восполняла пышностью и богатством недостаток древности императорского рода и сомнительную законность нового режима.

4 декабря карета императора, отделанная золотом и панелями зеркального стекла, запряженная восьмеркой лошадей масти «изабэль», тронулась от Тюильри к собору Нотр-Дам, где уже ждал папа. Музыка военных оркестров, пушечный салют, колокольный звон, крики толпы сливались в невообразимый шум. Редкое в декабре солнце поливало Париж холодными и яркими лучами, блестело на оружии гвар-

дии и тысячью огней рассыпалось в огромном бриллианте «Регент», украшавшем черную бархатную шляпу Бонапарта. Золотые пчелы, вышитые на алой коронационной мантии, еще казались невинным украшением; только впоследствии стали они символом наполеоновской Франции и армии, покоряющей потрясенную Европу.

Как только кончилась месса, приступили к торжеству коронации.

Давид с альбомом на коленях, собрав всю свою энергию, старался все увидеть, все заметить, ощутить главное в происходящем; надо успеть набросать выражение лиц, движения, жесты и не обращать внимания на мелочи, отвлекающие от сути. А это было очень трудно — ослепительная пышность церемонии била в глаза, подавляла, кружила голову. Тяжелая роскошь убранства собора, причудливые костюмы новой знати, все богатство империи, выставленное напоказ, скрывали истинные страсти людей и смысл события. Кто, глядя на великолепное одеяние папы, думал о жалкой роли, сыгранной Пием VII? Кто, восхищаясь бесстрастием Наполеона, вспоминал о пути, приведшем на трон артиллерийского капитана Бонапарта? Те, кто задумывался над такими ненужными вопросами, не были приглашены сегодня в собор или, во всяком случае, молча и с подобающим уважением наблюдали за происходящим. Давиду некогда было рассуждать, но многое он видел зорким взглядом опытного живописца. Видел неприятную и растерянную гримасу на лице папы, когда Бонапарт вопреки всему распорядку церемонии буквально выхватил у Пия VII корону и сам надел ее себе на голову. Заметил презрительное спокойствие, с которым смотрел на рукоплещущих придворных император, заметил, как теснили друг друга сановники империи.

Сделал быстрый набросок Жозефины, пока она, стоя на коленях, ожидала корону, которую должен был надеть на нее Наполеон. Он постарался запомнить общее впечатление: россыпь разноцветных костюмов, блеск шитья, риз и занавесей, в легком сумраке собо-



Портрет мадам Морель де Тангри с двумя дочерьми.
Масло. 1818.



Могила Давида. Рисунок.

ра густое золото императорских регалий, епископских митр. Каков бы ни был смысл церемонии, художник не может остаться равнодушным к тому, что дает пищу глазам, а это настоящий пир красок и форм, сказочное изобилие, достойное Рубенса.

В Люксембургском дворце Давид рассматривал картины, написанные Рубенсом для Марии Медичи, восхищался могучим талантом мастера, умевшего с величественной наивностью сплетать воедино реальность и фантазию, безжалостную правду портретов с щедрой лестью и роскошью красок. Трезвый век Наполеона не нуждается в тритонах и ангелах, императора сопровождают не крылатые Победы, а гренадеры с ружьями.

Скоро пришлось убедиться, что работа предстоит еще более запутанная, чем можно было предположить. Чуть ли не все участники церемонии претендовали быть изображенными в картине не на том месте, где они действительно стояли, а в соответствии с иерархией чинов и званий. Обидам, уговорам, прямым приказаниям не было конца, композицию то и дело приходилось менять. Где тут думать о прекрасном беспорядке красочных пятен, о живости случайных групп, непосредственности движений. Мелкие уколы самолюбия чередовались с прямыми унижениями. Пий VII категорически отказался позировать Давиду. Праведное небо! Наместник бога на земле станет позировать богоотступнику и цареубийце, кровожадному монтаньяру. Да и вообще писать папу римского великая честь — видимо, Пий старался вернуть себе достоинство, так ощутимо поколебленное Наполеоном, — и не гнусному революционеру претендовать на нее. Переговоры длились долго, папе объясняли, что Давид далеко не якобинец теперь. Ему только что пожаловано звание первого живописца императора, он кавалер Почетного легиона. В качестве милостивой уступки художнику предложили писать папу, стоя перед мольбертом на коленях. Под конец совершенно взбешенному Давиду сообщили, что грозящий скандал улажен с папой. Придется лишь, ра-

ботая над портретом, надевать придворный мундир и перевязь со шпагой.

Ни разу еще не писал Давид портрет с таким острым чувством раздражения и неловкости, приходилось напрягать всю силу воли, чтобы работать спокойно. Внутреннее напряжение словно усиливало чуткость глаза, портрет получился неожиданно удачным. За равнодушным спокойствием лица на портрете угадывались скепсис, изощренный, но не глубокий ум, многолетняя привычка к благочестивой серьезности, ставшей каждодневной маской. Большой плотоядный рот чуть шевельнулся в вежливой улыбке, тяжелый острый подбородок врезался в белые кружева. Редеющие волосы челкой прикрывали высокий покатый лоб. Полотно дышало сарказмом, который постарались не заметить ни живописец, ни модель.

Потом шли десятки других портретов: члены императорской фамилии, высшие сановники, маршалы, фрейлины, иностранные послы. Турецкого посла тоже пришлось уламывать, чтобы он согласился позировать, — коран запрещает изображение людей.

Картина была настолько велика, что не помещалась в ателье. Давиду предоставили часовню Клюни, кое-как оборудованную под мастерскую. С помощью своего ученика Руже Давид начал работать. Перспективное построение архитектурной части чертил декоратор Даготти — оно оказалось настолько сложным, что при всей своей опытности Давид боялся ошибиться. По клеткам перенесли эскиз на колоссальный холст. Приказания и исправления продолжали тревожить Давида. Император желал, чтобы его августейшая мать тоже присутствовала на картине, хотя на самом деле во время коронации ее не было в Париже. Со всем приходилось соглашаться, выбора не оставалось. А ведь было время — он делал, что хотел, спорил с академическим начальством, слушался только голоса собственной совести. Ныне же он иногда чувствовал себя лакеем, хотя преклонение перед Наполеоном не угасало в нем. Он держался за свою любовь к императору, как за последнюю опору, — иначе во имя чего мог бы он работать? Ра-

ди денег? Но картина стоила ему больших расходов, а вознаграждение давалось неаккуратно, главный интендант под разными предлогами задерживал выплату, приходилось выступать в отвратительной жалкой роли просителя. Обращаться каждый раз к императору не хотелось, да и не всегда было возможно.

Пока Давид занимался давно миновавшим днем коронации и скрупулезно восстанавливал события 4 декабря, пушки великой армии грохотали на дорогах Австрии, Богемии, Италии, Пруссии, императорские орлы блестели в пыли сражений по всей Европе, вселяя в сердца мысль о непобедимости новоявленного Цезаря. Страшный разгром русско-австрийской армии у Аустерлица сделал Наполеона окончательным повелителем Европы. Огромные территории побежденных стран присоединялись к французской короне, и, что еще важнее, сами эти страны находились в абсолютной зависимости от Наполеона. К 1805 году Наполеон уже считался не только французским императором, но и королем Италии. Его брат Жозеф стал неаполитанским королем, сменив на престоле фактически правившую страной Марию Каролину, сестру Марии Антуанетты. Наполеон появлялся в Париже победоносным богом войны, принося неприятельские штандарты к ногам Франции и завоеванное и награбленное золото в сейфы французских банков. Он возвращался в Париж, и каждый раз легенда о мужестве императора шла впереди, сообщая о новых его подвигах. Медали, орденские кресты, монеты, тарелки, мраморные рельефы, табакерки, медальоны, перстни, бокалы несли на себе гордый профиль, слегка обрюзгший с тех пор, как Луи Давид впервые набросал его в Люксембургском дворце. Луидоры превратились в наполеондоры.

Почти каждый раз, бывая в Париже, Наполеон находил время встретиться с Давидом и дать ему несколько советов относительно работы над картиной. Если и в бытность свою консулом Бонапарт не стеснялся судить об искусстве без всякого смущения, то теперь и подавно он не стеснялся ничего. Впрочем,

происходило это не потому, что Наполеон почитал себя знатоком живописи, просто он видел в картинах только удобное средство собственного возвеличивания и решительно ничем, кроме этого, не хотел интересоваться.

Наполеон остался недоволен, что Давид изобразил Пия VII сидящим со сложенными на коленях руками. «Я не для того пригласил его сюда, чтобы он ничего не делал», — сказал император, и Давиду пришлось переписать фигуру папы: теперь, подняв руку, он благословлял императорскую чету. Кажется, Давиду было труднее кончить «Коронацию», чем Наполеону покорить Европу. Во всяком случае, он писал картину медленнее, чем император вел войны.

Только через три года после коронации, в 1807 году, окончил Давид полотно, равного которому по размеру не писал никогда. Он мог гордиться: труд, завершенный им, был велик, и ожидавшие почести тоже, вероятно, будут велики, но радости он не испытывал. Праздник красок, великолепие одежд — разве этого достаточно для искусства? Он страшно устал — не так легко в его годы писать большое полотно, залезать на лестницу, работать тяжелыми, крупными кистями.

...Бонапарт вернулся в Париж 2 января, а уже через день после его приезда на площади Сорбонны, у часовни Клюни, появился великолепный поезд: император с императрицей в сопровождении гвардии, пажей, слуг и приближенных явился в мастерскую Давида смотреть «Коронацию».

Шитье, блеск мундиров, драгоценностей наполнили помещение, и казалось, торжество коронации выплеснулось с холста и ожило: так сходны были изображение и зрители.

Никто из приехавших с императором не осмеливался выразить свое мнение, пока не скажет своего Наполеон. Он, однако, молчал, расхаживая вдоль полотна. В первые минуты он, правда, произнес несколько слов, слишком любезных для того, чтобы их можно было принять за полное одобрение. Но потом

погрузился в молчание; оно затягивалось, в притихшей было свите началось жужжание, звенели шпоры переступавших с ноги на ногу маршалов и генералов. Император продолжал безмолвствовать, внимательно разглядывая полотно. Живопись его не интересовала, он просто с удовольствием вспоминал детали церемонии, узнавал отдельных людей. Молчание становилось неловким, но император, видимо, наслаждался значительностью события и подготовлял зрителей к решительному моменту: он недаром учился у Тальма драматическому искусству. В то мгновение, когда ожидание стало вполне напряженным, он резко повернулся к Давиду и, сняв треуголку, высоко поднял ее над головой, салютуя живописцу.

— Давид, — сказал он громко, чтобы все могли слышать, — я приветствую вас!..

Это было сигналом к новой волне официального успеха. Почести посыпались на Давида. Кавалерский крест Почетного легиона вскоре сменился офицерским. Даже гонорар за картины был заплачен почти сполна. Галерею, где собирались разместить картины, посвященные коронации, сам император предложил назвать галереей Давида. «Раздача орлов» тоже была закончена. Со стороны могло показаться, что Давид никогда не был так высоко вознесен, как сейчас.

Но была и другая сторона жизни, порой не ощутимая, в которой Давид не всегда отдавал себе отчет; Давид оставался слугой — пусть самым доверенным — у господина, хоть и милостивого, но все же господина. Быть может, он стерпел бы личную зависимость — кто из художников в ту пору не был зависим? Но самое дорогое, единственное, что оставалось у Давида, его искусство, постоянно должно было приспосабливаться к желаниям Наполеона, нередко совершенно вздорным. И все же чувствуй он совершенную прочность своего положения первого живописца, ему было бы легче жить: но и здесь не мог он быть спокойным и уверенным. Нелепый парадокс, изощренная месть судьбы его преследовали — в нем, некогда оставившем в решительный момент

Робеспьера, продолжали видеть якобинца. В этом не оставалось никакого сомнения, он не раз находил подтверждение этому в словах и поступках и самого Наполеона и многих других влиятельных людей. Ему не доверяли, просьбы определить и узаконить его прерогативы натыкались на решительный отказ. Ему не верили. Он ничем не стал до конца — ни революционером, ни царедворцем.

X

Год 1812-й был для Европы знаменателен многими важнейшими событиями, среди которых самым важным считали поход великой армии в Россию. Там, в далеких азиатских просторах, должна окончательно утвердиться власть Наполеона в Европе. Тогда британский лев задохнется в своем логове, отрезанный от всего цивилизованного мира, и Франция станет полновластной госпожой материка.

Ошеломляющие вести приносил световой телеграф из северной страны: пала древняя боярская столица Москва. Наполеон подписывал приказы за столом царей в крепости, которая называется Кремль. Потом узнали о невиданном пожаре, о бегстве императора сквозь огонь в отдаленный загородный дворец. Курьеры, добиравшиеся через сотни лье по разбитым дорогам, рассказывали страшные подробности кровопролитных битв, говорили, что в пустой, сожженной Москве голод, что не хватает провианта и лошадей. В салонах шептались о неуверенности императора, о переговорах, будто бы начинающихся с русским царем.

В конце октября стало известно: армия императора вышла из Москвы, опасаясь холодов русской зимы, и двинулась к границам. О проигрыше кампании еще не думали, но в победе начинали сильно сомневаться.

Рядом со всеми этими грозными событиями шла обычная, не отягченная политикой и войнами жизнь. Война была далеко. Все давно привыкли, что после

долгих отлучек император триумфатором возвращается в Париж, везя в обозе чужое золото. Особого беспокойства не замечалось в Париже, светская жизнь била ключом, и салон 1812 года открылся при большом стечении публики. Это был обычный салон, не лучше и не хуже других. Картины сияли свежими красками, легкий говор журчал среди нарядных посетителей, временами движение начиналось в толпе, расступающейся, чтобы пропустить знаменитость.

Такое примерно движение произошло и тогда, когда на выставке появился живописец Давид. Он был знаменит настолько, что никто не называл его многочисленных званий, говорили просто «Давид». Молодые художники, только начинавшие писать, воспринимали это имя как имя классика, давно пережившего самого себя. Но человек, шедший по квадратному салону, не казался старым. Одетый изящно и по моде, он держался прямо, шел легко. И в бакенбардах и в каштановых, не тронутых пудрой волосах почти не видно было седины. Чуть искривленная линия губ сообщала лицу некоторую надменность, но глаза глядели доброжелательно, пристально, чуть устало. На лацкане темно-синего фрака алела розетка офицерского креста Почетного легиона. Рукою в светлой перчатке он поддерживал под локоть молодую женщину. Несколько учеников его сопровождали. Давид говорил одновременно со всеми, отвечал на поклоны и успевал внимательно смотреть на картины. Между тем ему недавно исполнилось шестьдесят четыре года, и женщина, шедшая рядом с ним, была его дочерью Эмилией, недавно вышедшей замуж и носившей теперь имя баронессы Менье.

Опытный взгляд Давида безошибочно выделял из общей массы картин то, что действительно заслуживало внимания. Долгие годы приучили художника сразу замечать то, что определяло значение выставки, многие живописцы с любопытством следили, куда устремит глаза старый Давид. Сколько салонов прошло перед ним! Без малого полвека назад розово-

щекий мальчик в пудреном парике, какие носят сейчас только дряхлые и упрямые старики, любовался здесь картинами Буше. Здесь же восторженные зрители подняли на руки создателя «Велизария», здесь штыки охраняли «Брута»... И сколько разных, не похожих друг на друга зрителей: знатоки, дружившие с Дидро, санкюлоты, члены Конвента!.. Одну ли жизнь прожил Давид?

И вот нынешний салон с публикой, не менее элегантной, чем в годы юности Давида, когда царствовал еще Людовик XV. Но она совсем иная, эта публика, и совсем не потому, что кафтаны и кружевные жабо сменились фраками и черными галстуками. Это мир упивающихся своим богатством и вновь обретенной властью людей, людей, вскормленных завоеванным золотом и опьяненных победным грохотом французских пушек на полях Европы. Блестящая публика салонов империи, возникших с пугающей быстротой в брошенных аристократами отелях, дельцы и политиканы, считавшие важнейшим завоеванием революции то, что теперь так легко стать графом или герцогом. Мог ли осуждать их Давид, сам не так давно получивший герб, украшенный изображением палитры и мечей Горациев? Но искусство свое он давно замкнул в мастерской, медленно и устало, гордо, не надеясь на успех, писал «Леонида». Античность стала единственным прибежищем его кисти, вызывавшей у зрителей скорее привычное уважение, чем пылкое чувство. Кому нужна теперь мужественная добродетель его героев, некогда питавшая воображение революционеров, кому нужна строгость римлян в век расточительности, судорожной жажды власти, богатства и славы. Вот Гро — любимый и талантливейший ученик, чему посвящает он свое искусство, если не пишет Наполеона или батальные сцены? В этом салоне большая картина: «Франциск I показывает Карлу V усыпальницу французских королей в Сен-Дени». Зачем эта великолепная кисть склеивает осколки прежних монархических иллюзий?

Еще три года назад здесь же, в салоне, он сказал

Эмилии знаменательные слова, в справедливости которых убеждался с каждым годом: «Через десять лет изучение античности будет заброшено. Я слышу, однако, что со всех сторон прославляют античность. Но когда я смотрю, применяют ли ее на деле, я обнаруживаю, что ею не пользуются. Равным образом все эти боги, герои будут заменены рыцарями, трубадурами... Направление, которое я придал изящным искусствам, слишком сурово, чтобы долгое время нравиться во Франции. Те, кому надлежит поддерживать его, его покинут, и, когда меня не будет, школа исчезнет вместе со мной». И действительно, античность оставалась лишь уделом школяров в искусстве. Вот огромное полотно Летьера «Брут, осуждающий на смерть своих сыновей» — еще один перепев давно избитой темы, добросовестная работа, без единой крупицы пыла, без высокой мысли.

Здесь же, в квадратном салоне, заметил он полотно, неуловимо, но явственно отличающееся от прочих картин, — изображение офицера в черном конноегерском мундире, скачущего в атаку. В картине не было привычных, давно набивших оскомину поз и движений, не было всепроникающей победной мелодии, звучавшей в большинстве известных Давиду батальных картин. Ни ясной четкости рисунка, ни равновесия масс, ничего из того, что составляло необходимое качество живописи в ту пору. Тревожная красота была в холсте. Без сомнения, это открытие неясное и привлекательное, как всякая новизна. Вспышки невиданно ярких красок мерцали на холсте, будто сама стихия боя с безумной надеждой, мужеством и близкой смертью напитала кисть художника. Краски лежали на холсте в дерзком и великолепном сочетании пламенно-багровых, черных, серебристо-голубых, темно-золотых тонов. Формы не были четко очерчены, они словно выступали из холста и растворялись в нем, создавая острое и несомненное ощущение бурного смятенного порыва. Клинок обнаженной сабли горел ледяным пламенем, рвался с плеч офицера опушенный мехом ментик, конь с развевающейся гривой уносился вперед, в пы-

лающее море боя. Только лицо кавалериста хранило неожиданное и угрюмое спокойствие человека, готового к смерти и равнодушного ко всему, что его окружает. Полотно поражало исступленной и безрадостной страстью, с какой художник смотрел на войну: восхищение, беспокойство и будто обреченность водили рукой живописца. Кто этот неведомый художник? Давид заглянул в ливре: «М-сье Жерико, ученик Герена. Портрет лейтенанта Робера Дьедоне». Имя ничего не сказало Давиду.

— Кто это?! — воскликнул он, не отрывая глаз от холста. — Я не знаю этой кисти...

Он долго стоял у холста, смутно угадывая в его тревожной неопределенности четкий отзвук современности, уже отдаляющейся от него, Давида. Неужели этот неизвестный ему молодой живописец понял больше, чем многие зрелые мастера? Никто еще не смог увидеть в современности такой ошеломляющей смеси великолепия и пустоты. Не сама ли наполеоновская Франция обрела воплощение в образе кавалериста, несущегося во всем блеске мужества и золотых галунов навстречу собственной гибели?

Давид вернулся с выставки прямо к себе в мастерскую и как был в плаще, в шелковом цилиндре на голове подошел к большой картине, к своему «Леониду». Сколько лет он мучился картиной, которая никого не взволнует и которую никто не ждет! Что его слава, что звания и дипломы академий чуть ли не всех европейских стран! Холодная и пустая слава, в которой нет ничего от подлинной любви зрителей, успеха, радостного сознания того, что картины помогают людям мыслить и жить. Единственно, что помогает ему чувствовать свою необходимость, — это ученики, великое множество учеников и среди них такие, как Гро, Жерар, Энгр, Изабе, Герен... Кто еще оставит Франции такое наследство?

Он сидел перед своей картиной, все еще изящный, прямой, но все же старый и бесконечно усталый. Только он один знал, чего стоят ему долгие часы

работы, прежде дававшиеся так легко, как больно ранят резкие и невежественные реплики императора. Но Давид продолжал его глубоко почитать, несмотря ни на что. Ибо в Наполеоне было то, что всегда сохраняло ценность для Давида, — обаяние незаурядности, громадного таланта, ясного и твердого разума, неиссякаемой энергии. Он оставался «героем» Давида, потому что Давид не мог жить и писать, не имея кумира; а когда кумир начинал колебаться, он сам поддерживал его на пьедестале, поддерживал свою веру и свой затухающий энтузиазм. До старости Давид сохранил в себе эту смешную уже в его годы восторженность и умение вне всякой логики увлекаться человеком. Впрочем, понять это было не трудно: Наполеон был последним якорем Давида. Не будь императора, Давиду пришлось бы худо. У него сохранялось слишком много врагов.

Конечно, ничего ужасного не грозило живописцу. Он был богат, независим, свободен. Но, привыкнув быть в центре художественной жизни страны, он боялся расстаться даже с иллюзиями своего влияния, даже с той эфемерной властью, которую давало ему звание первого живописца императора.

Он смотрел на «Леонида»: конечно, картина никогда не получит признания. Академические награды достаются теперь его ученикам, а не ему: кажется, быть учеником Давида значило сейчас больше, чем быть самим Давидом. А вообще пора понять, что жизнь движется к закату, и не тревожиться понапрасну, ибо пока глаза видят, а рука способна держать кисть, он никогда не станет несчастным...

Через несколько дней после открытия салона в Париж пришли потрясающие вести: последние части великой армии с неисчислимыми потерями переправились через Березину. Сам император оставил армию и возвращается в Париж. Русский поход окончился совершенно бесславно для Франции — это для всех делалось ясным.

XI

18 декабря император вернулся в Париж.

Наполеон ни на минуту не думал складывать оружие. На первом же приеме, на котором Давид увидел Наполеона, он был удивлен наружным спокойствием и уравновешенностью Бонапарта: можно подумать, что ни гибель армии в русских снегах, ни проигранная кампания не произвели на него впечатления. Он держался как покоритель Москвы, но не как полководец разбитой армии. С Давидом Наполеон обменялся всего несколькими словами, сейчас ему некогда было делать вид, что он интересуется искусством. Начинались суровые времена.

Весной 1813 года счастье вновь улыбнулось Наполеону, Париж радостно старался забыть о русской катастрофе. Были одержаны новые победы над русско-прусской армией, подписано перемирие.

Но реальная угроза феодальной Европе была слишком велика и слишком велик был ужас перед Наполеоном, уже много лет потрясавшим покой европейских властителей. Даже охраняемый императорскими пчелами трехцветный флаг казался слишком республиканским и опасным. Европа ощетинивалась сотнями тысяч штыков.

Вскоре известие о разгроме императорской армии под Лейпцигом дошло до Парижа. И хотя проводились новые наборы и в салонах восхищенно повторяли слова Наполеона: «...Я и мои солдаты не забыли наше ремесло! Нас победили между Эльбой и Рейном, победили изменой... Но между Рейном и Парижем изменников не будет...», настроение в столице было подавленное, и ясное ощущение близкой развязки овладевало даже самыми верноподданными умами.

Союзные армии входили во Францию.

Давид продолжал упорно, сосредоточенно, даже упрямо работать над «Леонидом». Сотни вдов одевались в траур, на полях Франции умирали солдаты, кровь текла по земле, отмечая печальный путь императорских армий. А Давид писал бесстрастных, как

изваяние, греческих воинов, замерших в позах столь же прекрасных, сколь и не приспособленных для боя. Трагедия страны, ввергнутой в войны и переживающей весь ужас поражения, не коснулась кисти Давида. Стойкая стена недоверия и равнодушия отделяла Давида от событий, волновавших страну. Он писал «Леонида».

Он клал на холст уже последние мазки, когда в Париж входили войска союзных армий. Войска Наполеона еще сражались далеко от столицы, но стремительным маршем союзники уже достигли Парижа. Гарнизон капитулировал. Парижане надеялись, что, наконец, вернутся во Францию мир и покой; гибель тысяч людей, постоянная боязнь за жизнь близких, все новые и новые страшные события, поражения прежде непобедимого императора истощили терпение людей, долго веривших своему кумиру. Да и те, кто прежде поддерживал Наполеона, — богатейшие буржуа, промышленники, банкиры — были напуганы военной оргией, бушевавшей столько лет во Франции. Твердая власть, необходимая в первые послереволюционные годы, сменилась военной диктатурой. Она привела страну на край гибели. Наполеоновская империя изжила самое себя.

И вот 31 марта 1814 года. Через предместье Сен-Дени в Париж входят войска победивших армий, счастливые и гордые падением мировой столицы. Измученные страхом, ожиданием и неуверенностью парижане, видя, что не приходится опасаться насилий и грабежей, радостно приветствуют колонны, идущие вдоль бульваров.

Русский император, прусский король, высшая европейская знать, блестящая свита, разноцветные мундиры разных полков и стран — великолепный спектакль вместо предполагавшихся ужасов и убийств. На рукавах солдат и офицеров белые повязки, что это — цвет Бурбонов? Некоторые неуверенно аплодируют. Парижане привыкли к повиновению сильной власти, император приучил их к дисциплине. Но нет, это еще не королевские цвета; просто

опознавательный знак, чтобы союзники в битве не перестреляли друг друга. Но это только пока. Во дворце князя Талейрана — того самого епископа Отенского, который много лет назад совершал торжественное богослужение на Марсовом поле в день праздника Федерации, — европейские монархи обсуждают будущую судьбу Франции. Какой-то человек пытается организовать свержение Вандомской колонны. Какие-то всадники на Елисейских полях кричат: «Да здравствует король!..»

6 апреля. Наполеон подписывает отречение от престола.

12 апреля. Нарядный кортеж движется от собора Нотр-Дам к Тюильри. Длиннолицый человек с белой кокардой на шляпе осаживает коня на площади перед дворцом. Это младший брат Людовика XVI, граф д'Артуа, двадцать пять лет назад бежавший из Франции и ныне вернувшийся в столицу под охраной русских и австрийских штыков. Белый королевский флаг бьется над кровлей Тюильри, под которой совсем недавно заседал Конвент. Маршалы империи салютуют Месье — таков титул графа д'Артуа, ибо его старший брат, граф Прованский, становится королем Людовиком XVIII. В этот же самый день Наполеон, находившийся в Фонтенбло, едва приходил в себя после нескольких часов нечеловеческих страданий: он принял смертельную дозу опия, правда не оказавшего полного действия. В Фонтенбло шли приготовления к отъезду опального императора на остров Эльбу. Человек, бывший так недавно господином почти всей Европы, должен был властвовать над несколькими тысячами рыбаков и землепашцев.

Еще через день, 13 апреля, в Тюильри водворился шестидесятивосьмилетний Людовик XVIII. Давид видел на балконе дворца тучного старика в синем сюртуке со старинными генеральскими эполетами. Будто вернулся минувший век, будто не было ни революции, ни империи Наполеона...

Именно в эти дни Давид закончил «Леонида», свою последнюю большую картину. Наполеон уехал

на Эльбу. Конечно, Давид видел — он не принес Франции счастья, но даже трагедия императора сохраняла в глазах Давида ореол величия. Да и можно ли сравнивать Наполеона, ставшего живым олицетворением времени, с Бурбонами, словно стремившимися повернуть время вспять? К тому же Давид был стар: мельчающее время представлялось ему совершенно ничтожным.

По примеру «Сабинянок» он выставил «Леонида» у себя в мастерской.

Почти никто не пришел взглянуть на новый холст Давида. До того ли было парижанам, потрясенным недавними событиями! Что могли они увидеть в спокойном и безупречном произведении художника, когда рушился старый мир и еще непонятен был новый?

События сменялись с головокружительной быстротой. Давид не успевал следить за ними. Нравы переменились быстро. Кое-кто из бульварных журналистов уже называл художника цареубийцей. Не удивительно: ведь нынешний король Франции — родной брат монарха, за смерть которого голосовал депутат Конвента Давид.

...Год прошел без видимых перемен. Давид жил замкнуто, почти бездеятельно. Он уже не мог привыкнуть к новому Парижу. Все было чужое, ненужное, утомительное. Не мог человек, бывший якобинцем, вполне примириться с тем, против чего боролся с таким пылом.

События марта 1815 года его ошеломили, потрясли, он не верил в происходящее. Еще в понедельник 20 марта толпы народа теснились у Тюильри, пытаясь узнать, действительно ли Людовик XVIII бежал из Парижа. Газеты приносили противоречивые и сбивчивые известия, но главное было ясно: Бонапарт идет на Париж. Кое-где уже мелькали трехцветные кокарды и слышались крики: «Долой Бурбонов!» и «Да здравствует император!» За короткий срок Людовик XVIII успел ожесточить против себя многих, кто прежде ему сочувствовал, не говоря о тех, кто с самого начала был против реставрации. Дворянские привилегии, все прежние порядки вос-

станавливались с такой откровенностью, с таким пренебрежением к происшедшим во Франции необратимым переменам, что недовольство Бурбонами росло с необыкновенной быстротою и царствование Наполеона начинало казаться все менее тягостным, все более героическим. Возвращение императора с Эльбы представлялось спасением.

...Утром Давид прочел в «Мониторе»: «Париж, 20 марта. Король и принцы уехали ночью. Его величество император прибыл вечером в девять часов в свой дворец Тюильри. Он вошел в Париж во главе тех самых отрядов, которые были посланы, чтобы воспрепятствовать его продвижению. Армия, сформированная после его высадки, не могла еще достичь Фонтенбло. Его величество произвел по пути смотр нескольким отрядам... Храбрый батальон старой гвардии, который сопровождал императора на Эльбу, прибудет завтра, проделав за 21 день путь до Парижа от залива Жюан».

Еще несколько дней назад газеты писали о «корсиканском чудовище» и «людоеде», идущем на Париж...

Знакомые Давида рассказывали, что императора внесли во дворец на руках. Бурбоны, менее всего желая того, заставили парижан обожать Бонапарта.

Волнение душило Давида. Его «герой» снова стал настоящим героем, совершил чудо, перед которым меркнул даже Аркольский мост. Величие возвращалось во Францию, принесенное Бонапартом. Так, во всяком случае, рисовалось Давиду.

Через несколько недель император явился в мастерскую Давида. Наполеон был почти сердечен, Давид искренне счастлив, но чувство нереальности его не покидало. Наполеон же сохранял обычную бодрость и трезвость мысли, говорил с ним о работах, которые собирался начать в Париже, и, как видно, не сомневался в будущем. Он поздравил Давида с награждением командорским крестом Почетного легиона. Сыновья Давида и оба его зятя получили повышения по службе.

Это был последний разговор живописца с императором.

12 июня Наполеон уехал в армию.

18 июня произошло сражение у Ватерлоо.

22 июня император во второй раз отрекся от престола.

Его падение совершилось столь же стремительно, сколь фантастическое воцарение сто дней назад. Русская, австрийская, английская, прусская армии общим числом до миллиона человек входили во Францию. Феодальная Европа раз и навсегда решила покончить с человеком, в котором по инерции еще продолжала видеть наследника революции, вернуть к старому порядку страну, испробовавшую вольности. Слишком опасен для европейских государей был яд свободы и вольнодумства, отравлявший их страны. Франция должна вновь стать в ряд добропорядочных монархий.

И Бурбоны, вернувшиеся в Париж, поняли, что только беспощадным и жестким террором можно выжечь из памяти французов времена свободы.

В числе многих указов, имевших целью наказание участников революции, было постановление, гласившее, что каждый, кто голосовал за казнь короля, присуждается к пожизненному изгнанию за пределы Франции.

Давиду было шестьдесят семь лет. Кому легко оставить родину? Но старику это особенно тяжко. Для Давида это значило бросить учеников, мастерскую, город, где он прожил больше, чем жизнь, — революцию.

Он поручил Гро заниматься с учениками. Расставание с ними было едва ли не самым тяжелым для Давида.

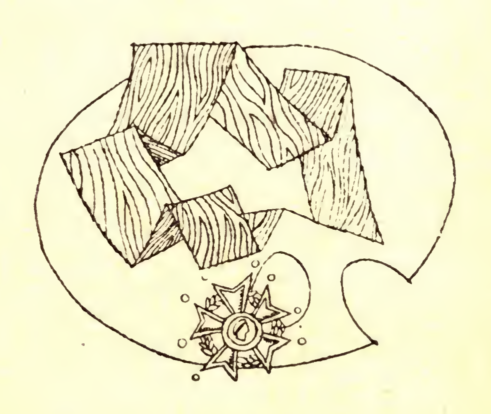
Впрочем, он ни с кем не делился своими мыслями, был спокоен, почти весел. Быть может, понимал, что в нынешней Франции он бы не смог оставаться. Давид просил разрешения уехать в Рим, но получил отказ. Тогда он решил отправиться в Брюссель. Там жило много его друзей. И ведь это было так недалеко от Парижа.

Давид с женой уехали из Парижа 9 января 1816 года. В тщательно упакованных тюках были картины. В их числе «Марат» и «Ле Пеллетье».

Сколько раз в своей жизни покидал он Париж, покидал с надеждами, с сомнениями, с грустью и радостью!

Теперь он уезжал с невиданной пустотой в сердце; настоящая жизнь осталась здесь. Давида мог ожидать отдых, воспоминания, покой, которого он ждал так долго. Он пережил слишком много, чтобы окончательно падать духом. Если он остался жить после термидора, если падение Наполеона не увлекло его за собою, то и на этот раз он устоит на ногах.

Славу никто у него не отнимет, как не отнимет написанных картин и сотен учеников. Его ученики, прощаясь с ним перед желтым дилижансом на почтовой станции, не заметили в его лице смятения, печали или растерянности. Глаза Давида под полями тяжелого цилиндра были спокойны, и вся его фигура, закутанная в дорожный плащ с пелериной, была прямой, гибкой. Но кто знает, что думал Давид? Юношам не дано читать в сердцах стариков.

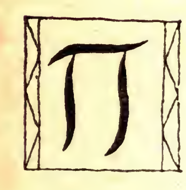




ЭПИЛОГ

Сердце Давида

I



арижской мастерской Давида руководил теперь Гро. Традиции учителя свято соблюдались, его имя произносили не иначе, как с благоговением. Скульптурный медальон Давида висел на стене, на самом видном месте под лавровым венком. Рядом была укреплена палитра Давида.

Изредка Гро читал ученикам письма брюссельского изгнанника; в них не было печали, напротив — они дышали покоем и счастливой уверенностью. «Я работаю так, будто мне только тридцать лет, — писал Давид, — люблю свое искусство, как любил его в шестнадцать лет, и умру, мой друг, держа в руках кисть. Нет такой враждебной силы, которая могла бы меня ее лишить...».

Действительно, в Брюсселе Давид не был несча-

стен. Он не случайно выбрал этот город, он понравился ему еще давно, когда в годы молодости он ненадолго посетил Бельгию. Брюссель чем-то напоминал Париж, там звучал родной язык, там было много старых знакомых и друзей. На аллеях прекрасного Королевского парка в Брюсселе встречались товарищи по изгнанию, там вспоминали славные времена Конвента. И брюссельские горожане, проходя мимо седых и гордых стариков, слышали слова, звучавшие сказкой: «Гора», «Жиронда», «Болото»... Брюссельские художники встретили Давида восторженно, в бельгийской столице жило немало его учеников. В доме Давида на улице Эвек, в его мастерской постоянно бывали гости. Юные живописцы искали его помощи.

Он не переставал писать, полотна старых фламандцев вызывали желание искать сочные, глубокие тона, богатые соцветия. Давид не боялся признать, что не все секреты мастерства ему знакомы. Недаром писал он одному художнику: «Думайте всегда, что вы ничего не умеете, — это средство уметь лучше, чем другие». Жизнь, наконец, очистилась от былых сомнений, неопределенности. Он мог ни о чем не беспокоиться, судьба его была решена раз и навсегда.

В его руках было совершенное мастерство — плод долгих лет исступленной работы. Он работал не слишком много, высокие сюжеты уже не тревожили его сердца; но взгляд оставался зорким и мудрым, а вкус был отточен многолетним опытом и познанием античности. И порой под его кистью возникали портреты, не только достойные прежнего Давида, но и превосходящие парижские работы. Так, написал он портрет мадам Морель де Тангри с двумя дочерьми, удивительное полотно, где чеканная точность контуров, классическое равновесие композиции сочетались с могучей, непобедимой жизненностью. Казалось, эти женщины обладают неуловимым разнообразием душевных движений от наивной задумчивости до мудрой старческой проницательности, от спокойной уверенности до саркастической насмешки. А всех

троих объединяла та несколько навязчивая, подчеркнутая респектабельность, которая незаметно переходит в мещанство.

Но таких картин было немного, чаще всего Давид писал композиции на античные сюжеты, легкие и бездумные, далекие от настоящего серьезного искусства прежних лет.

Парижские друзья и особенно Гро делали все возможное, чтобы устроить возвращение Давида во Францию. Но он не хотел снисхождения, не желал ни в ком заискивать. «Декретом меня изгнали, пусть же меня и вернут декретом», — писал он Гро в ответ на просьбу подписать прошение французскому правительству.

Он жил и безоблачно и печально. Разлука с родиной никому не бывает легка. И если бы сравнение с золотой осенью не было давно и безнадежно избито, то к старости Давида оно подходило бы превосходно. Он жил, окруженный славой и почтением, среди любимых своих картин, с молодой радостью слушал музыку в театре де ла Моннэ. Его осыпали заказами, картины покупали нарасхват — даже во Франции. Только «Марат» и «Ле Пеллетье» стояли в мастерской свидетелями минувшей славы монтаньяра Давида.

Каждый французский художник, приезжавший в Брюссель, почитал своим непременным долгом нанести визит Давиду. В конце 1820 года два молодых живописца появились в мастерской на улице Эвек — то были Орас Верне и Теодор Жерико. Жерико принадлежала картина, которая так поразила Давида в салоне 1812 года, — портрет лейтенанта Дьедоне. До Брюсселя дошли известия о нашумевшем в последнем салоне полотне Жерико «Плот «Медузы».

Итак, этот изящный юноша — возможно, будущая знаменитость. Смелость его живописи вызывает гнев и недовольство официальной критики. Слушая рассказ молодого человека, Давид вспоминал собственную юность — ведь для своего времени он тоже был потрясателем основ. И то, что художник новой

и дерзкой школы приехал к нему, последнему, быть может, представителю уходящего «старого времени», показалось Давиду и трогательным и знаменательным. Давид вспомнил великолепную живопись Жерико — это совсем новое ви́дение, новое ощущение жизни. Но ведь в том и смысл искусства, чтобы оно не стояло на месте. За обедом, когда светлое маасское вино было разлито в бокалы, Давид предложил тост за своих гостей и учеников. Он так и сказал: «учеников», ибо именно тех, кто искал свой и нелегкий путь, он хотел считать своими наследниками.

...Поздним зимним вечером Давид шел домой из театра, радостно возбужденный музыкой, блеском люстр, той особенной атмосферой зрительного зала, которая действует на настоящих театралов не меньше, чем самый спектакль. Мелодии оперы звучали еще в памяти, и легкий снег падал будто в такт неслышным аккордам. Было скользко на мостовой, кучер не справился с лошадьми. Давид, погруженный в свои мысли, не понял, что происходит; да и не так легко в семьдесят семь лет быстро отскочить в сторону. Сбитый ударом дышла, он упал, и шелковый его цилиндр далеко откатился по обледенелой мостовой.

Его подняли, перенесли в дом. Вызванный врач только покачал головой: годы, сердце... трудно сказать что-нибудь определенное.

Все же Давид оправился от удара. Ему стало лучше, но всего на несколько недель. Жизнь, прожитая Давидом, была такой долгой. Да и одна ли была жизнь? Он вспоминал себя молодым и уже знаменитым, в кружевах и шелковом камзоле, гордым первыми учениками и еще непривычной славой, — разве «Велизарий», «Горации», «Брут» — это не целая жизнь? Вспоминал себя на трибуне Конвента в отблесках дрожащих свечей, трехветное полотнище за спиною, начатого «Марата» в мастерской на мольберте... И это целая жизнь. А потом — Наполеон, колоссальные полотна, слава без радости, ордена, почести и, наконец, изгнание. А несколько сот учеников? Не слишком ли все это для одного че-

ловека? Жизней было много, но сердце оставалось одно, пылкое и восторженное сердце Луи Давида. Сейчас оно подолгу и мучительно болело, теснило грудь, билось тяжело и неровно...

Сил становилось все меньше. Давид лежал неподвижно, руки тосковали по работе. Ведь он так мечтал умереть с кистью в руке.

Но умер он в постели, так и не вернувшись к мольберту. 29 декабря 1825 года живописец Луи Давид перестал дышать.

II

Французские власти отказались дать разрешение на похороны Давида во Франции. Его похоронили в Брюсселе. Несколько раз просьбы возобновлялись. Но и Карл X и Луи Филипп отказали. Лишь сердце Давида разрешили похоронить на Пер-Лашез.

Давид оставался монтаньяром для королей. Жизнь живописца в его полотнах. А эти полотна говорили о том, о чем не хотелось помнить монархам. Они говорили о революции, о гордой и сладостной для патриотов борьбе за свободу. Ведь Давид в первый раз за всю историю Франции сделал кисть оружием революционера.

Что говорить, в своей борьбе он не шел до конца, он был человеком своего времени и своего сословия, со всеми слабостями своей эпохи. Но история судит человека за его дела, за то, что он оставляет истории.

О Великой французской революции написаны многие сотни книг. И все же мертвый Марат на картине Давида на все века останется непревзойденным свидетельством времени. Жизнь и смерть за свободу, гибель, перевоплотившаяся в памятник человеческой доблести, горячая кровь на пути великих свершений, наивное и благородное стремление облечь современность в строгие формы древности — все осталось жить в картинах Давида революционных лет. Для своих современников он был пророком, в его картинах звучали мысли будущего. Был он для них и поэтом,

воплотившим идеалы эпохи в отточенные и мужественные образы. А для потомков он стал единственным художником, донесшим до них суровое лицо своего времени.

Он умер в изгнании. Даже «Марат» остался в Брюсселе. «Ле Пеллетье» вообще не сохранился, но остались многие картины, остались свидетельства жизни живописца, первого в мире великого живописца, ставшего революционером.

Сердце Давида осталось во Франции.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЛУИ ДАВИДА

1746, 26 мая — Женитьба Мориса Луи Давида, коммерсанта, на Мари Женевьеве Бюрон.

1748, 30 августа — Рождение Жака Луи Давида.

1755—1757 — Давид учится в частном пансионе.

1764 — Давид посещает Буше.

1767 — Принят в Королевскую академию.

1771 — Картина «Бой Марса с Минервой» — вторая премия.

1771—1774 — Ежегодно участвует в конкурсе на Римскую премию. Пишет первые заказные портреты. *В 1774 году* получает премию за картину «Антиох, сын Селевка».

1775 — Отъезд в Италию.

1775—1780 — Живет в Италии, в Риме. Создает ряд композиций на античные сюжеты, пишет портреты, тщательно изучает искусство древности и Рафаэля. Посещает Помпеи.

1780 — По возвращении в Париж Давид работает над «Велизарием» и портретом Потоцкого.

1781 — Принят в число «причисленных» к академии. Выставляет «Велизария» в салоне.

1782, 16 мая — Женитьба Давида на Маргарите Шарлотте Пекуль.

1783 — Давид избран академиком. В салоне выставляет «Андромаху».

1784 — Отъезд в Рим для работы над «Клятвой Горациев».

1785 — Давид выставляет «Горациев» в салоне.

1786—1789 — Работает над картинами «Смерть Сократа», «Парис и Елена», портретом Лавуазье и другими. Занимается с учениками.

1789 — Вскоре после начала революции выставляет в салоне «Брута».

1790, 4 февраля — Становится членом Якобинского клуба.

25 февраля — Читает в собрании представителей города Парижа докладную записку о реорганизации академии.

28 октября — Якобинский клуб поручает Давиду написать «Клятву в зале для игры в мяч».

1791 — Работает над «Клятвой», ведет напряженную борьбу против академии. Участвует в организации первого свободного салона. Организует торжественное перенесение праха Вольтера в Пантеон.

1792, 17 сентября — Избран членом Национального конвента.

18 октября — Давид — член Комиссии искусств и Комитета просвещения.

1793, январь — Давид голосует за казнь короля. Организует торжественные похороны Ле Пеллетье.

29 марта — Подносит «Ле Пеллетье» Конвенту.

12 июля — Навещает больного Марата.

13 июля — Смерть Марата. Давид руководит устройством похорон, начинает работать над картиной «Смерть Марата».

8 августа — Закрытие академии.

20 августа — Праздник братства, организованный по замыслу и программе Давида.

Сентябрь — Давид — член Комитета общественной безопасности.

15 ноября — Давид подносит Конвенту картину «Смерть Марата».

1794, 5 января — 20 января — Давид — председатель Конвента.

8 июня — Праздник Верховного существа.

26 июля — В Якобинском клубе Давид выступает в поддержку Робеспьера.

27 июля (9 термидора) — Контрреволюционный переворот. Давид не является в Конвент.

2 августа — Давид арестован.

1794—1795 — Давид находится в заключении, ненадолго освобожден летом *1795 года.* Это время живет в Сент-Уэне у Серизиа. Создает картины «Зеленщица», «Вид Люксембургского сада», портреты четы Серизиа. Окончательно освобожден в *октябре 1795 года.*

1795—1800 — Работает над картиной «Сабинянки», занимается

с учениками. Пишет портрет генерала Бонапарта. Выставляет «Сабинянок» в мастерской.

1800 — Пишет портрет Наполеона на коне, портрет мадам Рекамье.

1803 — Награжден орденом Почетного легиона. Заказ на серию картин коронации Наполеона.

1803—1807 — Работает над серией картин, посвященных коронации. Становится первым живописцем императора. Получает офицерский крест Почетного легиона.

1814 — Давид заканчивает работу над картиной «Леонид».

1815 — Во время Ста дней Наполеон навещает Давида и награждает его командорским крестом Почетного легиона. После вторичной реставрации Давид изгнан из Франции.

1816—1825 — Живет в Брюсселе, создает ряд картин на мифологические темы, пишет портреты.

1825, 29 декабря — Умирает от гипертрофии сердца.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Речи и письма живописца Луи Давида. М.—Л., 1933.

А. Замятина, Давид. М., 1936.

А. Эмбер, Луи Давид — живописец и член Конвента. Л.—М., 1939.

В. Князева, Жак Луи Давид. М. — Л., 1949.

Л. Вентури, Художники нового времени. Давид. М., 1956.

В. Прокофьев, Давид. М., 1960.

В. Березина, Жак Луи Давид. Л., 1963.

E.-J. Delecluse, Louis David, son école, son temps. P., 1855.

Jules David, Le peintre Louis David. P., 1880.

Ch. Saunier, David. P., 1903.

L. Rosenthal, Louis David. P., 1905.

R. Cantinelli, Louis David. P., 1930.

L. Hautecoeur, David. P., 1954.

СОДЕРЖАНИЕ

Герман Михаил Юрьевич

ДАВИД. М., «Молодая гвардия», 1964
304 с., с илл. (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 6(381)

75И

Художники *М. Аникст, С. Бархин*
Редактор *Е. Любушкина*
Художественный редактор *А. Степанова*
Технический редактор *В. Лубкова*

А07901. Подп. к печ. 9/VII 1964 г.
Бум. 84×108¹/₃₂. Печ. л. 9,5(15,58) + 21 вкл.
Уч. изд. л. 14,8. Тираж 115 000 экз. Заказ 659.
Цена 65 коп. Т. П. 1964 г. № 313.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21.

«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

Серия биографий

Книги 1963 года

1(358) *М. Горький* — Литературные портреты
2(359) *М. Яструн* — Мицкевич
3(360) *Х. Пирсон* — Диккенс
4(361) *И. Дубинский-Мухадзе* — Орджоникидзе
5(362) *Я. Ивашкевич* — Шопен
6(363) *В. Шкловский* — Лев Толстой
7(364) *Б. Расин* — Подбельский
8(340) *К. Чуковский* — Современники
9(365) *М. Мижо* — Сент-Экзюпери
10(366) *А. Толмачев* — Калинин
11(367) *Х. Херсонский* — Вахтангов
12(368) *А. Акимова* — Дидро
13(369) *М. Поступальская, А. Ардашникова* — Обручев
14(370) *О. Писаржевский* — Прянишников
15(371) Сборник *«Герои гражданской войны»*
16(372) *Н. Степанов* — Крылов
17(373) *Ж. Амаду* — Кастро Алвес
18(344) *М. Арлазоров* — Циолковский
19(374) *Ф. Бега, В. Александров* — Петровский
20(375) Каталог серии «Жизнь замечательных людей»

«ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

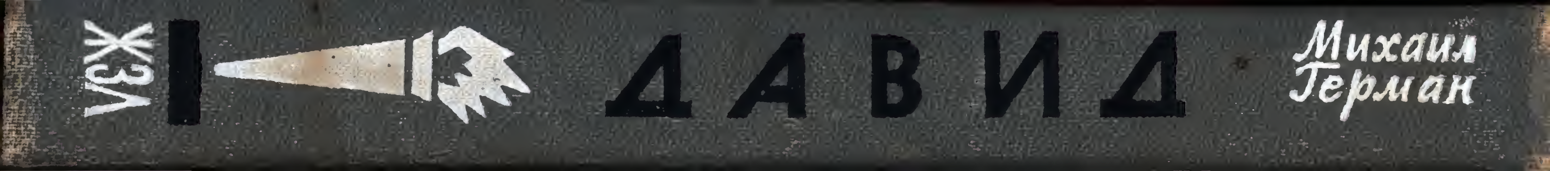
Серия биографий

Книги 1964 года

В. Прибытков — Иван Федоров
Н. Пицык — Богомолец
А. Аникст — Шекспир
А. Моруа — Флеминг
М. Спендиарова — Спендиаров
И. Ермашев — Сунь Ят-сен
В. Носова — Комиссаржевская
А. Турков — Салтыков-Щедрин
Л. Визен — Хосе Марти
И. Кунин — Римский-Корсаков
Б. Поршнев — Мелье
В. Архангельский — Ногин
М. Герман — Давид
М. Беленький — Спиноза
Л. Островер — Петр Алексеев
М. Мендельсон — Марк Твен
А. Левандовский — Дантон
С. Синельников — Киров
Г. Марягин — Постышев
А. Штекли — Джордано Бруно
Г. Маршалл, М. Сток — Айра Олдридж

65 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


ЖЗЛ
ДАВИД
Михаил Герман